



Владимир

Савченко



22



A. ЕРМОЛАЕВ

Библиотека
современной
фантастики

Владимир
Савченко
Открытие
себя

22

том

МОСКВА, 1971

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

Человек, помоги себе сам!

Людвиг ван Бетховен

Художник
Е. ГАЛИНСКИЙ

Редакция:
И. АВРАМЕНКО
Э. АРАБ-ОГЛЫ
И. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА
И. ЕФРЕМОВ
С. ЖЕМАЙТИС
Ю. КАГАРЛИЦКИЙ
А. СТРУГАЦКИЙ

ЧАСТЬ

Шаги
за
спиной

ПЕРВАЯ

Глава первая

Проверяя электропроводку, обесточь электро-
питание!

П л а к а т п о т е х н и к е б e з o п a c н o s t i

Короткое замыкание в линии, что питала лабораторию новых систем, произошло в три часа ночи. Автомат релейной защиты на энергоподстанции Днепровского института системологии сделал то, что делают в таких случаях все защитные автоматы: отключил линию от трансформатора, зажег на табло в дежурке мигающую красную лампочку и включил аварийный звонок.

Дежурный техник-электрик Жора Прахов звонок выключил сразу, чтобы не отвлекаться от изучения «Пособия для начинающего мотоциклиста» (Жоре предстояло сдавать на права), а на мигающую лампочку посматривал с неудовольствием и ожиданием: обычно местные замыкания лаборатории устраивали своими силами.

Поняв примерно через час, что ему не отсидеться, техник закрыл учебник, взял сумку с инструментом, перчатки, повернул на двери жестянную стрелку указателя к надписи «Лаб. новых сист.» и вышел из дежурки. Темные деревья институтского парка плавали по пояс в тумане. Масляные трансформаторы подстанции стояли, упершись охладительными трубами в бока, как толстые бесформенные бабы. Размытой глыбой возвышалось на фоне серебряного неба и старое институтское здание — с тяжелыми балконами и вычурными башенками. Левее его параппелепипед нового исследовательского корпуса тщился заслонить раннюю июньскую зарю.

Жора взглянул на часы (было десять минут пятого), закурил и, разгоняя сумкой туман, побрел направо, в дальний угол парка, где стоял на отшибе флигель лаборатории новых систем... А в половине пятого по звонку техника-электрика Прахова на место происшествия выехали две машины: «Скорая помощь» и оперативный автомобиль Днепровского горотдела милиции.

Худой высокий человек в светлом чесучовом костюме шагал через парк напрямик, не придерживаясь асфальтовых дорожек; туфли его оставляли в серой от росы траве длинные темные следы. Утренний ветерок шевелил ред-

кие седые волосы на голове. В промежутке между старым и новым корпусами занимался ослепительный розово-желтый рассвет; в ветвях болтали птицы. Однако Аркадию Аркадьевичу Азарову было не до того.

«В лаборатории новых систем происшествие, товарищ директор, — произнес несколько минут назад сухой голос в трубке. — Имеются потерпевшие, попрошу вас прийти».

От преждевременного пробуждения на Азарова навалилась неврастения: тело казалось набитым ватой, голова пустой, жизнь отвратительной. «В лаборатории происшествие... попрошу прийти...» «Наверно, работник милиции говорил, — вертелось в голове вместо мыслей. — Имеются потерпевшие... Идиотское слово! Кто потерпел? Что потерпел? Убило, ранило, сгорели штаны? Видимо, дело серьезное... Опять! То студент под гамма-излучение полез, чтобы ускорить опыт, то... второй случай за полгода. Но ведь Кривошеин не студент, не юнец — что же стряслось? Работали ночью, устали и... Надо запретить работать по ночам. Категорически!»

...Приняв пять лет назад приглашение руководить организованным в Днепровске Институтом системологии, академик Азаров замыслил создать научную систему, которая стала бы продолжением его мозга. Структура института вырисовывалась в мечтах по вертикально-разветвленному принципу: он дает общие идеи исследований и построения систем, руководители отделов и лабораторий детализируют их, определяют конкретные задачи исполнителям, те стартуют... Ему же остается обобщать полученные результаты и выдвигать новые фундаментальные идеи. Но действительность грубо вламывалась в эти построения. Во многом выражалось вмешательство стихий: в беспоковости одних сотрудников и излишней самостоятельности других, в нарушениях графика строительства, из-за чего склад и хоздвор института и по сей день завалены нераспечатанным оборудованием, в хоздоговорных работах-подделках для самоокупаемости, в скандалах, кои время от времени потрясали институтскую общественность, в различных авариях и происшествиях... Аркадий Аркадьевич с горечью подумал, что сейчас он не ближе к реализации своего замысла, чем пять лет назад.

Одноэтажный флигель под черепичной крышей идиллически белел среди цветущих лип: они распространяли тонкий запах. Возле бетонного крыльца, примяv траву, стояли две машины: белый медицинский ЗИЛ и синяя

с красной полоской «Волга». При виде лаборатории Аркадий Аркадьевич замедлил шаги, задумался: дело в том, что за полтора года ее существования он был в ней только раз, в самом начале, да и то мельком, при общем обходе, и сейчас очень смутно представлял, что там, за дверью.

Лаборатория новых систем... Собственно, у Азарова не было пока оснований принимать ее всерьез, тем более что она возникла не по его замыслу, а благодаря скверному стечению обстоятельств: «горели» восемьдесят тысяч бюджетных денег. До конца года оставалось полтора месяца, а истратить деньги по соответствующей статье («Введение в строй новых лабораторий») было невозможно — строители, кои попачкали обязались сдать новый корпус к Первому, затем к Октябрьским праздникам, затем к Дню Конституции, теперь поговаривали насчет 8 Марта следующего года. Контейнеры и ящики с аппаратурой заполняли парк. К тому же «неэсвоенные» деньги всегда грозны тем, что в следующем году плановые органы урежут бюджет... На институтском семинаре Аркадий Аркадьевич объявил «конкурс»: кто берется истратить эти восемьдесят тысяч до конца года с толком и под обоснованную идею? Кривошеин предложил организовать и оснастить «лабораторию случайного поиска». Других предложений не было, пришло согласиться.

Аркадий Аркадьевич сделал это скрепя сердце и даже изменил ее название на более обтекаемое — «лаборатория новых систем». Лаборатории создаются под людей, а Кривошеин пока что был «вещью в себе»: неплохой инженер-схемотехник, но и только. Пусть потешится самостоятельностью, оснастится, а когда дело дойдет до исследований, он и сам запросит руководителя. Тогда можно будет найти по конкурсу кандидата или лучше доктора наук и уж для такого ученого определить профиль лаборатории.

Разумеется, Аркадий Аркадьевич не исключал возможности, что и сам Кривошеин выйдет в люди. Идея, которую тот изложил на ученом совете прошлым летом, о... — о чем бишь? — ага, о самоорганизации электронных систем путем ввода произвольной информации — могла стать основой для кандидатской и даже докторской диссертации. Но при его неумении ладить с людьми и беспардонной скандальности вряд ли. Тогда на ученом совете ему не следовало так парировать замечания профессора Вольтампернова; бедный Ипполит Илларионович потом прини-

мал капли... Нет, совершенно неизвинительна самонадеянность этого Кривошеина! Ведь до сих пор нет данных, что он подтвердил свою идею; конечно, год — срок небольшой, но и инженер не доктор наук, коему позволительно уходить в глубокий поиск на десятилетия!

А этот недавний скандал... Аркадий Аркадьевич даже поморщился: настолько свежо и неприятно было воспоминание, как полтора месяца назад Кривошеин провалил на официальной защите в соседнем КБ докторскую диссертацию ученого секретаря института. Собственно, выступал против не он один, но если бы Кривошеин не начал, все бы сошло. В посторонней организации, даже не известив о своих намерениях, пришел и провалил свое его! Так бросить тень на институт, на него, академика Азарова... Правда, и ему не следовало столь благодушно относиться к этой диссертации и тем более давать положительный отзыв на нее; но рассудил, что неплохо бы иметь выращенного в институте доктора наук, что и не такие диссертации проходили успешно. Но Кривошеин... Аркадий Аркадьевич тогда в сердцах дал ему понять, что не склонен удерживать его в институте... впрочем, вспоминать об этом сейчас было не только неприятно, но и неуместно.

Во флигеле была заметна суэта. Мысль о том, что сейчас надо войти, смотреть на это, давать объяснения, вызвала у Азарова чувство, похожее на зубную боль. «Итак, снова Кривошеин! — яростно подумал он. — Ну, если он повинен и в этом происшествии!..» Аркадий Аркадьевич поднялся на крыльце, быстро прошел по тесному, заставленному приборами и ящиками коридору, вступил в комнату и огляделся.

Большое, на шесть окон помещение лишь отдаленно напоминало лабораторию для электронно-математических исследований. Металлические и пластмассовые параллелепипеды генераторов и осциллографов с вентиляционными прорезями в стенах стояли на полу, на столах и на полках вперемежку с большими бутылями, банками, колбами, чашами. Колбы теснились на шкафах, громоздились на зеленых ящиках селеновых выпрямителей. Всю среднюю часть комнаты заняло бесформенное на первый взгляд устройство, оплетенное шлангами, проводами, причудливо согнутыми трубами с отростками; за ним едва просматривался пульт электронной машины. Что это за осьминог?!

— Пульс прощупывается, — произнес женский голос слева от академика.

Аркадий Аркадьевич повернулся. Свободное от бутылей и приборов пространство между дверью и глухой стеной заполнял полумрак. Там два санитара осторожно перекладывали с пола на носилки человека в сером лаборантском халате; голова его запрокинулась, пряди волос обмакнулись в лужу какой-то маслянистой жидкости. Возле человека хлопотала маленькая женщина-врач.

— Шоковое состояние, — констатировала она. — Инъекцию адреналина и откачивать.

Академик шагнул ближе: молодой парень, правильные черты очень бледного лица, темно-русые волосы. «Нет, это не Кривошеин, но кто? Где-то я его видел...» Санитар взял шприц наизготовку. Азаров глубоко вдохнул воздух и едва не поперхнулся: комнату наполняли запахи кислот, горелой изоляции, еще чего-то резкого — неопределенные и тяжелые запахи несчастья. Пол был залит густой жидкостью, санитары и врач ступали прямо по ней.

В комнату деловито вошел худощавый человек в синем костюме; все прочее в нем было тускло и невыразительно: серые волосы зачесаны набок, небольшие серые глаза неожиданно близко поставлены на костистом лице с широкими скулами, втянутые щеки скверно выбриты. Вошедший сухо поклонился Азарову. Тот столь же чопорно ответил. Им незачем было представляться друг другу: именно следователь Онисимов в феврале нынешнего года занимался дознанием по «делу об облучении практиканта Горшкова».

— Начнем с опознания трупа, — сухо сказал следователь, и сердце Аркадия Аркадьевича сбилось с ритма. — Попрошу вас сюда...

Азаров двинулся за ним в угол у двери к чему-то накрытому серой kleenкой, она выпирала углами, из-под края ее высовывались желтые костяшки пальцев ног.

— Служебное удостоверение, обнаруженное в находившейся в лаборатории одежде, — протокольным голосом говорил следователь, отгибая край kleenки, — выдано на имя Кривошеина Валентина Васильевича. Подтверждете?

Жизнь не часто ставила Азарова лицом к лицу со смертью. Ему вдруг стало душно, он расстегнул воротник. Из-за kleenки показались сплющивающиеся, коротко остриженные волосы, выкаченные глаза, запавшие щеки, оттянутые вниз углы рта, потом выпирающий кадык на жилистой шее, худые ключицы... «Как он исхудал!..»

— Да...

— Благодарю, — следователь опустил клеенку.

Значит, Кривошеин... Оли виделись позавчера утром возле старого корпуса, прошли мимо друг друга, как всегда корректно раскланялись. Тогда это был хоть и малосимпатичный, но плотный толстощекий живой человек. А сейчас... смерть будто вычила из него все жизненные соки, высушила плоть — остались лишь обтянутые серой кожей кости. «А ведь Кривошеин, наверно, понимал, какая роль ему отведена в создании лаборатории...» — подумалось почему-то Азарову.

Следователь вышел.

— Ай-яй-яй! Тц-тц... — раздалось над ухом Аркадия Аркадьевича.

Он обернулся: в дверях стоял учений секретарь Гарри Харитонович Хилобок. Холеное лицо его припухло от недавнего сна. Гарри Харитонович был, что называется, интересным мужчиной: крупное, хорошо сложенное тело в легком костюме, правильной формы голова, вьющиеся каштановые волосы, красиво серебрящиеся виски, карие глаза, крупный прямой нос, красу и мужественность которого оттеняли темные усы. Внешность, впрочем, несколько портили резкие складки по краям рта, какие бывают от постоянной напряженной улыбки, да мелковатый подбородок.

Сейчас в карих глазах доцента светилось пугливое любопытство.

— Доброе утро, Аркадий Аркадьевич! Что же это у Кривошеина опять случилось-то? А я прохожу это мимо: почему, думаю, около лаборатории такие машины стоят? И зашел... между прочим, цифропечатающие-то автоматы в коридорчике у него простаивают, вы заметили, Аркадий Аркадьевич? Среди всякого хлама, а ведь как добивался их Валентин Васильевич, докладные писал, я говорю, хоть бы другим передал их, если не использует... — Гарри Харитонович сокрушенно вздохнул, посмотрел направо. — Никак это студент! Тц-тц, ай-яй-яй! Опять студент, просто беда с ними... — тут он заметил вернувшегося в комнату следователя; лицо доцента исказила улыбка. — О, здравствуйте, Аполлон Матвеевич! Опять вас к нам?

— Матвей Аполлонович, — кивнув, поправил его Онисимов.

Он раскрыл ящик из желтого дерева с надписью

«Вещест. док-ва» черной краской на крышке, выпул из него пробирку, присел над лужей.

— То есть Матвей Аполлонович — простите велико-душно! Я ведь вас хорошо помню еще по прошлому разу, вот только имя-отчество немного спутал. Матвей Аполлонович, как же, конечно, мы вас потом еще долго вспоминали, вашу деловитость и все... — суетливо говорил Хилобок.

— Товарищ директор, какие именно работы велись в этой лаборатории? — перебил следователь, зачерпывая пробиркой жидкость.

— Исследование самоорганизующихся электронных систем с интегральным вводом информации, — ответил академик. — Так, во всяком случае, Валентин Васильевич Кривошеин сформулировал свою тему в плане этого года.

— Понятно, — Онисимов поднялся с корточек, понюхал жидкость, отер пробирку ватой, спрятал в ящик. — Применение ядовитых химикалиев было оговорено в задании на работу?

— Не знаю. Думаю, ничего оговорено не было: поисковая работа ведется исследователем по своему разумению...

— Что же это у Кривошеина такое стряслось, что даже вас, Аркадий Аркадьевич, в такую рань побеспокоили? — понизив голос, спросил Хилобок.

— Вот именно — что? — Онисимов явно адресовал свои слова академику. — Короткое замыкание ни при чем, оно следствие аварии, а не причина — установлено. Поражений током нет, травм на теле нет... и человека нет. А что это за изделие, для чего оно?

Он поднял с пола диковинный предмет, похожий на шлем античного воина; только шлем этот был поникелирован, усеян кнопками и увит жгутами тонких разноцветных проводов. Провода тянулись за трубы и колбы громоздкого устройства в дальний угол комнаты, к электронной машине.

— Это? — академик пожал плечами. — М-м...

— «Шапка Мономаха» — то есть это у нас так их просто называют, в обиходе, — пришел на помощь Хилобок. — А если точно, то СЭД-1 — система электродных датчиков для считывания биопотенциалов головного мозга. Я ведь почему знаю, Аркадий Аркадьевич: Кривошеин мне все заказывал сделать еще такую...

— Так, понятно. Я, с вашего позволения, ее приобщу, поскольку она находилась на голове погибшего.

Онисимов, сматывая провода, удалился в глубину комнаты.

— Кто погиб-то, Аркадий Аркадьевич? — прошептал Хилобок.

— Кривошеин.

— Ай-яй, как же это? Вот тебе на, учудил... И опять вам хлопоты, Аркадий Аркадьевич, неприятности...

Вернулся следователь. Он упаковал «шапку Мономаха» в бумагу, уложил ее в свой ящик. В тишине лаборатории слышалось только пыхтение санитаров, которые трудились над бесчувственным практикантом.

— А почему Кривошеин был голым? — вдруг спросил Онисимов.

— Был голым?! — изумился академик. — Значит, это не врачи его раздели? Не знаю! Представить не могу.

— Хм... понятно. А как вы полагаете, для чего у них этот бак? Не для купаний случайно?

Следователь указал на прямоугольный пластмассовый бак, который лежал на боку среди разбитых и раздавленных его падением колб; с прозрачных стенок ссыпали потеки и сосули серо-желтого вещества. Рядом с баком валялись осколки большого зеркала.

— Для купания?! — Академика начали злить эти вопросы. — Боюсь, что у вас весьма своеобразные представления о назначении научной лаборатории, товарищ... э-э... следователь!

— И зеркало рядом стояло — хорошее, в полный рост, — вел свое Онисимов. — Для чего бы оно?

— Не знаю! Я не могу вникать в технические детали всех ста шестидесяти работ, которые ведутся в моем институте!

— Видите ли, Аполлон Матве... то есть Матвей Аполлонович, прошу прощения, — заторопился на выручку доцент Хилобок, — Аркадий Аркадьевич руководит всем институтом в целом, состоит в пяти межведомственных комиссиях, редактирует научный журнал и, понятно, не может вдаваться в детали каждой работы в отдельности, на то есть исполнители. К тому же покойный — увы, это так, к сожалению! — покойный Валентин Васильевич Кривошеин был чересчур самостоятельного характера человека, не любил ни с кем советоваться, посвящать в свои замыслы, в результаты. Да и техникой безопасности он, надо прямо сказать, манкировал, к сожалению, довольно часто... конечно, я понимаю, «де мортус аут бене аут

нихиль», как говорится, то есть о мертвых либо хорёшее, либо ничего, понимаете? — но что было, то было. Помните, Аркадий Аркадьевич, как в позапрошлом году зимой, он тогда еще у нашего бывшего Иванова работал, в январе... нет, в феврале... или все-таки, кажется, в январе.. а может быть, даже и в декабре еще — помните, он тогда залил водой нижние этажи, нанес ущерб, сорвал работы?

— Ох и гнида же вы, Хилобок! — раздался вдруг голос с носилок. Лаборант-студент, цепляясь за края, пытался подняться. — Ох и... Напрасно мы вас тогда не тронули!

Все повернулись к нему. У Азарова озnob прошел по коже: до того неотличимо голос студента был похож на голос Кривошеина — та же хрипотца, так же неряшливо выговариваемые окончания слов... Лаборант обессиленно упал, голова свесилась на пол. Санитары удовлетворенно вытирали пот: ожил, родимый! Женщина-врач скомандовала им, они подняли носилки, понесли к выходу. Академик всмотрелся в парня. И снова сердце у него сбилось с ритма: лаборант — непонятно с первого взгляда чем именно — походил на Кривошеина; даже не на живого, а на тот труп под kleenкой.

— Вот-вот, и практиканта успел восстановить, — с необыкновенной кротостью покивал Хилобок.

— А что это он вас так... аттестовал? — повернулся к нему Онисимов. — У вас с ним был конфликт?

— Ни боже мой! — Доцент искренне пожал плечами.— Я и разговаривал с ним только раз, когда оформлял его на практику в лабораторию Кривошеина по личной просьбе Валентина Васильевича, поскольку этот...

— ...Кравец Виктор Витальевич, — справился по записям Онисимов.

— Вот именно... приходится родственником Кривошеину. Студент он, из Харьковского университета, нам их зимой пятнадцать человек на годичную практику прислали. А лаборантом его Кривошеин оформил по-родственному — как не порадеть, все мы люди, все мы люди...

— Будет вам, Гарри Харитонович! — оборвал его академик.

— Понятно, — кивнул Онисимов. — Скажите, а кроме Кравца, у потерпевшего близкие были?

— Как вам сказать, Матвей Аполлонович? — проникновенно вздохнул Хилобок. — Официально — так нет, а

неофициально... ходила тут к нему одна женщина, не знаю, невеста она ему или так; Коломиец Елена Ивановна, она в конструкторском бюро по соседству работает, симпатичная такая...

— Понятно. Вы, я вижу, в курсе, — усмехнулся Онисимов, направляясь к двери.

Через минуту он вернулся с фотоаппаратом, направил в угол зрачок фотоэкспонометра.

— Лабораторию на время проведения дознания я вынужден опечатать. Труп будет доставлен в судебно-медицинскую экспертизу на предмет вскрытия. Товарищам по организации похорон надлежит обратиться туда, — следователь направился в угол, взялся за kleenку, которая прикрывала труп Кривошеина. — Попрошу вас отойти от окна, светлее будет. Собственно, я вас больше не задерживаю, товарищи, извините за беспокойство...

Вдруг он осекся, рывком поднял kleenку: под ней на коричневом линолеуме лежал скелет! Вокруг растекалась желтая лужа, сохраняя расплывчатые окарикатуренные очертания человеческого тела.

— Ох! — Хилобок всплеснул руками, отступил за порог.

Аркадий Аркадьевич почувствовал, что у него ослабели ноги, взялся за стену. Следователь неторопливыми машинальными движениями складывал kleenку и завороженно смотрел на скелет, издавательски ухмылявшийся тридцатидвухзубым оскалом. С черепа бесшумно упала в лужу прядь темно-рыжих волос.

— Понятно... — пробормотал в растерянности Онисимов. Потом повернулся к Азарову, неодобрительно поглядел в широко раскрытые глаза за прямоугольными очками. — Дела тут у вас, товарищ директор...

Глава вторая

- Что вы можете сказать в свое оправдание?
- Ну, видите ли...
- Достаточно. Расстрелять. Следующий!

Разговор

Собственно, следователю Онисимову пока еще ничего не было понятно; просто сохранилась у него от лучших времен такая речевая привычка — он от нее старался

избавиться, но безуспешно. Более того, Матвей Аполлонович был озадачен и крайне обеспокоен подобным поворотом дела. За полчаса до звонка из института системологии судебно-медицинский эксперт Зубато, дежуривший с ним в эту ночь, выехал на дорожное происшествие за город. Онисимов отправился в институт один. И вот пожалуйста: на месте неостывшего трупа лежал в той же позе скелет! Такого в криминалистической практике еще не случалось. Никто не поверит, что труп сам превратился в скелет, — на смех поднимут! И «Скорая помощь» уехала — хоть бы они подтвердили. И сфотографировать труп не успел...

Словом, случившееся представлялось Онисимову цепью серьезных следственных упущений. Поэтому он, не покидая территории института, запасся письменными показаниями техника Прахова и академика Азарова.

Техник-электрик Прахов Георгий Данилович, двадцати лет, русский, холостой, военнообязанный, беспартийный, показал:

«...Когда я вошел в лабораторию, верхний свет горел, нарушена была только силовая сеть. В помещении стоял такой запах, что меня чуть не вырвало — как в больнице. Первое, что я заметил: голый человек лежит в опрокинутом баке, голова и руки свесились, на голове металлическое устройство. Из бака что-то вытекает, похоже, будто густая сукровица. Второй — студент, новенький, я его наглядно знаю — лежит рядом, лицом вверх, руки раскинут. Я бросился к тому, который в баке, вытащил. Он был еще теплый и весь скользкий, не ухватиться. Потормошил — вроде пижевой. В лицо я его узнал — Валентин Васильевич Кривошеин, часто его встречал в институте, здоровались. Студент дышал, но в сознание не возвращался. Поскольку почкою на территории никого, кроме внешней охраны, нет, вызвал по телефону лаборатории «Скорую помощь» и милицию.

А короткое замыкание получилось в силовом кабеле, что идет к лабораторному электроцентру понизу вдоль стены в алюминиевой трубе. Бак разбил бутыль — видимо, с кислотой, — она в этом месте все проела и закоротила, как проводник второго рода».

О том, что он вышел к месту аварии спустя час после сигнала автомата, Жора благородно умолчал.

Директор института Азаров Аркадий Аркадьевич, доктор физико-математических наук и действительный член Академии наук, пятидесяти восьми лет, русский, женатый,

невоеннообязанный, член КПСС, подтвердил, что он «опознал в предъявленном ему на месте происшествия следователем Оникимовым М. А. трупе черты лица исполняющего обязанности заведующего лабораторией новых систем Валентина Васильевича Кривошеина и, помимо того, со свойственной академику научной объективностью отметил, что его «поразила невероятная изможденность покойного, именно невероятная, несоответствующая его обычному облику...».

В половине одиннадцатого утра Оникимов вернулся в городской кабинет на первом этаже, окна которого, перечеркнутые вертикальными прутьями решетки, выходили на людный в любое время дня проспект Маркса. Матвей Аполлонович кратко доложил дежурному майору Рабиновичу о происшедшем, направил на экспертизу пробирки с жидкостью, затем позвонил в клинику «Скорой помощи», поинтересовался, в каком состоянии пребывает единственный очевидец происшедшего. Ответили, что лаборант чувствует себя нормально, просит выписать его.

— Хорошо, выписывайте, сейчас высыпаю машину, — согласился Оникимов.

Не успел он распорядиться о машине, как в кабинет ворвался судебно-медицинский эксперт Зубато, полнокровный и громогласный мужчина с волосатыми руками.

— Матвей, что ты мне привез?! — он возмущенно плюхнулся на стул, который крякнул под ним. — Что за хохмы?! Как я установлю причины смерти по скелету?

— Что осталось, то и привез, — развел руками Оникимов. — Хорошо, что пришел, с ходу формулирую вопрос: каким образом труп может превратиться в скелет?

— С ходу отвечаю: в результате разложения тканей, которое в обычных условиях длится недели и даже месяцы. Это все, что может сам труп:

— Тогда... как можно превратить труп в скелет?

— Освежевать, срезать мягкие ткани и варить в воде до полного обнажения костей. Воду рекомендуется менять. Ты можешь внятно рассказать, что произошло?

Оникимов рассказал.

— Ну, дела! Эх, жаль, меня не было! — Зубато в огорчении хлопнул себя по коленям.

— А что на шоссе?

— Э, пьяный мотоциклист налетел на корову. Оба живы... Так, говоришь, «растаял» труп? — эксперт скептиче-

ски сопустился, приблизил полное лицо к Оникимову. — Матвей, это липа. Так не бывает, я тебе точно говорю. Человек не сосулька, даже мертвый. А не обвели тебя там?

— Это как?

— Да так: подсунули скелет вместо трупа, пока ты заходил да выходил... и концы в воду!

— Что ты мелешь: подсунули! Выходит, академик стоял на стреме?! Да вот и он показывает... — Оникимов засуетился, ища показания Азарова.

— Э, теперь они покажут! Там народ такой... — Зубато волнообразно пошевелил волосатыми пальцами. — Помнишь, когда у них студент облучился, то завлабораторией тоже все валил на науку: мол, малоисследованное явление, гамма-радиация разрушила кристаллические ячейки дозиметра... а на поверку оказалось, что студенты расписывались под инструкцией о работе с изотопами, не читая ее! Отвечать никому не хочется, даже академикам, тем более по мокрому делу. Припомн: ты оставлял их наедине с трупом?

— Оставляя, — голос следователя упал. — Два раза...

— Вот тогда твой труп и «растаял»! — и Зубато рассмеялся бодрым смехом человека, который сознает, что неприятность случилась не с ним.

Следователь задумался, потом отрицательно покачал головой.

— Нет, тут ты меня не сбьешь. Я же видел... Но вот как теперь быть с этим скелетом?

— Шут его... постой, есть идея! Отправь череп в городскую скульптурную мастерскую. Пусть восстановят облик по методу профессора Герасимова, они умеют. Если совпадет, то... это же будет криминалистическая сенсация века! Если нет... — Зубато сочувственно поглядел на Матвея Аполлоновича, — тогда не хотел бы я оказаться на твоем месте при разговоре с Алексеем Игнатьевичем! Ладно, я сам и направлю, так и быть, — он поднялся. — И заодно освидетельствую... хоть скелет, раз уж насчет трупа у тебя тух!

Зубато удалился.

«А если вправду обвели? — Оникимов вспомнил, как неприязненно смотрел на него академик, как лебезил доцент Хилобок, и похолодел. — Прошлил труп, основную улику, милое дело!»

Он набрал номер химической лаборатории.

— Виктория Степановна, Онисимов беспокоит. Проверили жидкость?

— Да, Матвей Аполлонович. Протокол в перепечатке, но данные я вам прочитаю. «Воды — 85 процентов, белков — 13 процентов, аминокислот — 0,5 процента, жирных кислот — 0,4 процента», ну и так далее. Словом, это плазма человеческой крови. По гемагглютинам относится к первой группе, содержание воды понижено.

— Понятно. Вредность от нее может быть?

— Думаю, что нет...

— Понятно... А если, например, искупаться в ней?

— Ну... можно, видимо, захлебнуться и утонуть. Это вас устроит?

— Благодарю вас! — Матвей Аполлонович раздраженно бросил трубку. «Ишь, острячка! Но похоже, что версия несчастного случая отпадает... Может, притопил его лаборант в баке? Очень просто. Нет, на утопление не похоже...»

С каждой минутой дело нравилось Онисимову все меньше. Он разложил на столе взятые в институтском отделе кадров и в лаборатории документы, углубился в их изучение. Его отвлек телефон.

— Матвей, с тебя причитается! — загремел в мембране победный голос Зубато. — Кое-что я установил даже по скелету: посередине шестого и седьмого ребер на правой стороне грудной клетки имеются глубокие поперечные трещины. Такие трещины бывают от удара тупым тяжелым предметом или о тупой предмет, как угодно. Поверхность излома в трещинах, свежая...

— Понятно!

— Эти трещины сами по себе не могут быть причиной смерти. Но удар большой силы мог серьезно повредить внутренние органы, которые, увы, отсутствуют... Вот в таком плане. Буду рад, если это тебе поможет.

— Еще как поможет! Череп на идентификацию отправил?

— Только что. И позвонил — обещали сделать быстро.

«Итак, это не несчастный случай от производственных причин. Ни жидкость, ни короткое замыкание человеку ребра не ломают. Ай-ай! Значит, было там двое: пострадавший и потерпевший. И похоже, что между пострадавшим и потерпевшим завязалась серьезная драка...»

Онисимов почувствовал себя бодрее: в деле наметились привычные очертания. Он стал набрасывать текст срочной телеграммы в Харьков.

Июньский день накалялся зноем. Солнце плавило асфальт. Жара сочилась и в кабинет Онисимова, он включил вентилятор на своем столе.

Ответ харьковской милиции пришел ровно в час дня.

Лаборанта Кравца доставили в половине второго. Выйдя в кабинет, он внимательно огляделся с порога, усмехнулся, заметив решетки на окнах:

— Это зачем, чтобы быстрой сознавались?

— Не-ет, что вы! — добродушно пропел Матвей Аполлонович. — В нашем здании раньше оптовая база была, так весь первый этаж обрешетили. Скоро снимем, в милицию воры по своей охоте не полезут, хе-хе... Садитесь. Вы уже здоровы, показания давать можете?

— Могу.

Лаборант прошел через комнату, сел на стул против окна. Следователь рассматривал его. Молод, года двадцать четыре, не более. Похож на Кривошеина, таким тот мог быть лет десять назад. «Впрочем, — Матвей Аполлонович скосил глаза на фотографию Кривошеина в личном деле, — тот таким не был, нет. Этот — красавчик». И верно, во внешности Кравца была какая-то манекенная зализанность и аккуратность черт. Это впечатление нарушали лишь глаза — собственно, даже не сами глаза, голубые и по-юношески ясные, а прицельный прищур век. Лаборант смотрел на следователя умно и настороженно. «Пожилые у него какие-то глаза, — отметил следователь. — Но быстро оправился от передряги, никаких следов. Ну-с, попробуем».

— Знаете, а вы похожи на покойного Кривошеина.

— На покойного?! — Лаборант стиснул челюсти и на секунду прикрыл глаза. — Значит, он...

— Да, значит, — жестко подтвердил Онисимов. «Нервочки у него не очень...» — Впрочем, давайте по порядку, — он придвинул к себе лист бумаги открыл авторучку. — Ваши имя, отчество, фамилия, возраст, место работы или учебы, где проживаете?

— Да вам ведь, наверно, известно?

— Известно-неизвестно — такой порядок, чтобы допрашиваемый сам назывался.

«Значит, погиб... что теперь делать? Что говорить? Катастрофа... Черт меня принес в милицию — мог бы сбежать из клиники... Что же теперь будет?»

— Пожалуйста, пишите: Кравец Виктор Витальевич, двадцать четыре года, студент пятого курса физического

факультета Харьковского университета. Живу постоянно в Харькове, на Холодной горе. Здесь на практике.

— Понятно, — следователь, вместо того, чтобы писать, быстро и бесцельно вертел ручку. — Состояли в родственных отношениях с Кривошеиным, в каких именно?

— В отдаленных, — неловко усмехнулся студент. — Так, седьмая вода на киселе.

— Понятно! — Онисимов положил авторучку, взял телеграфный бланк; голос его стал строгим. — Так вот, гражданин: не подтверждается.

— Что не подтверждается?

— Версия ваша, что вы Кравец, живете и учитесь в Харькове и так далее. Нет в Харьковском университете такого студента. Да и на Холодной горе, 17 указанное лицо не проживало ни временно, ни постоянно.

У допрашиваемого на мгновение растерянно обмякли щеки, лицо всыхнуло. «Влип. Вот влип, ах, черт! Да как глупо!.. Ну, конечно же, они сразу проверили. Вот что значит отсутствие опыта... Но что теперь-то говорить?»

— Говорите правду. И подробнейко. Не забывайте, что дело касается смертного случая.

«Правду... Легко сказать!»

— Понимаете... правда, как бы это вам сказать... это слишком много и сложно... — забормотал растерянно лаборант, ненавидя и презирая себя за эту растерянность. — Здесь надо и о теории информации, о моделировании случайных процессов...

— Вот только не напускайте тумана, гражданин, — брюзгливо поморщился Онисимов. — От теорий люди не погибают — это сплошная практика и факты.

— Но... понимаете, может быть, собственно, никто и не погиб, это можно доказать... попытаться доказать. Дело в том, что... видите ли, гражданин следователь... («Почему я назвал его «гражданин следователь» — я ведь еще не арестант?!») Видите ли, человек — это прежде всего... н-ну... не кусок протоплазмы весом в семьдесят килограммов... Ну, там пятьдесят литров воды, двадцать килограммов белков... жиров и углеводов... энзимы, ферменты, все такое. Человек это прежде всего информация. Сгусток информации... И если она не исчезла — человек жив...

Он замолчал, закусил губу. «Нет, бессмысленная затея. Не стоит и стараться».

— Так, я слушаю вас, продолжайте, — внутренне усмехаясь, поторопил следователь.

Лаборант взглянул на него исподлобья, уселся побуднее и сказал с легкой улыбкой:

— Одним словом, если без теорий, то Валентин Васильевич Кривошеин — это я и есть. Можете занести это в протокол.

Это было настолько неожиданно и нагло, что Матвей Аполлонович на минуту онемел. «Не отправить ли его к психиатру?» Но голубые глаза допрашиваемого смотрели осмысленно, а в глубине их пряталась издевательская усмешка. Она-то и вывела Онисимова из оцепенения.

— По-нят-но! — он тяжело поднялся. — Вы что же, за дурака меня считаете? Будто я не знакомился с личным делом Кривошеина, не был на происшествии, не помню его облика и прочее? — Он оперся руками о стол. — Не хотите объяснять себя — вам же хуже. Все равно узнаем. Вы признаете, что документы у вас поддельные?

«Все. Надо выходить из игры».

— Нет. Это вам еще надо доказать. С таким же успехом вы могли бы считать поддельным меня!

Лаборант отвернулся к окну.

— Вы не паясничайте, гражданин! — повысил голос следователь. — С какой целью вы проникли в лабораторию? Отвечайте! Что у вас получилось с Кривошеиным? Отвечайте!

— Не буду я отвечать!

Матвей Аполлонович мысленно выругал себя за несдержанность. Сел, помолчал — и заговорил задушевным тоном:

— Послушайте, не думайте, что я утопить вас хочу. Мое дело провести дознание, доложить картину, а там пусть прокуратура расследует, суд решает... Но вы сами себе вредите. Вы не понимаете одного: если сознаетесь потом, как говорится, под давлением улик, это не будет иметь той цены, как чистосердечное признание сейчас. Возможно, все не так страшно. Но пока что все улики против вас. Картина повреждений на трупе, данные экспертов, другие обстоятельства... И все сходится в одном, — он перегнулся через стол, понизил голос, — что вроде как вы потерпевшего... того... облегчили.

Допрашиваемый опустил голову, потер лицо ладонями. Перед его глазами снова возникла картина: конвульсивно дергающийся в баке скелет с головой Кривошеина, свои руки, вцепившиеся в край бака... теплая, ласковая жидкость касается их и — удар!

— Сам не знаю, я или не я... — пробормотал он севшим голосом. — Не могу понять... — он поднял глаза. — Послушайте, мне надо вернуться в лабораторию!

Матвей Аполлонович едва не подпрыгнул: такой быстрой победы он не ожидал.

— Что ж, и так бывает, — сочувственно покивал он. — В состоянии исступления от нанесенного оскорблении достоинству или превышение предела необходимой обороны... Сходим и в лабораторию, на месте объясните: как там у вас с ним вышло, — он придвигнул к себе лежавшую на краю стола «шапку Мономаха», спросил небрежно: — Этим вы, что ли, по боку его двинули? Увесистая штука.

— Ну, хватит! — резко и как-то даже надменно произнес допрашиваемый и распрямился. — Не вижу смысла продолжать беседу: вы мне шьете «мокрое» дело... Между прочим, эта «увесистая штука» стоит пять тысяч рублей, вы с ней поосторожней.

— Значит, не желаете рассказывать?

— Нет.

— Понятно, — следователь нажал кнопку. — Придется вас задержать до выяснения.

В дверях появился долговязый, худой милиционер с длинным лицом и отвислым носом — про таких на Украине говорят: «Довгый, аж гнеться».

— Гаевой? — следователь посмотрел па него с сомнением. — Что, из сопровождающих больше никого нет?

— Так что все в разгоне, товарищ капитан, — ответил тот. — На пляжах многие, следят за порядком.

— Машина есть?

— «Газик».

— Отправьте задержанного в подследственное отделение... Напрасно отказываетесь помочь нам и себе, гражданин. Омрачаете свою участь.

Лаборант в дверях обернулся.

— А вы напрасно считаете, что Кривошеин мертв.

«Из тех пижонов, для которых главное — красиво уйти. И чтоб последнее слово осталось за ним, — усмехнулся вслед ему Описимов. — Видели мы и таких. Ничего, посидит — одумается».

Матвей Аполлонович закурил, поиграл пальцами по стеклу стола. Поначалу улики (липовые документы, сведения экспертов, обстоятельства происшествия) настроили его на мысль, что «лаборант» если не прямой убийца, то

активный виновник гибели Кривошеина. Но в разговоре впечатление изменилось. И дело было не в том, что говорил допрашиваемый, а как он говорил. Не чувствовалось в его поведении тонкой продуманности, игры — той смертной игры, которая выдает злостного преступника раньше улик.

«Похоже, что дело тянет на непредумышленное убийство. Сам говорит: «Не знаю: я или не я...» Но — скелет, скелет! Как это получилось? Да получилось ли? Может, устроено? И еще: попытка выдать себя за Кривошеина с «теоретическим» обоснованием... Что это: симуляция? А что, если это отсутствие игры — просто очень тонкая игра? Да откуда ему такого набраться: молодой парень, явно неопытный... И потом: какие мотивы для умышленного убийства? Что они там не поделили? Но — липовые документы?!»

Мысли Матвея Аполлоновича зашли в тупик. «Что ж, будем вникать в обстановку». Он поднялся из-за стола, выглянул в коридор: там уже расхаживал доцент Хилобок.

— Прошу вас!.. Я пригласил вас, товарищ Хилобок, чтобы... — начал следователь.

— Да, да, понимаю, — закивал доцент, — кому несчастье, а мне хлопоты. Умирают люди от старости, что и нам с вами дай бог, Матвей Аполлонович, верно? А у Кривошеина все не как у людей. Нет, я сожалею, конечно, вы не подумайте, человека всегда жалко, ведь верно? — Только я из-за Валентина Васильевича столько хлопот принял, столько неприятностей. А все потому, что характер у него был неперечный, никого не уважал, ни с кем не считался, отрывался от коллектива регулярно...

— Понятно. Только я хотел бы выяснить, чем занимались Кривошеин и вверенная ему лаборатория? Поскольку вы учений секретарь, то...

— А я так и догадался! — довольно улыбнулся Гарри Харитович. — Вот даже копию тематического плана с собой захватил, а как же! — Он зашелестел листами в папке. — Вот, пожалуйста: тема 152, специфика — поисковая НИР, наименование — «Самоорганизация сложных электронных систем с интегральным вводом информации», содержание работы — «Исследование возможности самоорганизации сложной системы в более сложную при интегральном (недифференцированном по сигналам и символике) вводе различной информации путем над-

страивания системы по ее выходным сигналам», финансирование — бюджет, характер работы — математический, логический и экспериментальный поиск, руководитель работы — ведущий инженер В. В. Кривошеин, исполнитель — он же...

— В чем же суть его исследований?

— Суть? Гм... — лицо Хилобока посерезнело. — Самоорганизация систем... чтобы машина сама себя строила, понимаете? В Америке этим тоже занимаются очень интенсивно. Очень, да. В Соединенных Штатах...

— А что же конкретно делал Кривошеин?

— Конкретно... Он предложил новый подход к образованию этих систем путем... интегризации. Нет, самоорганизации... Да только еще неизвестно, вышло у него что или нет! — Гарри Харитонович подкупающе широко улыбнулся. — Знаете, Матвей Аполлонович, столько тем, столько работ в институте, во все приходится вникать — так что не все и в памяти удержишь! Это лучше бы поднять протоколы ученого совета.

— Значит, он докладывал о работе на ученом совете института?

— Конечно! У нас все работы обсуждаются, прежде чем их в план включать. Ведь ассигнования нам выделяют по обоснованиям, а как же!

— И что он обосновал?

— Ну как что? — снисходительно повел бровями ученый секретарь. — Идею свою относительно нового подхода по части самоорганизации... Лучше всего протоколы поднять, Матвей Аполлонович, — вздохнул он. — Ведь дело год назад было, у нас всякие обсуждения, совещания, комиссии каждую неделю, если не чаще, можете себе представить? И на всех мне нужно быть, участвовать, организовывать выступления, самому выступать, приглашать, вот и от вас мне придется сразу ехать в Общество по распространению, там сегодня совещание по вопросу привлечения научных кадров к чтению лекций в колхозах во время уборки, даже пообедать не успею, хоть бы уж в отпуск скорее уйти...

— Понятно. Но тему его ученый совет утвердил?

— Да, а как же! Многие, правда, возражали, спорили. Ах, как дерзко отвечал тогда Валентин Васильевич, просто недопустимо — профессора Вольтампернова после заседания валерьянкой отпивали, можете себе представить? Порекомендовали дирекции выговор Кривошеину вынести

за грубость, я сам и приказ готовил... Но тему утвердили, а как же! Предлагает человек новые идеи, новый подход — пусть пробует. У нас в науке так, да. К тому же Аркадий Аркадьевич его поддержал — Аркадий Аркадьевич у нас добрейшей души человек, он ведь его и в отдельную лабораторию выделил потому, что Кривошеин из-за своего поперечного нрава ни с кем не мог сработать. Правда, лаборатория-то смех один, неструктурная, с одной штатной единицей... А на ученом совете обсудили и проголосовали «за». Я тоже голосовал «за».

— Так за что же «за»? — Онисимов вытер платком вспотевший лоб.

— Как за что? Чтобы включить тему в план, выделить ассигнования. Плановость — она, знаете, основа нашего общества.

— Понятно... Как вы думаете, Гарри Харитонович, что там у них случилось?

— М-м... так ведь это вам надо выяснить, уважаемый Матвей Аполлонович, откуда же мне знать — я ученый секретарь, мое дело бумажное. Работали они с зимы вдвоем с этим лаборантом, ему и знать. К тому же он очевидец.

— А вы знаете, что этот практиканта-лаборант не тот, за кого он себя выдает? — строго спросил Онисимов. — Не Кравец он и не студент.

— Да-а-а?! То-то, я смотрю, вы его под стражу взяли! — У Хилобока округлились глаза. — Не-ет, откуда же мне знать, я, право... это наш отдел кадров просмотрел. А кто же он?

— Выясняем. Так, говорите, американцы подобными работами занимаются и интересуются?

— Да. Значит, вы думаете, что он..

— Ну, зачем так сразу? — усмехнулся Онисимов. — Я просто прикидываю возможные версии. — Он покосился на бумажку, где были записаны вопросы. — Скажите, Гарри Харитонович, вы не замечали за Кривошеиным отклонений со стороны психики?

Хилобок довольно улыбнулся.

— Вот я шел сюда, припоминал и колебался, знаете: говорить или нет? Может, мелочь, может, не стоит? Но раз вы сами спрашиваете... Бывали у него заскоки. Вот, помню, в июле прошлого года, я тогда как раз совмещал свою должность с заведованием лабораторией экспериментальных устройств, не могли долгое время

подходящего специалиста найти, кандидата наук, вот я и совместил, чтобы штатная единица не пропадала напрасно, а то, знаете, могут снять должность, потом не добьешься, у нас ведь так. И значит, как раз незадолго перед этим приняла моя лаборатория заказ от Кривошеина на изготовление новой системы энцефалографических биопотенциальных датчиков — ну, вроде этой СЭД-1, «шапки Мономаха», что у вас на столе, только более сложная конструкция, чтобы перестраивать на различные назначения по кривошинским схемам. Зачем они заказ от него приняли, вместо того чтобы наукой заниматься, ума не приложу...

От проникновения в научные дела нетренированный мозг Матвея Аноплоновича сковывала сонная одурь. Обычно он решительно пресекал любые отклонения от интересующей его конкретной темы, но сейчас — человек русской души — не мог побороть в себе почтения к науке, к ученым титулам, званиям и обстоятельствам. Почтение это жило в нем всегда, а с тех пор, как во время прошлого следствия в институте он познакомился с ведомостью зарплаты научных сотрудников, оно удвоилось. Вот и теперь Онисимов не отваживался стеснить вольный полет речи Гарри Харитоновича: как-никак перед ним сидел человек, который получает в два с лишним раза больше, чем он, капитан милиции Онисимов, — и на законном основании.

— И вот, можете себе представить, сижу я в лаборатории как-то, — распространялся далее Хилобок, — и приходит ко мне Валентин Васильевич — без халата, заметьте! У нас это не положено, специальный приказ был по институту, чтобы инженерный и научный состав ходил в белых халатах, а техники и лаборанты — в серых или синих, у нас ведь часто иностранные делегации бывают, иначе нельзя, но он всегда пренебрегал, и спрашивал меня этаким тоном: «Когда же вы выполните заказ на новую систему?» Ну, я спокойненько ему все объясняю: так, мол, и так, Валентин Васильевич, когда сможем, тогда и выполним, не так просто все сделать, что вы там нарисовали, монтаж соединений очень сложный получается, транзисторов много приходится отбраковывать... словом, объясняю, как полагается, чтобы человек в претензии не остался. А он свое: «Не можете выполнить в срок, не надо было и браться!» Я ему снова объясняю насчет сложности и что заказов накопилось

в лаборатории много, а Кривошеин перебивает меня: «Если через две недели не будет выполнен заказ, я на вас докладную напишу, а работу передам школьникам в кружок любителей электроники! И быстрее сделают, и накладных расходов меньше будет!» Насчет накладных расходов это он камешек в мой огород бросает, он и раньше такие намеки высказывал, ну да что толку! И с тем хлопает дверью, уходит...

Следователь мерно кивал и стискивал челюсти, чтобы не выдать зевоту. Хилобок взволнованно журчал:

— А пять минут спустя — заметьте! — не более пяти минут прошло, я по телефону с мастерскими переговорить не успел — врывается снова Валентин Васильевич ко мне, уже в халате, успел где-то найти серый лаборантский, — и опять: «Гарри Харитонович, когда же наконец будет выполнен заказ на систему датчиков?» — «Помилуйте, — говорю, — Валентин Васильевич, да ведь я вам все объяснил!» — и снова пытаюсь рассказать насчет транзисторов и монтажа. Он перебивает, как и в тот раз: «Не можете, так не нужно браться...» — и снова насчет докладной, школьников, накладных расходов... — Хилобок приблизил лицо к следователю. — Короче говоря, *высказал все то же, что и пять минут назад, теми же словами!* Можете себе представить?

— Любопытно, — кивнул следователь.

— И не один такой заскок у Кривошеина был. То воду забыл перекрыть на ночь, весь этаж под лабораторией затопил. То — дворник мне как-то жаловался — устроил в парке огромный костер из перфолент. Так что... — доцент значительно поджал полные красные губы, траурно оттененные усами, — всякое могло статья. А все почему? Выдвинуться хотел и работой себя перегружал сверх меры. Бывало, когда ни уходишь из института, а во флигеле у него все окна светятся. У нас в институте многие посмеивались. Кривошеин, мол, хочет сделать не диссертацию, а сразу открытие... Вот и дооткрывался, теперь поди разберись.

— Понятно, — следователь снова скосил глаза на бумажку. — Вы упоминали, что у Кривошеина была близкая женщина. Вы ее знаете?

— Елену Ивановну Коломиец? А как же! Таких женщин, знаете, немного у нас в городе — оч-чень приветная, элегантная, милая, ну, словом, такая... — Гарри Харитонович восполнил невыразимое словами восхище-

ние прелестями Елены Ивановны зигзагообразным движением рук. Карие глаза его заблестели. — Я всегда удивлялся, да и другие тоже: и что она в нем нашла? Ведь у Кривошеина — конечно, «де мортус аут бене, аут нихиль», но что скрывать? — сами видели, какая внешность. И одеться он никогда не умел как следует и прихрамывал... Приходила она к нему, наши дома в академгородке рядом, так что я видел. Но что-то последнее время я ее не замечал. Наверно, разошлись, как в море корабли, хе-хе! А вы думаете, она тоже причастна?

— Я пока ни на кого не думаю, Гарри Харитонович, я только выясняю. — Онисимов с облегчением поднялся. — Ну, благодарю вас. Надеюсь, мне не надо вас предупреждать о неразглашении, поскольку...

— Ну, разве я не понимаю! Не стоит благодарности, мой долг, так сказать, я всегда пожалуйста...

После ухода доцента Матвей Аполлонович подставил голову под вентилятор, несколько минут сидел без движений и без мыслей. В голове журканием мухи по стеклу отдавался голос Хилобока.

«Постой! — следователь помотал головой, чтобы прийти в себя. — Но ведь он ничего не прояснил. Битый час разговаривали и все вроде бы о деле — и ни-че-го. Ф-фу... ученый секретарь, доцент, кандидат наук — неужели темнил? Ох, здесь что-то не то!»

Зазвенел телефон.

— Онисимов слушает.

Несколько секунд в трубке слышалось лишь прерывистое дыхание — видно, человек никак не мог отдохнуться..

— Товарищ... капитан... это Гаевой... докладывает. Так что... подследственный бежал!

— Бежал?! Как бежал? Доложите подробно!

— Так что... везли мы его в «газике», Тимофеев за рулем, а я рядом с этим... — бубнил в трубку милиционер. — Как обычно задержанных возим. Вы ведь, товарищ капитан, не предупредили насчет строгого надзора, ну, я и думал: куда он денется, раз документы у вас? Ну, когда проезжали мимо горпарка, он на полной скорости выпрыгнул, через ограду — и ходу! Ну, мы с Тимофеевым за ним. Только он здорово по пересеченной местности бегает... Ну, а стрельбу я открывать не стал, поскольку не было ваших указаний. Так что... все.

— Понятно. Явитесь в горотдел, напишите рапорт на имя дежурного. Плохо работаете, Гаевой!

— Так что... может, какие меры принять, товарищ капитан? — уныло спросили в трубке.

— Без вас примем. Быстрее возвращайтесь сюда, будете участвовать в розыске. Все! — Онисимов бросил трубку.

«Ну, артист, просто артист! А я еще сомневался... Он, конечно, он! Так. Документов у него нет, денег тоже. Одежды на нем всего ничего: брюки да рубашка. Далеко не уйдет. Но если у него есть сообщники, тогда хуже...»

Через десять минут появился еще более согнувшийся от сознания вины Гаевой. Онисимов собрал опергруппу розыска, передал фотографии, рассказал словесный портрет и приметы. Оперативники ушли в город.

Затем Матвею Аполлоновичу позвонил дактилоскопист. Он сообщил, что отпечатки пальцев, собранные в лаборатории, частично идентифицируются с контрольными отисками лаборанта; прочие принадлежат другому человеку. Ни те, ни другие отпечатки несхожи с имеющимися в каталоге рецидивистов.

«Другой человек — потерпевший, понятно... Ого, дело закручивается серьезное, на обычную уголовщину не похоже! Да ни на что оно не похоже из-за этого растреклятого скелета! Что с ним делать?»

Онисимов в тоске посмотрел в окно. Тени деревьев на асфальте удлинились, но жара не спадала. Около троллейбусной остановки толпились девушки в цветных сарафанчиках и темных очках. «На пляж едут...»

Самое досадное, что у Онисимова до сих пор не было рабочей версии происшествия.

В конце дня, когда Матвей Аполлонович выписывал повестки на завтра, к нему вошел начальник горотдела. «Ну, вот...» Онисимов поднялся, чувствуя угнетенность.

— Садитесь, — полковник грузно опустился на стул. — Что у вас за осложнения в деле: трупа нет, подследственный бежал, а? Расскажите.

Онисимов рассказал.

— Гм... — начальник свел на переносице толстые седые брови. — Ну, этого молодца, конечно, возьмем. Аэропорт, железная дорога и автовокзалы под наблюдением?

— Конечно, Алексей Игнатьевич, предупредил сразу.

— Значит, никуда он из города не денется. А вот с

трупом... действительно занято. Черт те что! А не напутали ли вы там на месте что-нибудь? — Он взглянул на следователя умными маленькими глазками. — Может... помните, как у Горького в «Климе Самгине» один говорит: «Может, мальчика-то и не было?» А?

— Но... врач «Скорой помощи» констатировала смерть, Алексей Игнатьевич.

— И врачи ошибаются. К тому же врач не эксперт, причину смерти она не определила. И трупа нет. А по скелету наш Зубато затрудняется... Конечно, смотрите сами, я не навязываю, но если вы не объясните, как труп в течение четверти часа превратился в скелет, да еще чей это труп, да еще от чего наступила смерть — никакой суд эту улику не примет во внимание. И более явные случаи суды сейчас возвращают на доследование, а то и вовсе прекращают за отсутствием улик. Оно, конечно, хорошо, что закон действует строго и осторожно, да только... — он шумно вздохнул. — Трудное дело, а? Версия у вас имеется?

— Есть наметка, — застеснялся Онисимов, — только не знаю, как вам, Алексей Игнатьевич, покажется. По-моему, это не уголовное дело. По свидетельству учченого секретаря института, в Соединенных Штатах очень интересуются проблемой, которую разрабатывал Кривошенин, это первое. «Лаборант Кравец» по своему поведению и по культурному, что ли, уровню не похож ни на студента, ни на уголовника. И убежал он мастерски, это второе. К тому же отпечатки его пальцев не идентифицируются с рецидивистами — третье. Так, может?.. — Матвей Аполлонович замолчал, вопросительно поглядел на шефа.

— ...спихнуть это дело в КГБ? — с прямотой солдата закончил тот его мысль и покачал головой. — Ой, не торопитесь! Если мы, милиция, раскроем преступление с иностранным, так сказать, акцентом, то от этого ни обществу, ни нам никакого вреда не будет, кроме пользы. А вот если органы раскроют за нас обычную уголовницу или нарушение техники безопасности, то... сами понимаете. И без того мы в последнем полугодии по проценту раскрываемости сошли на последнее место в зоне, — он с добродушной укоризной взглянул на Онисимова. — Да вы не падайте духом! Недаром говорят, что самые запутанные преступления — самые простые. Может, все здесь затуманено тем, что дело случилось в научном за-

ведении: темы-проблемы, знания-звания, термины всякие... черт голову сломит. Не торопитесь выбирать версию, проверьте все варианты, может, и окажется как у Крылова: «А ларчик просто открывался»... Ну, желаю вам успеха, — начальник встал, протянул руку, — уверен, что вы справитесь с этим делом!

Матвей Аполлонович тоже поднялся, пожал протянутую руку, проводил полковника просветленным взглядом. Нет, что ни говори, но когда начальство в тебе уверено — это много значит!

Глава третья

Люди, которые считают, что жизнь человеческая с древних времен меняется только внешне, а не по существу, уподобляют костер, возле которого коротали вечера троглодиты, телевизору, развлекающему наших современников. Это уподобление спорно, ибо костер и светит и греет, телевизор же только светит, да и то лишь с одной стороны.

К. Прутков-инженер, мысль № 111

Пассажирку в вагоне скорого поезда Новосибирск — Днепровск, пухлую голубоглазую блондинку средних лет, волновал парень с верхней полки. У него были грубые, но правильные черты обветренного лица, вьющиеся темные волосы с густой проседью, сильные загорелые руки с толстыми пальцами и следами мозолей на ладонях — и в то же время мягкая улыбка, обходительность (добровольно уступил нижнюю полку, когда она села в Харькове), интеллигентная речь. Парень лежал, положив квадратный подбородок на руки, жадно смотрел на мелькание деревьев, домиков, речушек, путевых знаков и улыбался. «Интересный!»

— Небось родные места? — спросила спутница.

— Да.

— И давно не были?

— Год.

Он узнавал: вот нырнуло под насыпь шоссе, по которому он гонял на мотоцикле с Лепой... вот дубовая роща, куда днепровцы выезжают на выходной... вот Старое русло, место уединенных пляжей, чистого песка и спокойной воды... вот хутор Вытребеньки — ого, какое

строительство! Наверно, химзавод... Улыбался и хмурился воспоминаниям.

...Собственно, никуда он на мотоцикле не ездил с Леной, ни в роще той не был, ни на пляжах — все это делалось без него. Просто состоялся однажды разговор, в котором он, если быть точным, также личного участия не принимал.

— Даю применение: варианты человеческой жизни! Вот смотри: «Во Владивостоке судоремонтный завод приглашает инженера-электрика для монтажных работ на местах. Квартира предоставляется». Али я не инженер-электрик? Монтажные работы на местах — что может быть лучше! Тихоокеанская волна захлестывает арматуру! Ты травишь кабель, слизываешь соленые брызги с губ — словом, преодолеваешь стихии!

— Да, но...

— Нет, я понимаю: раньше было нельзя. Раньше! Ведь мы с тобой люди долга: как это — бросить работу и уехать для удовлетворения бродяжных наклонностей? Все мы так остаемся — и с нами остается тоска по местам, где не был и никогда не будешь, по людям, которых не встретишь, по делам и событиям, в которых не придется участвовать. Мы глушим эту тоску книгами, кино, мечтами — ведь невозможно человеку жить несколько жизней параллельно! А теперь...

— А теперь то же самое. Ты уедешь во Владивосток слизывать брызги, а я останусь со своей неудовлетворенностью.

— Но... мы можем меняться. Раз в полгода, никто не заметит... впрочем, вздор: мы будем различаться на полгода жизненного опыта...

— То-то и оно! Направившись по одному жизненному пути, человек становится иным, чем был бы, пойди он по другому.

...Все-таки он подался именно во Владивосток. Не глушить неудовлетворенность уехал — бежал от ужаса воспоминаний. Он бы и дальше бежал, но дальше был океан. Правда, вакансия на монтажных работах в портах оказалась занятой, но в конце концов рвать подводные скалы, расчищать места для стоянок кораблей — тоже работа неплохая. Романтики хватало: погружался с аквалангом в сине-зеленую глубину, видел свою колеблющуюся тень на обкатанных прибоем камнях дна, долбил в скалах скважины, закладывал динамитные патроны, поджигал

шнур — и, распутывая рыб, которые через минуту всплывают вверх брюхом, упывал сломя голову к дежурной лодке... А потом, заскучав по инженерной работе, он внедрил там электрогидравлический удар — и безопасней динамика и производительней. Все память о себе оставил.

— А издалека едете? — снова нарушила его воспоминания дама.

— С Дальнего Востока.

— По вербовке ездили или так?

Парень скосил вниз серые глаза, усмехнулся коротко:

— На лечение...

Спутница покивала с опасливым сочувствием. У нее пропала охота разговаривать. Она достала из сумки книгу и отчужденно углубилась в нее.

...Да, там началось исцеление. Ребята из бригады удивлялись его бесстрашию. Ему в самом деле не было страшно: сила, ловкость, точный расчет — и никакая глубинная волна не достанет. Там он держал свою жизнь в собственных руках — чего же бояться? Самое страшное он пережил здесь, в Днепровске, когда Кривошеин властвовал над его жизнью и смертью. Даже над многими смертями. Кривошеин, видите ли, не понимал: то, что он проделывал над ним, хуже чем пытать связанныго!

У парня помимо воли напряглось тело. Озноб злости стянул кожу. Многое выветрили из него за год океанские муссоны: пришибленность, панический страх, даже нежные чувства к Лене. А это осталось.

«Может, не стоило возвращаться? Океан, рядом с которым чувствуешь себя маленьким и простым, хорошие хлопцы, трудная и интересная работа. Все уважали. Там я стал самим собой. А здесь... кто знает, как у него повернулись дела?»

...Но он не мог не вернуться, как не мог забыть прошлое. Сначала — в перекур, после работы ли, в выходные дни, когда всей бригадой ездили на катере во Владик — неотступно зудила мысль: «А Кривошеин работает. Он один там...» Потом пришла идея.

Как-то расчищали дно в безымянном заливчике в Хабаровском крае, там из сбросового побережья били теплые минеральные ключи. Прыгнув с лодки, он попал в такую струю и едва не закричал от дикой памяти тела! Вкус воды был как вкус той жидкости, неощущимая теплая ласковость, казалось, таила в себе ту давнюю опасность растворить, уничтожить, погасить сознание. Он

рванулся вперед — холодная океанская волна отрезвила и успокоила его. Но впечатление не забылось. К вечеру оно превратилось в мысль, да в какую: можно поставить обратный опыт!

И, исцеляясь от прежних воспоминаний, он «заболел» этой идеей. Ожило воображение исследователя. Ах, как это было упоительно: обдумывать опыт, загадывать, какие огромные результаты он может принести!.. Работа подрывника казалась ему теперь серым прозябанием. Уже без боязни, детально и целенаправленно он продумывал все, что с ним было, проигрывал в уме варианты опыта... И он не мог оставаться там с этой идеей: ведь Кривошеин и по сей день, вероятно, не пришел к ней. К такой идее невозможно прийти умозрительно — надо пережить все, как он пережил.

Но — по неумолимой логике их работы — другая мысль пришла вслед за идеей опыта: ну ладно, они найдут новый способ обработки человека информацией. Что же он даст? Эта мысль оказалась труднее первой; за дорогу от Владивостока до Днепровска он не раз возвращался к ней, но до сих пор не додумал до конца.

Перед вагонным окном, отражая грохот колес, замелькали балки моста: поезд пересекал Днепр. Парень на минуту отвлекся, полюбовался теплоходом на воздушной подушке, летевшим над голубой водой вниз по течению, и зеленым склоном правого берега. Мост кончился, снова замелькали домики, сады, кустарник вдоль насыпи.

«Все сводится к задаче: как и какой информацией можно усовершенствовать человека? Остальные проблемы упираются в эту... Даны система: мозг человека и устройство ввода — глаза, уши, нос и прочее. Три потока информации питают мозг: от повседневной жизни, от науки и от искусств. Требуется выделить самую эффективную по своему действию на человека — и направленную. Чтоб совершенствовала, облагораживала. Самая эффективная, конечно, повседневная информация: она конкретна и реальна, формирует жизненный опыт человека. Это сама жизнь, о чем говорить. Существенно, пожалуй, то, что она взаимодействует с человеком по законам обратной связи: жизнь влияет на человека, но и он своими поступками влияет на жизнь. Но действие повседневной информации на людей бывает самое различное: она изменяет человека и в лучшую сторону и в худшую. Стalo быть, это не то...»

Рассмотрим научную информацию. Она тоже реальна, объективна — но абстрактна. По сути, это обобщенный опыт деятельности людей. Поэтому она может быть применена во множестве жизненных ситуаций, и поэтому же действие ее на жизнь огромно. Причем здесь тоже есть обратная связь с жизнью, хотя и не индивидуальная для каждого человека, а общая: наука разрешает проблемы жизни и тем изменяет ее — а измененная жизнь ставит перед наукой новые проблемы. Но опять-таки воздействие науки на жизнь вообще и на человека в частности может быть и положительным и отрицательным. Примеров тому много. И еще один изъян: она трудно усваивается человеком. Н-да, тяжело... Ничего, если все время думать над одним и тем же, рано или поздно дойдешь. Главное думать по системе...»

Его отвлекло послышавшееся внизу всхлипывание. Он посмотрел: спутница, не отрывая взгляда от книжки, утирала покрасневшие глаза платочком.

— Что вы читаете?

Она сердито взглянула вверх, показала обложку: «Три товарища» Ремарка.

— А ну их совсем... — и снова углубилась в чтение.

«Да... Умирает туберкулезная девушка — любящая и утонченная. А моей сытенькой и здоровой соседке жаль ее, как саму себя... Словом, нечего вертеть вола: видимо, информация Искусства — именно то и есть! Во всяком случае, по своей направленности она обращена к лучшему, что есть в человеке. В Искусстве за тысячелетия отобрана самая высококачественная информация о людях: мысли, описания тонких движений души, сильных и высоких чувств, ярких характеров, прекрасных и умных поступков... Все это испокон веков работает на то, чтобы развить в людях понимание друг друга и жизни, исправить нравы, будить мысли и чувства, искоренять животную низость душ. И эта информация доходит — выражаясь точно, она великолепно закодирована, как нельзя лучше приспособлена для переработки в вычислительной машине марки «Человек». В этом смысле и повседневная и научная информации в подметки не годятся информации Искусства».

Поезд, проезжая днепровские пригороды, замедлил ход. Спутница отложила книжку, завозилась — вытаскивала чемоданы из-под сидений. Парень все лежал и думал.

«Да, но вот как насчет эффективности? Тысячелетиями

люди старались... Правда, примерно до середины прошлого века Искусство было доступно немногим. Но потом за это дело взялась техника: массовое книгопечатание, литографии, выставки, грамзаписи, кино, радио, телевидение — информация Искусства стала доступна всем. Для современного человека объем информации, которую он получает из книг, фильмов, радиопередач, иллюстрированных журналов и телевидения, соизмерим с информацией от жизни и намного больше объема научной информации. И что же? Гм... действие искусства не измеряется приборами и не проверяется экспериментами. Остается сравнить, скажем, действие науки и действие искусства за последние полвека. Господи, да никакого сравнения и быть не может!»

Поезд подкатил к перрону, к толпе встречающих, посыльщикам и мороженщиков. Парень спрыгнул с полки, сдернул сверху рюкзак, взял на руку синий плащ. Спутница хлопотала над тремя солидными чемоданами.

— Ого, сколько у вас багажа! Давайте помогу, — парень взялся за самый большой.

— Нет уж, спасибо! — Дама быстро села на один чемодан, перекинула полную ногу на второй, обеими руками вцепилась в третий, запричитала: — Нет, спасибо! Нет уж, спасибо, нет уж, спасибо!

Она подняла вверх лицо, в котором не осталось никакой миловидности. Щеки были не пухлые, а одутловатые, глаза — не голубые, водянистые — смотрели затравленно и враждебно. Бровей и вовсе не стало: две потные полоски ретуши. Чувствовалось: одно движение парня — и женщина завонит.

— Простите! — Тот отдернул руку, вышел. Ему стало противно.

«Вот пожалуйста: иллюстрация сравнительного действия повседневной информации и информации Искусства! — размышлял он, сердито шагая через привокзальную площадь. — Мало ли кто мог приехать из мест, не столь отдаленных: снабженец, партработник, спортсмен, рыбак... нет, подумала худшее, заподозрила в гнусных намерениях! Принцип бытейской надежности: лучше не поверить, чем ошибиться. Но не ошибаемся ли мы по этому принципу гораздо круче?»

В поезде он думал от чего делать. Сейчас он размышлял, чтобы успокоиться, и все о том же.

«Конечно, рассказать о каждом человеке в книге или

на экране — его поймут, в него поверят, простят плохое, полюбят за хорошее. А в жизни все сложнее и обыденнее... Что пенять на дамочку — я сам не лучше. Когда-то в глупом возрасте я не верил своему отцу. Любил его, но не верил. Не верил, что он участвовал в революциях, в гражданской войне, был ротным у Чапаева, встречался с Лениным... Все началось с фильма «Чапаев»: в нем не было отца! Был достоверный Чапаев и другие герои — они сильными голосами произносили яркие отрывистые фразы... а батя не было! Да и вообще батя — какой он чапаевец? Не ладил с мамкой. Говорил дребезжащим от вставных челюстей голосом, на ночь клал их в стакан. Неправильно (не как в кино) выговаривал слова, мудреные перевидал. Опять же посадили в 1937 году... И когда он рассказывал соседкам во дворе, как за большевистскую агитацию на фронте во времена Керенского стоял два часа с полной выкладкой на бруствере окопа, как привозил в Смольный Ленину серебряные «георгии» от солдат-фронтовиков в фонд революции, как, приговоренный казаками к казни, сидел в сарае... а дворовые бабы охали, обмирали, всплескивали ладонями: «Карыч-то наш герой — ах, ах!» — я посмеивался и не верил. Я точно знал, какие бывают герои — по кино, по радиопередачам...»

Приезжий поморщился от этих воспоминаний.

«Э, в конечном счете это было не со мной! Впрочем, главное: это было... Да, но похоже, что в великом способе передачи информации — Искусстве — есть какой-то изъян. Посмотрят люди фильм или спектакль, прочитают книгу, молвят: «Нравится...» — и идут дальше жить, как жили: одни неплохо, другие так себе, а третьи и вовсе паршиво. Искусствоведы часто находят изъян в потребителях информации: публика, мол, дура, читатель не дорос... Приять такую точку зрения, значит согласиться, что я сам дурак, что я не дорос... нет, не согласен! Да и вообще валить на тупость и невежество людей — это не конструктивный подход. Люди — они все-таки могут и понять и познать. В большинстве своем они не тупицы и не невежды. Так что лучше все-таки поискать изъян в способе — тем более что мне этот способ нужен для экспериментальной работы...»

На глаза приезжему попалась будка телефона. Он сначала затуманенно посмотрел на нее: что-то он должен сделать в этом предмете? Вспомнил. Вздохнул глубоко, вошел в автомат, набрал номер лаборатории новых си-

стем. В ожидании ответа у него заколотилось сердце, пересохло во рту. «Волнуюсь. Плохо...» В трубке звучали лишь долгие гудки. Тогда, поколебавшись, он позвонил вечернему дежурному по Институту системологии:

— Вы не поможете мне разыскать Кривошеина? Он не в отпуске?

— Кривошеин? Он... нет, он не в отпуске. А кто спрашивает?

— Если он сегодня появится в институте, передайте ему, пожалуйста, что приехал... Адам.

— Адам? А как фамилия?

— Он знает. Так не забудьте, пожалуйста.

— Хорошо. Не забуду.

Приезжий вышел из будки с облегчением: только сейчас он понял, что совершенно не готов к встрече. «Ну, делать нечего, раз приехал... Может быть, он дома?»

Он сел в троллейбус. Окутанные синими сумерками улицы города не занимали его: он уехал летом и вернулся летом, все в зелени, и вроде ничего не изменилось.

«Ну, так все-таки, как применить информацию Искусства в нашей работе? И можно ли применить? Вся беда в том, что эта информация не становится ни жизненным опытом человека, ни точными знаниями, а именно на опыте и знаниях строят люди свои поступки. По большому счету должно быть так: прочел человек книгу — стал понимать себя и знакомых, поглядел подлец спектакль — ужаснулся и стал честным человеком, сходил трусишка в кино — вышел храбрецом. И чтобы на всю жизнь, а не на пять минут. Наверно, именно о таком действии своей информации мечтают писатели и художники. Почему же не выходит? Давай прикинем.. Информация Искусства строится по образцу повседневной. Она конкретна, содержит лишь неявные и нестрогие обобщения, но не реальна, а только правдоподобна. Пожалуй, в этом ее слабость. Она не может быть применена как научная: чтобы человек мог на ее основе проектировать и планировать свою жизнь, для этого она недостаточно обща и объективна. Нельзя ею и руководствоваться как повседневной — и именно из-за ее конкретности, которая никогда не совпадает с конкретной жизнью данного читателя.

Да если бы и совпадала, кто же захочет жить под копирку? Скопировать прическу — еще куда ни шло, но скопировать рекомендуемую массовым тиражом жизнь...

Видимо, идея «воспитывать на литературных образцах» рождена мыслью, что человек произошел от обезьяны и ему свойственна подражательность. Но человек — уже давно человек, миллион лет. Ныне ему свойственны самоутверждение и оригинальность поведения, он знает, что так вернее».

— Академгородок! — прохрипел в динамике голос водителя.

Приезжий вышел — и сразу увидел, что ехал напрасно. Два ряда стандартных пятиэтажных домов, сходясь в перспективе, смотрели друг на друга светящимися окнами. Но в доме № 33 в окнах угловой квартиры на пятом этаже света не было.

Чувство облегчения, что неприятная встреча с Кривошеиным снова оттягивается, смешалось у парня с досадой: почевать-то негде! Обратным троллейбусом он вернулся в центр, стал обходить гостиницы — мест, конечно, нигде не было.

И снова его захватили мысли — они теперь скращивали унылые поиски почлега.

«...И чем далее мы живем, тем больше убеждаемся в многообразии жизненных ситуаций, к которым неприменимы те решения, что описаны в книгах или показаны в кино. И начинаем воспринимать информацию Искусства как квазижизнь, в которой все не так. В ней можно безопасно пережить рискованное приключение — даже со смертельным исходом, проявить принципиальность, не нажив неприятностей по службе... словом, чувствовать себя, хоть и ненадолго, иным: более умным, красивым, смелым, чем ты есть на самом деле. Неспроста люди, которые живут однообразной порядочной жизнью, обожают авантюрные романы и детективы...»

Он вышел на сияющий огнями фонарей и реклам проспект Маркса.

«И применяем мы эту великую информацию по пустякам: для развлечения, для провождения времени. Или чтоб девушку очаровать подходящим стишком... Эта информация не своя. Не сам дошел до решений и истин. Сиди, смотри или читай, как за прозрачной стенкой идет выдуманная жизнь, — ты лишь «приемник информации»! Правда, бывали случаи, когда «приемники» не выдерживали и пытались влиять: то — батя как-то рассказывал — красноармеец в Самаре однажды «вдарил из винта» в артиста выступавшего в роли Колчака во фрон-

товой пьеске, а еще ранее в Нижнем Новгороде публика избила исполнителя роли Яго — за правдивость игры... Сама идея разбить прозрачную стенку, влиять — здоровая... В ней что-то есть...»

Мысль, еще не оформившаяся в слова, смутная, как предчувствие, зрела в голове приезжего. Но в этот момент его мягко тронули за плечо. Он оглянулся: рядом стояли трое в штатском. Один из них небрежно провел перед его лицом красной книжечкой:

— Предъявите документы, гражданин.

Приезжий недоуменно пожал плечами, поставил на асфальт рюкзак, достал из кармана паспорт. Оперативник прочел первую страницу, перевел глаза с фотографии на его лицо, потом снова на фотографию — и возвратил паспорт.

— Все в порядке. Прошу извинить.

«Уфф!» Парень подхватил рюкзак и, стараясь не ускорять шага, двинулся к гостинице «Театральная». Настроение у него испортилось. «Может быть, не стоило мне приезжать?»

Трое отошли к табачному киоску. Там их ждал также одетый в штатское милиционер Гаевой.

— Ну, я же говорил, — победно сказал он.

— Не тот... — вздохнул оперативник. — Какой-то Кривошеин Валентин Васильевич. А по фотографии и словесному портрету — точно Кравец.

Словесный портрет, словесный портрет... что словесный портрет?! — рассердился Гаевой. — Я ж его видел, сопровождал: тот без седин, моложе лет на десять, да и пощущнее будет.

— Пошли на вокзал, ребята, — предложил второй оперативник. — Что он, в самом деле, дурной: по проспекту гулять!

Виктор Кравец в это время действительно пробирался по темной пустынной улочке.

...Выбросившись тогда на ходу из милицейской машины, он через городской парк выбрался на склоны Днепра, лежал в кустах, ждал темноты. Хотелось курить и есть. Низкое солнце золотило утыканый пестрыми грибками песок Пляжного острова; там копошились купающиеся. Маленький буксир, распустив от берега до берега водяные усы, торопился вверх, к грузовому порту, за но-

вой баржей. Внизу под обрывом шумели на набережной машины и трамваи.

«Доработались... Все мы продумали: методику опытов, варианты применения способа, даже влияние его на положение в мире — только такой вариант не предусматривали. Так слепнуться с большой высоты мордой в грязь: из исследователей в преступники! Боже мой, ну что это за работа такая: один неудачный опыт — и все летит в тартарары. И я не готов к этой игре со следователями и экспертами, настолько не готов, что хоть иди в библиотеку и штудируй уголовный кодекс — и что там еще есть? — процессуальный кодекс, что ли! Я не знаю правил игры и могу ее проиграть... собственно, я ее уже почти проиграл. Библиотека... какая теперь может быть библиотека!»

Градирни электростанции на той стороне Днепра исходили толстыми клубами пара — казалось, что они вырабатывают облака. Солнце нижним краем касалось их.

«Что же теперь делать? Вернуться в милицию, рассказать все «чистосердечно» и самым унизительным образом выдать то, что мы берегли от дурного глаза? Выдать не ради спасения работы — себя. Потому что работу этим не спасешь: через два-три дня в лаборатории все начнет гнить — и ничего не докажешь, никто не поверит, и не узнает, что там было... Да и себя я этим не спасу: Кривошеин — погиб. Он, как говорится, на мне... Пойти к Азарову, все объяснить? Ничего ему сейчас не объяснишь. Я теперь для него даже не студент-практикант — темная личность с фальшивыми документами. Его, конечно, известили о моем побеге, теперь он, как лояльный администратор, должен содействовать милиции... Вот она, проблема людей, в полный рост. Все наши беды от нее. Даже точнее — от того, что никак не хотели смириться с тем, что не можем решить ее лабораторным способом. Ну еще бы: мы! Мы, которые достигли таких результатов! Мы, у которых в руках неслыханные возможности синтеза информации! Куда к черту... А эта проблема нам не по зубам, пора признаться. А без нее какой смысл имеет остальное?»

Солнце садилось. Кравец поднялся, смахнул траву с брюк, пошел вверх по тропинке, не зная куда и зачем. В брюках позванивала мелочь. Он посчитал: на пачку сигарет и сверхлегкий ужин. «А дальше?» Две студентки, устроившись на скамье в кустах готовиться к экзаменам, с интересом поглядели на красивого парня, помотали го-

ловами, отгоняя греческие мысли, уткнулись в конспекты. «М-да... в общем-то не пропаду. Может, отправиться к Лени? Но она, наверно, тоже под наблюдением, застукают...»

Тропинка вывела на тихую, безлюдную улочку. Из-за заборов свешивались ветви, усеянные начавшими краснеть вишнями. В конце улицы пыпало подсвеченное снизу русло облака.

Быстро темнело. Вечерняя прохлада пробиралась под рубашку, падетую на голое тело. На противоположной стороне улицы в квартале от Виктора вышли из полумрака два человека в фуражках. «Милиция!» Кравец метнулся в переулок. Пробежав квартал, остановился, чтобы успокоить сердце.

«Дожил! Двадцать лет не бегал ни от кого, как мальчишка из чужого сада... — От беспомощности и унижения курить хотелось просто нестерпимо. — Игра проиграна! Надо признать это прямо — и выходить. Уносить ноги. В конце концов каждый из нас в определенной ситуации испытал стремление уйти, свернуть в сторону. Теперь моя очередь, какого черта! Что я еще могу?»

Переулок выводил в сияние голубых огней. При виде их Виктор почувствовал приступ зверского аппетита: он не ел почти сутки. «Хм... там еще можно где-то поесть. Пойду! Бряд ли меня станут искать на проспекте Маркса».

...Бетонные столбы выгнули над асфальтом змеиные головки газосветных фонарей. За витринами магазинов стояли в непринужденных позах элегантные манекены, лоснились радиоприемники, телевизоры, кастрюли, целились в прохожих серебряные дула бутылок «Советского шампанского», хитроумными винтообразными горками высались консервы. Под пляшущей световой рекламой «Вот что можно выиграть за 30 копеек!» красовались ходильник «Днепр», магнитофон «Днепр-12», швейная машина «Днепр» и автомобиль «Славутич-409». Даже подстриженные под бокс липы вдоль широких тротуаров казались промышленными изделиями.

Виктор вышел в самую толчею, на трехквартальный «брод» от ресторана «Динамо» до кинотеатра «Днепр». Гуляющих было полно. Вышагивали ломкой походкой растрепанные под богемствующих художников мальчики со стеклянными глазками. Чинно прохаживались пожилые пары. Обнимая подруг, брали в сторону городского парка

франтоватые юноши. Увертисто и деловито шныряли в толпе парни с челками над быстрыми глазами — из тех, что «по фени ботают, нигде не работают». Девушки осторожно несли разнообразные прически. Здесь были прически «тифозные», прически «после бабьей драки», прически «пусть меня полюбят за характер» и прочие шедевры парикмахерского искусства. Маялись одинокие молодые люди, раздираемые желаниями и застенчивостью.

Кравец сначала шел с опаской, но постепенно его стала разбирать злость.

«Ходят, ходят: себя показать, людей посмотреть... Для них будто остановилось время, ничего не происходит. Ходили еще по Губернаторской — прогибали дощатые настилы, осматривали фаэтоны лихачей, друг друга. Ходили после войны — от развалины кинотеатра «Днепр» до развалины ресторана «Динамо» под болтающимися на деревянных столбах лампочками, лузгали семечки. Проспект залили асфальтом, одели в многоэтажные дома из бетона, алюминия и стекла, иллюминировали, посадили деревья и цветы — ходят как ни в чем не бывало: живут ириски, слушают на ходу транзисторы, судачат — утверждают неистребимость обывательского духа! Себя показывать — людей посмотреть, людей посмотреть — себя показывать. Прошвырнуться, зайти в кафе-автомат, слопать пирожок под газировку, прошвырнуться, свернуть в благоустроенный туалет за почтамтом, совершив отправление, прошвырнуться, подколоться, познакомиться, прошвырнуться... Насекомая жизнь!»

Он обошел толпу, собравшуюся на углу проспекта с улицей Энгельса, возле новинки-автомата для продажи лотерейных билетов. Автомат, сработанный под кибернетическую машину, наигрывал музыку, радиоголосом выкрикивал лотерейные призы и за два пятиалтынных, бешено провертев колесо из никеля и стекла, выдавал «счастливый» билет. Кравец скрипнул зубами.

«А мы, самонадеянные идиоты, замыслили преобразовать людей одной лабораторной техникой! А как быть с этими, обывательствующими? Что изменилось для них от того, что вместо извозчиков появились такси, вместо гармошек — магнитофоны на полупроводниках, вместо разговоров «из рта в ухо» — телефоны, вместо новых галош, надеваемых в сухую погоду, — синтетические плащи? Сиживали за самоварами — теперь коротают вечера у телевизоров...»

Толпа выплескивала обрывки фраз:

- Между нами говоря, я вам скажу откровенно: мужчина это мужчина, а женщина это женщина!
- ...Он говорит: «Валя?» А я: «Нет!» Он: «Люся?» А я: «Нет!» Он: «Соня?» А я: «Нет!»
- Абрам уехал в командировку, а жена...
- Научитесь удовлетворяться текущим моментом, девушки!

«А что изменится в результате прогресса науки и техники? Ну, будут витрины магазинов ломиться от полимерных чернобурок, от атомных наручных часов с вечным заводом, полупроводниковых холодильников и радиоклипов... Самодвижущиеся ленты тротуаров из люминесцентного пластика будут переносить гуляющих от объемной синерамы «Днепр» до ресторана-автомата «Динамо» — не придется даже пожками перебирать... Будут прогуливаться с микроэлектронными радиотелепередатчиками, чтобы, не поворачивая к собеседнице головы и не напрягая гортани, вести все те же куриные разговоры:

- Между нами говоря, я вам скажу откровенно: робот это робот, а антресоль это антресоль!
- Абрам отправился в антимир, а жена...
- Научитесь удовлетворяться текущей микросекундой!

А на углу сработанный под межпланетный корабль автомат будет торговать открытиями «Привет с Венеры»: вид венерианского космопорта в обрамлении целующихся голубков... И что?»

Мимо Кравца прошествовал Гарри Харитонович Хилобок. На руке его висела кисшая от смеха девушка — доцент ее занимал и не заметил, как беглый студент метнулся в тень лиц. «У Гарри опять новая!», — усмехнулся вслед ему Кравец. Он купил в киоске сигареты, закурил и двинулся дальше. Сейчас его одолевала такая злоба, что расхотелось есть; попадись он в объятия оперативников — злоба разрядилась бы великолепной дракой.

В гостинице «Театральная» свободных мест тоже не оказалось. Приезжий шел по проспекту в сторону Дома колхозника и хмуро разглядывал флансирующую публику.

«Ходят, ходят... Во всех городах всех стран есть ули-

цы, где вечерами гуляют — от и до — толпы, коллективы одиночек. Себя показать — людей посмотреть, людей посмотреть — себя показать. Ходят, ходят — и планета шарахается под их ногами! Какой-то коллективный инстинкт, что ли, тянет их сюда, как горбуш в места нерестилищ? А другие сидят у телевизоров, забивают «козла» во дворах, строят «пулю» в прокуренной комнате, отирают стены танцеванд... Сколько их, отставших, приговоривших себя к прозябанью? «Умеем что-то делать, зарабатываем прилично, все у нас есть, живем не хуже других — и оставьте нас в покое!» Одиночки, боящиеся остаться наедине с собой, растревавшиеся от сложности жизни и больше не задумывающиеся надней... Такие помнят одно спасительное правило: для благополучия в жизни надо быть как все. Вот и ходят, смотрят: как все? Ожидают откровения...»

Оттесненная сияющим великолепием проспекта, брела за прозрачными облаками луна. До нее никому не было дела.

«А мальчишками и они мечтали жить ярко, интересно, значительно, узнать мир... Нет человека, который не мечтал бы об этом. И сейчас, пожалуй, мечтают сладостно и бессильно. В чем же дело? Нехватило духа применить мечту к жизни? Да и зачем? Зачем давать волю своим мечтам и сильным чувствам — еще неизвестно, куда это заведет! — когда есть покупные, когда можно безопасно кутить на чужом пиру выдуманных героев? И прокутились вдрызг, растратили по мелочам душевые силы, осталось в самый обрез для прогулки по проспекту...»

Мимо проследовал доцент Хилобок с девушкой. «А у Гарри опять новая!» — мысленно приветствовал его приезжий.

Он посмотрел ему вслед: догнать и спросить о Криковщине? «Э, нет: от Хилобока во всех случаях лучше держаться подальше!»

Приезжий и Кравец вступили на один квартал.

8. «...Когда-то человекообразные обезьяны разделились: одни взяли в лапы камни и палки, начали трудиться, мыслить, другие остались качаться на ветках. Сейчас на Земле начался новый переходный процесс, стремительней и мощнее древнего оледенения: скачок мира в

новое качественное состояние. Но что им до этого? Они заранее согласны оставаться на «бродах», у телевизоров — удовлетворять техникой цехитрые запросы! — неистовствовал в мыслях Виктор Кравец. — Что им все новые возможности — от науки, от техники, от производства? Что им наша работа? Можно прибавить ума, ловкости, работоспособности — и что? Будут выучиваться чему-то не для мастерства и удовлетворения любопытства, а чтобы больше получать за знания, за легкую работу, чтобы возвыситься над другими своей осведомленностью. Будут приобретать и накоплять — чтобы заметили их преуспевание, чтобы заполнить опустошенность хлопотами о вещах. И на черный день. Его может и не быть, а пока из-за него все дни серые... Скучно! Уеду-ка во Владивосток. Сам — пока не отправили казенным порядком... И работа заглохнет естественным образом. Ничем она им не поможет: ведь чтобы использовать такую возможность, надо иметь высокие цели, душевые силы, неудовлетворенность собой. А они бывают недовольны только окружающим; обстоятельствами, знакомыми, жизнью, правительством — чем угодно, но не собой. Ну и пусть гуляют. Как говорится, наука здесь бессильна...»

Сейчас их разделяло только здание главпочтамта.

Гневные мысли отхлынули. Осталась какая-то непонятная неловкость перед людьми, которые шли мимо Кравца.

«Кто-то сказал: никто так не презирает толпу, как возвысившийся над нею зауряд... Кто? — он наморщил лоб. — Постой, да ведь это я сам сказал о ком-то другом. Ну, разумеется, о ком-то другом, не о себе же... — Ему вдруг стало противно. — А ведь, топча их, я топчу и себя. Я от них недалеко ушел, еще недавно был такой же... Постой! Выходит, я просто хочу смыться? Дать тягу. И чтобы не так стыдно было, чтобы не утратить самоуважение, подвожу под это идеиную базу? Никого я не продал, все правильно, наука бессильна, так и должно быть... боже мой, до чего подла и угодлива мысль интеллигента! (Между прочим, это я тоже говорил или думал о ком-то другом. Все истины мы применяем к другим, так ловчее жить.) А я как раз и есть тот интеллигент. Все пустил в ход: презрение к толпе, теоретические рассуждения... М-да! — он покраснел, лицу стало

жарко. — Вот до чего может довести неудача. Ну ладно, но что же я могу сделать?»

Вдруг его ноги будто прилипли к асфальту: навстречу размашисто шагал парень с рюкзаком и плащом на руке. «Адам?!» Холод вошел в душу Кравца, сердце ухнуло вниз — будто не человек, а ожившее угрызение совести приближалось к нему. Глаза Адама были задумчивые и злые, уголки рта недобро опущены. «Сейчас увидит, узнает...» — Виктор отвел глаза, чтобы не выдать себя, но любопытство пересилило: взглянул в упор. Нет, теперь Адам не был похож на «раба» — шел человек увереный, сильный, решившийся... В памяти всплыло: распятаенная голова на фоне сумеречных обоев, расширенные в тяжелой ненависти глаза, пятикилограммовая чугунная гантель, занесенная над его лицом.

Приезжий прошел мимо. «Конечно, откуда ему узнать меня! — облегченно выдохнул Кравец. — Но зачем он вернулся? Что ему надо?»

Он следил за удалявшимся в толпе парнем. «Может, догнать, рассказать о случившемся? Все помошь... Нет. Кто знает, зачем его принесло! — Его снова охватило отчаяние. — Доработались, доэкспериментировались, черт! Друг от друга шарахаемся! Постой... ведь есть и другой вариант! Но поможет ли?» — Виктор закусил губу, напряженно раздумывая.

Адам затерялся среди гуляющих.

«Ну, хватит терзаний! — тряхнул головой Кравец. — Эта работа не только моя. И удирать нельзя — надо ее спасать...»

Он вытащил из карманчика мелочь, пересчитал ее, проглотил голодную слону и вошел в почтамт.

Денег хватило в обрез на короткую телеграмму: «Москва МГУ биофак Кривошеину. Вылетай немедленно. Валентин».

Отправив телеграмму, Виктор выпел на проспект и, дойдя до угла, свернул на улицу, которая вела к Институту системологии. Пройдя немногого по ней, он огляделся: не следит ли кто за ним? Улица была пуста, только со здания универмага на него смотрела освещенная розовыми аршинными литерами призыва «Храните деньги в сберегательной кассе!» прекрасная женщина со сберегательной книжкой в руке. Глаза ее обещали полюбить тех, кто хранит.

Над окошком администратора в Доме колхозника кра-совалось объявление:

«Место для человека — 60 кон.

Место для коня — 1 р. 20 к.»

Приезжий из Владивостока вздохнул и протянул в окошко паспорт.

— Мне, пожалуйста, за шестьдесят...

Глава четвертая

Невозможное — невозможно. Например, невозможно двигаться быстрее света... Впрочем, если это и было бы возможно — стоит ли стараться? Все равно никто не увидит и не оценит.

К. Прутков-инженер, мысль № 17

Утром следующего дня дежурный по городделу передал следователю Онисимову рапорт милиционера, который охранял опечатанную лабораторию. Сообщалось, что ночью — примерно между часом и двумя — неизвестный человек в светлой рубашке пытался проникнуть в лабораторию через окно. Оклик милиционера спугнул его, он соскочил с подоконника и скрылся в парке.

— Понятно! — Матвей Аполлонович удовлетворенно потер руки. — Вертитесь вокруг горячего...

Вчера он направил повестки гражданину Азарову и гражданке Коломиец. На появление у себя в комнате академику Азарова Матвей Аполлонович, понятное дело, и не рассчитывал — просто корешок повестки в случае чего пригодился бы ему как оправдательный документ. Елена же Ивановна Коломиец, инженер соседнего с Институтом системологии конструкторского бюро, пришла спокойно в десять часов.

Когда она вошла в кабинет, следователь понял смысл волнообразного жеста Хилобока: перед ним стояла красивая женщина. «Ишь какая ладная!» — отметил Онисимов. Любая подробность облика Елены Ивановны была обыкновенна — и темные волосы как волосы, и нос как нос (даже чуть вздернут), и овал лица, собственно, как овал, — а все вместе создавало то впечатление гармонии, когда надо не анализировать, а просто любоваться и дышаться великому чувству меры у природы.

Матвей Аполлонович вспомнил внешность покойного

Кривошеина и ощутил чисто мужское негодование. «И верно — не пара они, прав был Хилобок. Что она в нем такого нашла? Прочности, что ли, искала? Или мужа с хорошим заработком?» Как и большинство мужчин, чья внешность и возраст не оставляют надежд на лирические успехи, Онисимов был невысокого мнения о красивых женщинах.

— Садитесь, пожалуйста. Вам знакомы имена Кривошеина Валентина Васильевича...

— Да, — голос у нее был грудной, певучий.

— ...и Кравца Виктора Витальевича?

— Вити? Да, — Елена Ивановна улыбнулась, показав ровные зубы. — Только я не знала, что он Витальевич. А в чем дело?

— Что вы можете рассказать о взаимоотношениях Кривошеина и Кравца?

— Ну... они вместе работали... Виктор, кажется, приходится Вале... Кривошеину то есть, дальним родственником. Они, по-моему, очень дружили... А что случилось?

— Елена Ивановна, здесь спрашиваю я, — Онисимов смекнул, что, утратив душевное равновесие, она больше скажет, и не спешил прояснить ситуацию. — Это верно, что вы были близки с Кривошеиным?

— Да...

— По какой причине вы с ним расстались?

Глаза Елены Ивановны стали холодными, на щеках возник и исчез румянец.

— Это не имеет отношения к делу!

— А откуда вы знаете, что имеет и что не имеет отношения к делу? — встрепенулся Матвей Аполлонович.

— Потому что... потому что это не может иметь отношения ни к какому делу. Расстались — и все.

— Понятно... ладно, замнем пока этот вопрос. Скажите, где жил Кравец?

— В общежитии молодых специалистов в Академгородке, как и все практиканты.

— Почему не у Кривошеина?

— Не знаю. Видимо, так было удобнее обоим...

— Это несмотря на родство и дружбу? Понятно... А как Кравец относился к вам, оказывал знаки внимания? — Матвей Аполлонович пытался выжить из своей версии все возможное.

— Оказывал... — Елена Ивановна прикусила губу,

но все-таки не сдержалась. — Думаю, это делали бы и вы, если бы я вам разрешила.

— Ага, а ему, значит, разрешили? Скажите, Кривошein не ревновал вас к Кравецу?

— Возможно, ревновал... только я не понимаю, какое вам до этого дело? — Женщина взглянула на следователя с яростной неприязнью. — Какие-то намеки! Что случилось, можете вы мне объяснить?!

— Спокойно, гражданин!

«Может, объяснить ей, в чем дело? Стоит ли? Причастна ли она? Конечно, красивая, можно увлечься, но... не та среда для серьезныхексуальных преступлений — ученые. Статистические сведения не в их пользу. Ученый из-за женщины голову не потеряет... Но Кравец...»

Размышления Онисимова прервал телефонный звонок. Он поднял трубку.

— Онисимов слушает.

— Вышли на подследственного, товарищ капитан, — сообщил оперативник. — Хотите присутствовать?

— Конечно!

— Ждем вас у аэровокзала, машина 57-28 ДНА.

— Понятно! — следователь встал, весело поглядел на Коломиец. — Договорим с вами в другой раз, Елена Ивановна. Давайте я вам отмечу повестку, не расстраивайтесь, не обижайтесь, у всех первы — и у меня и у вас...

— Но что произошло?

— Разбираемся. Пока ничего сказать не могу. Всего доброго!

Онисимов проводил женщину, достал из ящика стола пистолет, запер комнату и почти бегом помчался во внутренний двор городдела к оперативной машине.

Белоснежный ИЛ подрулил к перрону аэровокзала точно в 13.00. К борту самолета подкатил голубой вздыбленный автотрап. Полный, невысокого роста мужчина в узких зеленых брюках и пестрой рубашке навыпуск первым сбежал вниз и, помахивая расписной туристской котомкой, зашагал по бетонным шестигранным плитам к ограде. Он живо вертел головой, выискивая кого-то в толпе встречающих, нашел — бросился навстречу.

— Ну, здоров! Что за спешка в отпускной период, что за «вылетай немедленно»?! Покажись-ка! О, да ты похорошел, даже постройнел, ей-ей! Что значит: год не видеть

человека — и лик твой мне кажется благообразным и даже на челюсть могу смотреть без раздражения...

— И ты, я гляжу, раздобрел там на аспиранских харцах, — встречающий окунул его критическим взглядом. — Соцнакоплениями обзавелся?

— Э, брат, это не просто накопления — это информационно-вещественный резерв. Я тебе потом расскажу, даже продемонстрирую. Это, Валек, полный переворот... Но сначала давай ты: зачем вызывал раньше срока? Нет, постой! — Пассажир самолета вытащил из кармана блокнот, а из него — несколько красных ассигнаций. — Получи должок.

— Какой должок? — встречающий отстранил деньги.

— Ради бога, только без этого! — пассажир протестующе поднял руку. — Видели, знаем, заранее умилены: этакий рассеянный ученый, который не снисходит до запоминания всякой там прозы... Не надо. Уж я твою натуру знаю: ты не забываешь долги даже величиной в полтинник. Держи деньги, не пижонь!

— Да нет, — мягко улыбнулся встречающий, — мне ты ничего не должен. Понимаешь... — Он запнулся под внимательным взглядом, который на него устремил пассажир.

— Что за черт! — озадаченно произнес тот. — Ты никак стал красить волосы, лжецатен? А рубец? Рубец над правой бровью — где он? — его голос вдруг сел до шепота. — Парень... да ты кто?!

Тем временем толпа прилетевших московским самолетом и встречавших рассосалась. Пять человек, которые никого не встретили и никуда не торопились, побросали сигареты и быстро окружили собеседников.

— Только тихо! — произнес Онисимов, вклиниваясь между «лаборантом» и глядевшим на него во все глаза пассажиром; в руке тот сжимал деньги. — При попытке сопротивления будем стрелять.

— Ого! — опешомленный пассажир отступил на шаг, но его плотно взяли под локти.

— Не «ого», а милиция, гражданин... Кривошein, если не ошибаюсь? — следователь улыбнулся с максимальной приятностью. — Вас нам тоже придется задержать. Разведите их по машинам!

...Виктор Кравец, устраиваясь на заднем сиденье «Волги» между Онисимовым и милиционером Гаевым, улыбался устало и спокойно.

— Между прочим, я бы на вашем месте не улыбался, — заметил Матвей Аполлонович. — За такие шутки срок набавляют.

— Э, что срок! — Кравец беспечно махнул рукой. — Главное: я, кажется, сделал верный ход.

— Вот не думал, что мое возвращение начнется с детективного эпизода! — проговорил пассажир самолета, когда его ввели в комнату следователя. — Что ж, раз в жизни это должно быть интересно.

Он, не дожидаясь приглашения, сел на стул, огляделся.

Онисимов молча сел напротив; в нем сейчас боролись противоречивые чувства: ликование («Вот это операция, вот это удача! Взяли сразу двоих — да, похоже, что на горячем!») и озадаченность. До сих пор следствие строилось на том факте, что в лаборатории погиб или умерщвлен Кривошеин. Но... Матвей Аполлонович придирично всмотрелся в задержанного: покатый лоб с залысинами, выступающие надбровные дуги, красно-синий рубец над правой бровью, веснушчатое лицо с полными щеками, толстый нос вздернут седелкой, коротко остриженные рыжеватые волосы — сомнений нет, перед ним сидел Кривошеин! «Вот так я дал маху... Кого же они там прикончили? Ну, теперь уж я выясню все до конца!»

— А это что — намек? — Кривошеин показал на зарешеченные окна. — Чтоб чистосердечней сознавались, да?

— Нет, оптовая база была раньше, — следователь вспомнил, что с такой же рецели начал на вчерашнем допросе «лаборант», усмехнулся забавному совпадению. — От нее остались... Ну, как самочувствие, Валентин Васильевич?

— Благодарю... простите, не знаю вашего имени-отчества, не жалуюсь. А у вас?

— Взаимно, — кивнул следователь. — Хотя мое самочувствие прямого отношения к делу не имеет.

Они улыбались друг другу широко и напряженно, как боксеры перед мордобоем.

— А мое, стало быть, имеет? А я подумал, что у вас это принято: осведомляться о самочувствии пассажиров, которых вы ни за что ни про что хватаете в аэропорту.

Так какое же отношение к вашему делу имеет мое состояние здоровья?

— Мы не хватаем, гражданин Кривошеин, а задерживаем, — жестко поправил Онисимов. — И ваше здоровье меня интересует вполне законно, поскольку я имею заключение врача, а также показания свидетелей о том, что вы — труп.

— Я — труп?! — Кривошеин с некоторой игривостью оглядел себя. — Ну, если у вас такие показания, тащите меня в секционный зал... — Внезапно до него что-то дошло, улыбка увяла. Он поглядел на Онисимова хмуро и встревоженно. — Послушайте, товарищ следователь, если вы шутите, то довольно скверно! Что за труп?

— Помилуйте, какие шутки! — Онисимов широко развел руками. — Позавчера ваш труп был найден в лаборатории, сам видел... то есть не ваш, конечно, поскольку вы в добром здравии, а очень похожего на вас человека. Его все опознали как ваш.

— Ах, черт! — Кривошеин сгорбился, потер щеки ладонями. — Вы можете мне показать этот труп?

— Ну... вы же знаете, что нет, Валентин Васильевич. Он ведь превратился в скелет. Озорство это, нехорошо... Можно очень дурно истолковать.

— В скелет?! — Кривошеин поднял голову, в его зеленых с рыжими крапинками глазах появилось замешательство. — Как? Где?

— Это произошло там же, на месте происшествия, — если уж вам требуются пояснения на данный предмет от меня, — с нажимом произнес Онисимов. — Может, вы сами лучше это объясните?

— Был труп, стал скелет... — пробормотал, хмуря в раздумье брови, Кривошеин. — Но... ага, тогда все не так страшно! Он здесь времени даром не терял... видимо, какая-то ошибка у него получилась. Фу, черт, а я-то! — он ободрился, осторожно взглянул на следователя. — Путаете вы меня, товарищ, непонятно зачем. Трупы за здорово живешь в скелеты не превращаются, я в этом немного разбираюсь. И потом: чем вы докажете, что это мой... то есть похожего на меня человека труп, если трупа нет? Здесь что-то не так!

— Возможно. Поэтому я и хочу, чтобы вы сами пролили свет. Поскольку дело случилось во вверенной вам лаборатории.

— Во вверенной мне?.. Хм... — Кривошеин усмех-

нулся, покачал головой. — Боюсь, ничего не выйдет на счет пролития света. Мне самому надо бы во всем разобраться.

«И этот будет запираться!» — тоскливо вздохнул Матвей Аполлонович, придинул лист бумаги, раскрыл авторучку.

— Тогда давайте по порядку. Вас зовут Кривошеин Валентин Васильевич?

— Да.

— Возраст 35 лет? Русский? Холостой?

— Точно.

— Проживаете в Днепровске, заведуете в Институте системологии лабораторией новых систем?

— А вот что нет, то нет. Живу в Москве, учусь в аспирантуре на биологическом факультете МГУ. Прощу! — Кривошеин протянул через стол паспорт и удостоверение.

У документов был в меру потрепанный вид. Все в них — даже временная, на три года, московская прописка — соответствовало сказанному.

— Понятно, — Онисимов спрятал их в стол. — Быстро это в Москве делается, смотрите-ка! За один день.

— То есть... что вы хотите этим сказать?! — Кривошеин вскинул голову, воинственно задраил правую бровь.

— Липа эти ваши документы, вот что. Такая же липа, как и у вашего сообщника, которому вы в аэропорту пытались передать деньги... Алиби себе обеспечиваете? Напрасно старались. Проверим — а дальше что будет?

— И проверьте!

— И проверим. У кого вы работаете в МГУ? Кто ваш руководитель?

— Профессор Андросиашвили Вано Александрович, заведующий кафедрой общей физиологии, член-корреспондент Академии наук.

— Понятно, — следователь набрал номер. — Дежурный? Это Онисимов. Быстро! свяжитесь с Москвой. Пусть срочно доставят к оперативному телевидеофону... запишите: Вано Александрович Андросиашвили, профессор, заведует кафедрой физиологии в университете. Быстро! — он победно взглянул на Кривошеина.

— Оперативный телевидеофон — это роскошь! — прищелкнул тот языком. — Я вижу, техника съска тоже восходит на грань фантастики. И скоро это будет?

— Когда будет, тогда и будет, не торопитесь. У нас

еще есть о чем поговорить... — Однако уверенность, с которой держался Кривошеин, произвела впечатление на Матвея Аполлоновича. Он засомневался: «А вдруг действительно какое-то дикое совпадение? Проверю-ка еще». — Скажите, вы знакомы с Еленой Ивановной Коломиец?

Лицо Кривошеина утратило безмятежное выражение — он подобрался, взглянул на Онисимова хмуро и пытливо.

— Да. А что?

— И близко?

— Ну?

— По какой причине вы с ней расстались?

— А вот это, дорогой товарищ следователь, извините, совершенно вас не касается! — в голосе Кривошеина заиграла ярость. — В свои личные дела я не позволю соваться ни богу, ни черту, ни милиции!

— Понятно, — хладнокровно кивнул Онисимов. «Он! Деться некуда — он. Чего же он темнит, на что рассчитывает?» — Хорошо, задам вопрос полегче: кто такой Адам?

— Адам? Первый человек на земле. А что?

— Звонил вчера в институт... этот первый человек. Интересовался, где вы, хотел позидать.

Кривошеин безразлично пожал плечами.

— А кто этот человек, который встретил вас в аэропорту?

— И которого вы не весьма остроумно назвали моим сообщником? Этот человек... — Кривошеин в задумчивости поднял и опустил брови. — Боюсь, что он не тот, за кого я его принял.

— Вот и мне кажется, что он не тот! — оживился Онисимов. — Отнюдь не тот! Так кто же он?

— Не знаю...

— Опять за рыбу гроши! — плачущим голосом вскричал Матвей Аполлонович и бросил ручку. — Будет вам воду варить, гражданин Кривошеин, несолидно это! Вы же ему деньги давали, сорок рублей десятками. Что же — вы не знали, кому деньги давали?

В эту минуту в кабинет вошел молодой человек в белом халате, положил на стол бланк и, взглянув с острым любопытством на Кривошеина, удалился. Онисимов посмотрел бланк — это было заключение об анализе отпечатков пальцев задержанного. Когда он поднял глаза на

Кривошеина, в них играла сочувственно торжествующая улыбка.

— Ну, собственно, все. Можно не дожидаться очной ставки с московским профессором — да и не будет ее, наверно... Отпечатки ваших пальцев, гражданин Кривошин, полностью совпадают с отпечатками, взятыми мною на месте происшествия. Убедитесь сами, прошу! — он протянул через стол бланк и лупу. — Так что давайте кончать игру. И учтите, — голос Онисимова стал строгим, — ваш ход с полетом в Москву и лицевыми документами — он отягощает... За заранее обдуманное намерение и попытку ввести органы дознания в заблуждение суд набавляет от трех до восьми лет.

Кривошин, задумчиво выпятив нижнюю губу, изучал бланк.

— Скажите, — он поднял глаза на следователя, — а почему бы вам не допустить, что есть два человека с одинаковыми отпечатками?

— Почему?! Да потому, что за сто лет использования данного способа в криминалистике такого не было ни разу.

— Ну, мало ли чего раньше не было... спутников не было, водородных бомб, электронных машин, а теперь есть.

— При чем здесь спутники? — пожал плечами Матвей Аполлонович. — Спутники спутниками, а отпечатки пальцев — это отпечатки пальцев, неоспоримая улика. Так будете рассказывать?

Кривошин проникновенно и задумчиво взглянул на следователя, мягко улыбнулся.

— Как вас зовут, товарищ следователь?

— Матвей Аполлонович Онисимов зовут, а что?

— Знаете что, Матвей Аполлонович: бросьте-ка вы это дело.

— То есть как бросить?!

— Обыкновенно — прикройте. Как это у вас формулируется: «за недостаточностью улик» или «за отсутствием состава преступления». И «сдано в архив такого-то числа»...

Матвей Аполлонович не нашелся что сказать. С подобным нахальством ему в следственной практике встречаться не доводилось.

— Понимаете, Матвей Аполлонович... ну, будете вы заниматься этой разнообразной и в обычных случаях,

безусловно, полезной деятельностью: допрашивать, задерживать, опознавать, сравнивать отпечатки пальцев, беспрекословно занятьых людей по оперативному видеотелефону... — Кривошин развивал свою мысль, жестикулируя правой рукой. — И все время вам будет казаться, что вот-вот! — и вы ухватите истину за хвост. Противоречия сочетаются в факты, факты в улики, добродетель восторжествует, а зло получит срок плюс надбавку за обдуманность намерений... — он сочувственно вздохнул. — Ни черта они не сочетаются, эти противоречия, не тот случай. И истины вы не достигнете просто потому, что по уровню мышления не готовы принять ее...

Онисимов нахмурился, оскорбленно поджал губы.

— Нет, нет! — замахал руками Кривошин. — Не подумайте, ради бога, что я вас хочу унизить, поставить под сомнение ваши детективные качества. Я ведь вижу, что вы человек цепкий, старательный. Но — как бы это вам объяснить? — он сощурился на желтый от солнца проспект за решетчатым окном. — Ага, вот такой пример. Лет шестьдесят назад, как вы, несомненно, знаете, станки на заводах и фабриках приводились в действие от паровика или дизеля. По цехам проходил трансмиссионный вал, от него к станочным шкивам разбегались приводные ремни — все это ворчалось, жужжало, хлопало и радовало своим дикарским великолепием душу тогдашнего директора или купчина-хозяина. Потом пошло в дело электричество — и сейчас все эти предметы заменены электромоторами, которые стоят прямо в станках...

И снова, как вчера во время допроса «лаборанта», Матвея Аполлоновича на минуту охватило сомнение: что-то здесь не так! Немало людей побывали у него в кабинете, отполировали стул, ерзая от неприятных вопросов: угрюмые юнцы, влившие по глупости в неприятную историю, плаксивые спекулянтки, искательно-развязные хозяевственники, разоблаченные ревизией, степенные, знающие все законы рецидивисты... И все они рано или поздно понимали, что игра проиграна, что наступил момент, когда надо сознаваться и заботиться о том, чтобы в протоколе была отражена чистосердечность раскаяния. А этот... сидит как ни в чем не бывало, размахивает рукой и старательно, на хорошем популярном уровне объясняет, почему дело следует закрыть. «Опять это отсутствие игры меня сбивает! Ну нет, два раза на одном месте я не поскользнусь!»

Матвей Аполлонович был опытный следователь и хорошо знал, что в дело идут не сомнения и не впечатления, а факты. Факты же — тяжелые и непреложные — были против Кривошеина и Кравца.

— ...Теперь представьте, что на каком-то древнем заводе замена механического привода станков на электрический произошла не за годы, а сразу — за одну ночь, — продолжал Кривошеин. — Что подумает хозяин завода, прия утром в цех? Естественно, что кто-то спер паровик, трансмиссионный вал, ремни и шкивы. Чтобы понять, что случилась не кража, а технический переворот, ему надо знать физику, электротехнику, электродинамику... Вот и вы, Матвей Аполлонович, образно говоря, находитесь сейчас в положении такого хозяина.

— Физику, электротехнику, электродинамику... — рассеянно повторил Онисимов, поглядывая на часы: скорей бы давали Москву! — И теорию информации, теорию моделирования случайных процессов надо понимать, да?

— Ого! — Кривошеин откинулся на стуле, поглядел на следователя с еле скрываемым восторгом. — Вы и про эти науки знаете?

— Мы, Валентин Васильевич, все знаем.

— Ну, я вижу, вас голыми руками не возьмешь...

— И не советую пробовать. Так как, на незаконное закрытие дела будем рассчитывать или правду расскажем?

— Уфф... — Кривошеин отер платком лоб и щеки. — Жарко у вас... Ладно. Давайте договоримся так, Матвей Аполлонович: я сам разберусь в этом происшествии, а потом вам расскажу.

— Нет, — Онисимов качнул головой, — не договоримся мы так. Не полагается, знаете, чтобы подозреваемый сам проводил дознание по своему делу. Эдак никакое преступление никогда не раскроешь.

— Да, черт побери!.. — начал было Кривошеин, но открылась дверь, и молоденький лейтенант сообщил:

— Матвей Аполлонович, Москва!

Онисимов и Кривошеин поднялись на второй этаж, в комнату оперативной связи,

...Вано Александрович Андросиашвили приблизил свое лицо к экрану телевидеофона так стремительно, будто

хотел проклюнуть изнутри оболочку электроннолучевой трубы хищным, загнутым, как у орла, носом. Да, он узнает своего аспиранта Валентина Васильевича Кривошеина. Да, последние недели он видел аспиранта ежедневно, а более отдаленные даты встреч и бесед с ним на память назвать не берется, ибо это не календарные праздники. Да, аспирант Кривошеин покинул университет на пять дней по его, Андросиашвили, личному разрешению. Орудийное «эр» Вано Александровича сотрясало динамик телевидеофона... Он крайне озадачен и огорчен, что его для участия в такой странной процедуре оторвали от экзаменов. Если милиция — тут Вано Александрович устремил горячий взгляд иссиня-черных глаз на Онисимова — перестает верить паспортам, которые она сама выдает, то ему, видимо, придется переквалифицироваться из биолога в удостоверителя личностей всех своих аспирантов, студентов, родственников, а также всех действительных членов и членов-корреспондентов Академии наук, коих он, Андросиашвили, имеет честь знать! Но в этом случае естественным образом может возникнуть вопрос: а кто он такой сам, профессор Андросиашвили, и не следует ли для удостоверения его сомнительной личности доставить сюда на оперативной машине ректора университета или, чтоб вернее, президента Академии наук?

Выговарив все это на одном дыхании, Вано Александрович на прощание качнул головой: «Нэхорошо! Доверять надо!» — и исчез с экрана. Микрофоны донесли до Днепровска звук хлопнувшей двери. Экран показал лысого толстяка в майорских погонах на голубой рубашке; он мученически скривил лицо:

— Что вы, товарищи, сами не могли разобраться? Конец!

Экран погас.

«А Вано Александрович до сих пор на меня в обиде, — спускаясь по лестнице впереди сердито сопящего Онисимова, размышил Кривошеин. — Оно и понятно: пожалел человека, принял в аспирантуру вне конкурса, а я к нему всей спиной, скрытничаю. Не прими он меня — ничего бы не было. На экзаменах я плавал, как первокурсник. Философия и иностранный еще куда ни шло, а вот по специальности... Конечно, разве нас не прочитанные учебники замаскируют отсутствие систематических знаний?»

...Это было год назад. После вступительного экзамена по биологии Андросиашвили пригласил его к себе в кабинет, усадил в кожаное кресло, сам стал у окна и принялся рассматривать, склонив к правому плечу крупную лысую голову.

— Сколько вам лет?

— Тридцать четыре года.

— На пределе... В следующем году отпразднуете в кругу друзей тридцатипятилетие и поставите крест на очной аспирантуре. А в заочную... впрочем, заочная аспирантура существует не для учебы, а для дополнительного оплачиваемого отпуска, не будем о ней говорить. Я прочел ваш автореферат — хороший автореферат, зрелый автореферат, интересные параллели между работой нервных центров и электронных схем проводите. «Отлично» поставил. Но... — профессор взял со стола ведомость, взглянул в нее, — экзамен вы не сдали, дорогой! То есть сдали на «уд», что адекватно: с тройкой по специальности мы не берем.

У Кривошеина, наверно, изменилось лицо, потому что голос Вано Александровича стал сочувственным:

— Послушайте, а зачем вам это надо: переходить на аспирантскую стипендию? Я познакомился с вашими бумагами — вы в интересном институте работаете, на хорошей должности работаете. Вы кибернетик?

— Системотехник.

— Для меня это все равно. Так зачем?

Кривошеин был готов к этому вопросу.

— Именно потому, что я системотехник и системолог. Человек — самая сложная и самая высокоорганизованная система из всех нам известных. Я хочу в ней разобраться целиком: как все построено в человеческом организме, как связано, что на что влияет. Понять взаимодействие частей, грубо говоря.

— Чтобы использовать эти принципы для создания новых электронных схем? — Андросиашвили иронически скривил губы.

— Не только... и даже не столько это. Видите ли... когда-то было все не так. Зной и мороз, выносливость в погоне за дичью или в бегстве от опасности, голод или грубая нестерильная пища типа сырого мяса, сильные механические перегрузки в работе, драка, в которой прочность черепа проверялась ударами дубины, — словом, когда-то внешняя среда предъявляла к человеку такие

же суровые требования, как... ну, скажем, как сейчас военные заказчики к аппаратуре ракетного назначения. (Вано Александрович хмыкнул, но ничего не произнес.) Такая среда за сотни тысячелетий и сформировала «хомо сапиенс» — Разумное Позвоночное Млекопитающее. Но за последние двести лет, если считать от изобретения парового двигателя, все изменилось. Мы создали искусственную среду из электромоторов, взрывчатки, фармацевтических средств, конвейеров, систем коммунального обслуживания, транспорта, повышенной радиации атмосферы, электронных машин, профилактических прививок, асфальтовых дорог, бензиновых паров, узкой специализации труда... ну, словом, современную жизнь. Как инженер, и я в числе прочих развиваю эту искусственную среду, которая сейчас определяет жизнь «хомо сапиенс» на девяносто процентов, а скоро будет определять ее на все сто — природа останется только для воскресных прогулок. Но как человек я сам испытываю некоторое беспокойство... — Он перевел дух и продолжал: — Эта искусственная среда освобождает человека от многих качеств и функций, приобретенных в древней эволюции. Сила, ловкость, выносливость ныне культивируются только в спорте, логическое мышление, утеху древних греков, перехватывают машины. А новых качеств человек не приобретает — уж очень быстро меняется среда, биологический организм так не может. Техническому прогрессу сопутствует успокоительная, но малоаргументированная болтовня, что человек-де всегда останется на высоте положения. Между тем — если говорить не о человеке вообще, а о людях многих и разных — это уже сейчас не так, а далее будет и вовсе не так. Ведь далеко не у каждого хватает естественных возможностей быть хозяином современной жизни: много знать, многое уметь, быстро выучиваться новому, творчески работать, оптимально строить свое поведение.

— Чем же вы им хотите помочь?

— Помочь — не знаю, но хотя бы изучить как следует вопрос о неиспользуемых человеком возможностях своего организма. Ну, например, отживающие функции — скажем, умение наших с вами отдаленных предков прыгать с дерева на дерево или спать на ветке. Теперь это не нужно, а соответствующие нервные клетки остались. Или взять рефлекс «мороз по коже» — по коже, на которой почти уже нет волос. Его обслуживает богатейшая

нервная сеть. Может, удастся перестроить, перепрограммировать старые рефлексы на новые нужды?

— Так! Значит, мечтаете модернизировать и рационализировать человека? — Андросиашвили выставил вперед голову. — Будет уже не «хомо сапиенс», а «хомо модернус рационалис», да? А вам не кажется, дорогой системотехник, что рационалистическим путем можно превратить человека в чемодан с одним отростком, чтобы кнопки нажимать? Впрочем, можно и без отростка, с управлением от биотоков мозга...

— Если уж совсем рационалистически, то можно и без чемодана, — заметил Кривошеин.

— Тоже верно! — Вано Александрович склонил голову к другому плечу, с любопытством посмотрел на Кривошеина.

Они явно нравились друг другу.

— Не рационализировать, а обогатить — вот над чем я размышляю.

— Наконец-то! — профессор быстро зашагал по кабинету. — Наконец-то в широкие массы работников техники, покорителей мертвой природы, создателей «искусственной среды» начала проникать мысль, что и они люди! Не сверхчеловеки, которые с помощью интеллекта и справочников могут преодолеть все и вся, а просто люди. Ведь чего только не пытаемся мы изучить и понять: элементарные частицы, вакуум, космические лучи, антины, тайну Атлантиды... Себя лишь не хотим изучить и понять! Это, понимаете ли, трудно, неинтересно, в руки не дается... Цхэ, мир может погибнуть, если каждый станет заниматься тем, что в руки дается! — Голос его зазвучал более гортанно, чем обычно. — Человек чувствует биологический интерес к себе, только когда в больницу идти надо, болятень выписывать надо... И верно, если так пойдет, то можно обойтись и без чемодана. Как говорят студенты: общются нас машины как пить дать! — Он остановился против Кривошеина, склонил голову, фыркнул: — Но все-таки вы дилетант, дорогой системотехник! Как у вас запросто выходит: перепрограммировать старые рефлексы... Ах, если бы это было столь же просто, как перепрограммировать вычислительную машину! М-да... но, с другой стороны, вы инженер-исследователь, с идеями, со свежим взглядом на предмет, отличным от нашего, чисто биологического... Ай, что я говорю! Зачем впушаю несбыточные надежды, будто из вас что-то

выйдет?! — Он отошел к окну. — Ведь диссертацию вы не напишете и не защитите, да у вас и замыслы совсем не те. Да?

— Не те, — сознался Кривошеин.

— Вот видите. Вы вернетесь в свою системологию, а мне от ректората достанется, что я научный кадр не воспитал... Цхэ, беру! — без всякого перехода заключил Андросиашвили. Он подошел к Кривошеину. — Только придется учиться, пройти полный курс биологических наук. Иначе не изыщете вы никаких возможностей в человеке, понимаете?

— Конечно! — радостно закивал тот. — За тем и приехал.

Профессор оценивающе посмотрел на него, притянул за плечо:

— Я вам секрет открою: я сам учусь. На вечернем факультете электронной техники в МЭИ, на третьем курсе. И лекции слушаю, и лабораторки выполняю, и даже два «хвоста» имею: по промэлектронике и по квантовой физике. Тоже хочу разобраться, что к чему, помогать мне будете... только тсс!

Они вернулись в кабинет Онисимова. Матвей Аполлонович начал ходить от стены к стене. Кривошеин взглянул на часы: начало шестого — поморщился, жалея о бестолково потерянном времени.

— Итак, все, Матвей Аполлонович, мое алиби доказано. Верните мне, пожалуйста, документы, и расстанемся.

— Нет, погодите! — Онисимов вышагивал по комнате вне себя от ярости и растерянности.

Матвей Аполлонович, как уже упоминалось выше, был опытный следователь, и сейчас он ясно понимал, что все факты этого трехлятого дела обернулись против него самого. Кривошеин жив, стало быть, установленная и запротоколированная смерть Кривошеина — ошибка. Личность того, кто погиб или умерщвлен в лаборатории, он не установил, причину смерти или способ умерщвления — тоже и даже не представляет, как к этому подступиться... Мотивов преступления он не знает, версии летят к черту, трупа нет! В фактах все это выглядит так, что дознание проведено следователем Онисимовым из рук вон плохо... Матвей Аполлонович попытался собрать-

ся с мыслями. «Академик Азаров опознал труп Кривошеина. Профессор Андросиашвили опознал живого Кривошеина и засвидетельствовал его алиби. Значит, либо тот, либо другой дали ложные показания. Кто именно — не ясно. Значит, надо привлекать обоих. Но... привлечь к дознанию таких людей, взять их на подозрение, а потом снова окажется, что я забрел не туда! Это ж костей не соберешь...»

Словом, сейчас Матвей Аполлонович твердо понимал одно: выпускать Кривошеина из рук никак нельзя.

— Нет, погодите! Не придется вам, гражданин Кривошеин, вернуться к вашим темным делам! Думаете, если вы это... загrimировали покойника, а потом уничтожили труп, так и концы в воду? Мы еще проверим, кто такой Андросиашвили и по каким мотивам он вас выгораживает! Улики против вас не снимаются: отпечатки пальцев, контакт с бежавшим, попытка вручить ему деньги...

Кривошеин, сдерживая раздражение, поскреб подбородок.

— Я, собственно, не понимаю, что вы мне инкриминируете: что я убит или что я убийца?

— Разберемся, гражданин! — теряя остатки самообладания, проговорил Онисимов. — Разберемся! Только не может такого быть, чтобы вы в этом деле оказались ни при чем... не может быть!

— Ах, не может быть?! — Кривошеин шагнул к следователю, лицо его налилось кровью. — Думаете, если вы работаете в милиции, то знаете, что может и что не может быть?!

И вдруг его лицо начало быстро меняться: нос выпятился вперед, утолстился, полиловел и отвис, глаза расширились и из зеленых стали черными, волосы над лбом отступили назад, образуя лысину, и поседели, на верхней губе пробились седые усыки, челюсть стала короче... Через минуту на потрясенного Матвея Аполлоновича смотрела грузинская физиономия профессора Андросиашвили — с кровянистыми белками глаз, могучим носом с гневно выгнутыми ноздрями и сизыми щеками.

— Ты думаешь, кацо, если ты работаешь в милиции, то знаешь, что может и что не может быть?!

— Прекратите! — Онисимов отступил к стене.

— Не может быть! — неистовствовал Кривошеин. — Я вам покажу «не может быть»!

Эту фразу он закончил певучим и грудным женским голосом, а лицо его начало быстро приобретать черты Елены Ивановны Коломиец: вздернулся милый носик, покровели и округлились щеки, выгнулись пушистыми темными дугами брови, глаза засияли серым светом...

«Ну, если сейчас кто-нибудь войдет...» — мелькнуло в воспаленном мозгу Онисимова: он кинулся запирать дверь.

— Э-э! Вы это бросьте! — Кривошеин в прежнем своем облике стал посреди комнаты в боксерскую стойку.

— Да нет... я... вы не так меня поняли... — в забытьи бормотал Матвей Аполлонович, отходя к столу. — Зачем вы это?

— Уфф... не вздумайте звонить! — Кривошеин, отдаваясь, сел на стул; лицо его блестело от пота. — А то я могу превратиться в вас. Хотите?

Нервы Онисимова сдали окончательно. Он раскрыл ящик.

— Не надо... успокойтесь... перестаньте... не надо! Пожалуйста, вот ваши документы.

— Вот так-то лучше... — Кривошеин взял документы и подхватил с пола котомку. — Я ведь объяснял по-хорошему, что этим делом вам не следует интересоваться, — нет, не поверили. Надеюсь, что теперь я вас убедил. Прощайте... майор Пронин!

Он ушел. Матвей Аполлонович стоял в прострации, прислушивался к какому-то дробному стуку, разносившемуся по комнате. Через минуту он понял, что это стучат его зубы. Руки тоже тряслись. «Да что же это я?!» — Он схватил трубку телефона — и бросил ее, опустился на стул, обессиленно положил голову на прохладную поверхность стола. «Ну ее к черту, такую работу...»

Дверь широко распахнулась, на пороге появился судмедэксперт Зубато с фанерным ящиком в руках.

— Слушай, Матвей, это же в самом деле криминалистическая сенсация века, поздравляю! — закричал он. — Ух, черт, вот это да! — Он с грохотом поставил ящик на стол, раскрыл, начал выбрасывать на пол вату. — Мне только что доставили из скульптурной мастерской... Смотри!

Матвей Аполлонович поднял глаза. Перед ним стояла сработанная из пластилина голова Кривошеина — с покатым лбом, вздернутым толстым носом и широкими щеками...

Глава пятая

Самый простой способ скрыть хромоту на левую ногу — хромать и на правую. У вас будет вид морского волка, шагающего впереди впереди.

К. Прутков-инженер.
«Советы начинающим детективам»

«Пижон из пижонов, мелкач! — ругал себя Кривошин. — Нашел применение открытию: милицию пугать... Ведь он и так отпустил бы меня, никуда бы не делясь».

Мышцы лица и тела натуженно ныли. Внутри медленно затихал болезненный зуд желез. «Все-таки три трансформации за несколько минут — это перегрузка. Погорячился. Ну, да ничего со мной не становится. В том-то и фокус, что ничего со мной статья не может...»

Быстро синело небо над домами. С легким шипением загорались газосветные названия магазинов, кафе и кинотеатров. Мысли аспиранта вернулись к московским делам.

«Выдержал марку Вано Александрович, даже не поинтересовался: почему задержали, за что? Опознал — и все. Понятно: раз Кривошин скрывает от меня свои дела — знать не хочу о них! Обиделся гордый старик... Да и есть за что. Ведь именно в беседе с ним я осмыслил цель опытов. Впрочем, какая там беседа — был спор. Но не с каждым вот так: поспоришь — и обогаешься идеями».

...Вано Александрович все ходил мимо, посматривал с ироническим ожиданием: какими откровениями поразит мир дилетант-биолог? Однажды декабрьским вечером Кривошин захватил его в кабинете на кафедре и высказал все, что думал о жизни вообще и о человеке в частности. Это был хороший вечер: они сидели, курили, разговаривали, а за окном свистела и швырялась в стекла снежной крупой московская предновогодняя пурга.

— Любая машина как-то устроена и что-то делает, — излагал Кривошин. — В биологической машине под названием «Человек» тоже можно выделить две эти стороны: базисную и оперативную. Оперативная: органы чувств, мозг, двигательные нервы, скелетные мышцы —

в большой степени подвластна человеку. Глаза, уши, вестибулярный аппарат, обязательные участки кожи, нервные окончания языка и носа, болевые и температурные нервы воспринимают раздражения от внешней среды, превращают их в электрические импульсы (совсем как устройства ввода информации в электронной машине), головной и спинной мозги анализируют и комбинируют импульсы по принципу «возбуждение — торможение» (подобно импульсным ячейкам машин), замыкают и размыкают первые цепи, посыпают команды скелетным мышцам, которые и производят всякие действия — опять же как исполнительные механизмы машин.

Над оперативной частью своего организма человек властен: даже безусловные — болевые, например — рефлексы он может подавить усилием воли. Но вот в базисной части, которая ведает основным процессом жизни — обменом веществ, — все не так. Легкие втягивают воздух, сердце гонит кровь по темным закоулкам тела, пищевод, сокращаясь, проталкивает комочки пищи в желудок, поджелудочная железа выделяет гормоны и ферменты, чтобы разложить пищу на вещества, которые может усвоить кишечник, печень выделяет в кровь глюкозу... Щитовидная и паращитовидная железы вырабатывают диковинные вещества: тироксин и паратиреодин — от них зависит, будет ли человек расти и умнеть или останется карликом и кретином, разовьется ли у него прочный скелет или кости можно будет завязывать узлом. Пустяковый отросток у основания головного мозга — гипофиз — с помощью своих выделений командует всей таинственной кухней внутренней секреции, а заодно работой почек, кровяным давлением и благополучным разрешением от беременности... И над этой частью организма, которая *конструирует* человека — его телосложение, форму черепа, психику, здоровье и силу, — сознание не властно!

— Все правильно, — улыбнулся Андросиашвили. — В вашей оперативной части я легко узнаю область действия «анимальной», или «соматической», нервной системы, в базисной — область вегетативных нервов. Эти названия возникли еще в восемнадцатом веке; по-латыни «анималь» — «животное» и «вегетус» — «растение». Лично я не считаю их удачными. Может быть, на уровне двадцатого века ваши инженерные наименования более подойдут. Но продолжайте, прошу вас.

— Машину, даже электронную, конструирует и делает человек. Скоро этим займутся сами машины, принцип ясен, — продолжал Кривошеин. — Но почему человек не может конструировать сам себя? Ведь обмен веществ подчинен центральной нервной системе: от мозга к железам, сосудам, кишечнику идут такие же нервы, как и к мышцам и к органам чувств? Почему же человек не может управлять этими процессами, как движением пальцев? Почему сознательное участие человека в обмене веществ выражается лишь в удовлетворении аппетита, жажды и некоторых противоположных направлений? Это смешно: «хомо сапиенс», царь природы, венец Эволюции, создатель сложнейшей техники, произведений искусства, а в основном жизненном процессе отличается от коровы и дождевого черва разве что применением вилки, ложки да горячительных напитков!

— А почему вам хочется выделять в кровь сахар, ферменты и гормоны непременно усилием своей мысли и воли? — Андросиашвили поднял кустистые брови. — Зачем, скажите на милость, мне в добавок ко всем делам и заботам по кафедре еще каждый час ломать голову: сколько выделить адреналина и инсулина из надпочечников и куда их направить? Вегетативные нервы сами управляют обменом веществ, не затрудняют человека проблемами — и отлично!

— Отлично ли, Вано Александрович? А болезни?

— Болезни... вон вы куда клоните: болезни как ошибки в работе базисной конструирующей системы. — Брови у профессора выгнулись синусоидой. — Ошибки, которые мы пытаемся исправить пиллюлями, компрессами, вакцинами, оперативным вмешательством, и далеко не всегда успешно. Но... болезни — результат тех воздействий среды, к которым организм не приспособлен.

— А почему не приспособлен? Ведь мы в большинстве случаев знаем, что вредно, — на этом держится профилактика болезней, техника безопасности, охрана труда. Но, обратите внимание, слова-то какие пассивные: профилактика, безопасность, охрана... попросту говоря, от беды подальше! А среда все подкидывает новые загадки: то рентгеновское излучение, то сварочную дугу, то изотопы...

— Ладно! — Профессор поднял обе руки. — Я догадываюсь, что у вас под языком трепыхается заветная

идея на этот счет и вы ждете не дождитесь, когда собеседник широко раскроет глаза и с робкой надеждой спросит: «Так почему?» Идет! Смотрите: я широко раскрываю глаза, — он весело сверкнул белками в кровяных прожилках, — и задаю этот долгожданный вопрос: так почему люди не умеют сознательно управлять обменом веществ в себе?

— Потому что забыли, как это делается! — выпалил Кривошеин.

— Ввах! — профессор с удовольствием хлопнул себя по коленям. — Знали, да забыли? Как номер телефона? Это интересно!

— Давайте вспомним, что в мозгу человека имеется огромное число незадействованных нервных клеток: девяносто девять процентов, а у некоторых и девяносто девять с дробью. Невероятно, чтобы они существовали просто так, про запас — природа излишеств не допускает. Естественно предположить, что в этих клетках содержалась информация, которая ныне утрачена. Не обязательно словесная информация — такой в нашем организме и сейчас мало, она слишком груба и приблизительна, — а биологическая, выражаемая в образах, чувствах, ощущениях...

— Стоп, дальше я знаю! — увлеченно закричал Андросиашвили. — Марсиане! Нет, даже лучше — не марсиане — ведь до Марса того и гляди доберутся, проверить могут! — а, скажем, жители бывшей когда-то между Марсом и Юпитером планеты, которая ныне развалилась на астероиды. Жили там высокоорганизованные существа, у них была искусственная разнообразная среда, и они умели управлять своим организмом, чтобы приспособливаться к ней, а также для забавы. И эти жители, почувствовав, что родная планета вот-вот развалится, переселились на Землю...

— Возможно, было и так, — невозмутимо кивнул Кривошеин. — Во всяком случае, надо полагать, что у человека были высокоорганизованные предки, откуда бы они ни взялись. И они одичали, попав в дикую примитивную среду с тяжелыми условиями жизни — в кайнозойскую эру. Жара, джунгли, болота, звери — и никаких удобств. Жизнь упростилась до борьбы за существование, вся нервная утонченность оказалась ни к чему. Вот и утратили за многие поколения все: от письменности до умения управлять обменом веществ...

Нет, правда, Вано Александрович, помести сейчас горожанина в джунгли, с ним то же будет!

— Эффектно! — причмокнул от удовольствия Андросиашвили. — И лишние клетки мозга остались в организме наряду с аппендицом и волосатостью под мышками? Теперь я понимаю, почему мой добрый знакомый профессор Валерно именует фантастику «интеллектуальным разрывом».

— Почему же? И при чем здесь?..

— Да потому, что трезвые рассуждения она подменяет эффектной игрой воображения.

— Ну, знаете ли, — разозлился Кривошеин, — у нас в системологии рабочие гипотезы не подавляют ссылками на высказывания знакомых. Любая идея приемлема, если она плодотворна.

— А у нас в биологии, товарищ аспирант, — заорал вдруг Андросиашвили, выкатив глаза, — у нас в биологии, дорогой, приемлемы лишь идеи, основанные на трезвом материалистическом подходе! А не па осколках фантастической планеты! Мы имеем дело с более важным явлением, чем техника, — с жизнью! И поскольку вы сейчас не «у вас», а «у нас», советую это помнить! Всякий дилетант... цхэ! — и тотчас успокоился, перешел на мирный тон. — Ладно, будем считать, что мы с вами разбили по тарелке. Теперь серьезно: почему ваша гипотеза, мягко говоря, сомнительна? Во-первых, «незадействованные» клетки мозга — это определение из технического обихода к биологическим объектам неприменимо. Клетки живут — стало быть, они уже задействованы. Во-вторых, почему не предположить, что эти миллиарды нервных клеток в мозгу образованы именно про запас?

Вано Александрович встал и посмотрел на Кривошеина сверху вниз:

— Я, дорогой товарищ аспирант, тоже слегка разбираюсь в технике — как-никак студент-вечерник МЭИ! — и знаю, что у вас... г-хм! — у вас в системотехнике есть понятие и проблема надежности. Надежность электронных систем обеспечивают резервом деталей, ячеек и даже блоков. Так почему не допустить, что природа создала в человеке такой же резерв для надежной работы мозга? Ведь нервные клетки не восстанавливаются.

— Большо велик резерв! — покрутил головой аспи-

рант. — Обычный человек обходится миллионом клеток из миллиардов возможных.

— А у талантливых людей работают десятки миллионов клеток! А у гениальных... впрочем, у них еще никто не мерял — может быть, и сотни миллионов. Возможно, мозг каждого из нас, так сказать, зарезервирован на гениальную работу? Я склонен думать, что именно гениальность, а не посредственность — естественное существо человека.

— Эффектно сказано, Вано Александрович.

— О, я вижу, вы злой... Но как бы там ни было, эти возражения имеют такую же ценность, как и ваша гипотеза об одичавших марсианах. Цхэ, а если учесть, что я ваш руководитель, а вы мой аспирант, то они имеют даже большую ценность! — он сел в кресло. — Но вернемся к основному вопросу: почему человек наших дней не владеет вегетативной системой и обменом веществ в себе? Знаете, почему? До этого дело еще не дошло.

— Вот как!

— Да. Среда учит организм человека только одним способом: условно-рефлекторной зубрежкой. Вы же знаете, что для образования условного рефлекса надо многократно повторять ситуацию и раздражители. Именно так возникает жизненный опыт. А чтобы образовался наследственный опыт из безусловных рефлексов, надо зубрить многим поколениям в течение тысячелетий... Вы правильно сказали о биологической, не выраженной в словах, информации в организме. Условные и безусловные рефлексы — это она и есть. А уж над рефлексами властвует сознание человека — правда, в ограниченной мере. Ведь вы не продумываете от начала до конца, какой мышце и насколько сократиться, когда зажигаете папиросу, как не продумываете и весь химизм мышечного сокращения... Сознание дает команду: закурить! А дальше работают рефлексы — как специфические, приобретенные вами от злоупотребления этой скверной привычкой: размять папиросу, втянуть дым, — так и переданные от далеких предков общие: хватательные, дыхательные и так далее...

Вано Александрович — непонятно, для иллюстрации или по потребности — закурил папиросу и пустил вверх дым.

— Я веду к тому, что сознание управляет, когда есть

чем управлять? В оперативной части организма, где конечным действием, как подметил еще Сеченов, является мышечное движение... Ну, помните? — Андросиашвили откинулся в кресле и с наслаждением процитировал: «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибалди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютона мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное движение...» Ах, как великолепно писал Иван Михайлович! — так вот в этой оперативной части сознанию есть чем управлять, есть что выбрать из несчитанных миллионов условных и безусловных рефлексов для каждой непшаблонной ситуации. А в конструктивной части, где работает большая химия организма, командовать сознанию нечем. Ну, прикиньте сами, какие условные рефлексы у нас связаны с обменом веществ?

— Пить или не пить, положите мне побольше хrena, торчать не могу свинины, курение и... — Кривошеин замешкался, — н-ну, еще, пожалуй, мыться, чистить зубы...

— Можно назвать еще десяток таких же, — кивнул профессор, — но ведь все это мелкие, наполовину химические, наполовину мышечные, поверхностные рефлексы. А поглубже в организме безусловные рефлексы-процессы, связанные так однозначно, что управлять нечем: иссякает кислород в крови — дыши, мало горючего для мышц — ешь, выделил воду — пей, отравился запретными для организма веществами — болей или умирай. И никаких вариантов... И ведь нельзя сказать, что жизнь не учила людей по части обменных реакций — нет, сурово учила. Эпидемиями — как хорошо бы с помощью сознания и рефлексов разобраться, какие бациллы тебя губят, и выморить их в теле, как клопов! Голодовками — залечь бы в спячку, как медведь, а не цухнуть и не умирать! Ранами и уродствами в драках всех видов — регенерировать бы себе оторванную руку или выбитый глаз! Но мало... Все дело в быстродействии. Мышечные реакции происходят за десятые и сотые доли секунды, а самая быстрая из обменных — выделение надпочечником адреналина в кровь — за секунды. А выделение гормонов железами и гипофизом дает о себе знать лишь через годы, а то и раз за целую жизнь. Так что, — он тонко улыбнулся, — эти знания не утра-

чены организмом, они просто еще не приобретены. Уж очень трудно человеку «выгубить» такой урок...

— ...И поэтому овладение обменом веществ в себе может затянуться на миллионы лет?

— Боюсь, что даже на десятки миллионов, — вздохнул Вано Александрович. — Мы, млекопитающие, очень молодые жители Земли. Тридцать миллионов лет — разве это возраст? У нас все еще впереди.

— Да ничего у нас не будет впереди, Вано Александрович! — вскинулся Кривошеин. — Нынешняя среда меняется от года к году — какая тут может быть миллионолетняя зурбажка, какое повторение пройденного? Человек сошел с пути естественной эволюции, дальше надо самому что-то соображать.

— А мы и соображаем.

— Что? Пилиоли, порошки, геморройные свечи, клистиры и постельные режимы! Вы уверены, что этим мы улучшаем человеческую породу? А может быть, портим?

— Я вовсе не уговариваю вас заниматься «пилиолями» и «порошками», если именно так вам угодно именовать разрабатываемые на кафедре новые антибиотики, — лицо Андросиашвили сделалось холодным и высокомерным. — Желаете заняться этой идеей — что ж, дерзайте. Но объяснить вам нереальность и непродуманность выбора такой темы для аспирантской работы и для будущей диссертации — мое право и моя обязанность.

Он поднялся, ссыпал окурки из пепельницы в корзину.

— Простите, Вано Александрович, я вовсе не хотел вас обидеть, — Кривошеин тоже встал, понимая, что разговор окончен, и окончен неловко. — Но... Вано Александрович, ведь есть интересные факты.

— Какие факты?

— Ну... вот был в прошлом веке в Индии некий Рамакришна, «человек-бог», как его именовали. Так у него, если рядом были человека, возникали рубцы на теле. Или «ожоги внушением»: впечатлительного человека трогают карандашом, а говорят, будто коснулись горящей сигаретой. Ведь здесь управление обменом веществ получается без «зурбажки», а?

— Послушайте, вы, настырный аспирант, — прищурился на него Андросиашвили, — сколько вы можете за один присест скушать оконных шингалетов?

— Мм-м... — ошеломленно выпятил губы Кривошеин, — боюсь, что ни одного. А вы?

— Я тоже. А вот мой пациент в те далекие годы, когда я практиковал в психиатрической клинике имени академика Павлова, заглотал без особого вреда для себя... — профессор, вспоминая, откинулся голову, — «шпингалетов оконных — пять, ложек чайных алюминиевых — двенадцать, ложек столовых — три, стекла битого — две сорок граммов, ножниц хирургических малых — две пары, вилок — одну, гвоздей разных — четыреста граммов...». Это я цитирую не протокол вскрытия, заметьте, а историю болезни — сам резекцию желудка делал. Пациент вылечился от мании самоубийства, жив, вероятно, и по сей день. Так что, — профессор взглянул на Кривошеина с высоты своей эрудиции, — в научных делах лучше не ориентироваться ни на религиозных фанатиков, ни на мирских психопатов... Нет, нет! — он поднял руки, увидев в глазах Кривошеина желание возразить. — Хватит спорить. Дерзайте, препятствовать не буду. Не сомневаюсь, что вы обязательно попытаетесь регулировать обмен веществ какими-нибудь машинными, электронными способами...

Вано Александрович посмотрел на аспиранта задумчиво и устало, улыбнулся.

— Ловить жар-птицу голыми руками — что может быть лучше! Да и цель святая: человек без болезней, без старости — ведь старость тоже приходит от нарушения обмена веществ... Лет двадцать назад я, вероятно, позволил бы и себя зажечь этой идеей. Но теперь... теперь мне надо делать то, что можно сделать наверняка. Пусть даже это будут пилюли...

Кривошеин свернулся на поперечную улицу к Институту системологии и едва не столкнулся с рослым человеком в синем, не по погоде теплом плаще. От неожиданности с обоими случилась неловкость: Кривошеин отступил влево, пропуская встречного, — тот сделал шаг вправо. Потом оба, уступая друг другу дорогу, шагнули в другую сторону. Человек с изумлением взглянул на Кривошеина и застыл.

— Прошу прощения, — пробормотал тот и прослезился дальше.

Улица была тихая, пустынная — Кривошеин вскоре

расслышал шаги за спиной, оглянулся: человек в плаще шел на некотором отдалении за ним. «Ай да Онисимов! — развеселился аспирант. — Сыщика приклеил, цепкий мужчина!» Он для пробы ускорил шаг и услышал, как тот зачастил. «Э, шут с ним! Не хватало мне еще замечать следы». — Кривошеин пошел спокойно, вразвалочку. Однако спине стало неприятно, мысли вернулись к действительности.

«Значит, Валька поставил еще эксперимент — а может, и не один? Получилось неудачно: труп, обратившийся в скелет... Но почему в его дела стала вникать милиция? И где он сам? Дунул, наверно, наш Валечка на мотоцикле куда подальше, пока страсти улягутся. А может, все-таки в лаборатории?»

Кривошеин подошел к монументальным, с чугунными выкрутасами воротам института. Прямоугольные каменные тумбы ворот были настолько объемисты, что в левой свободно размещалось бюро пропусков, а в правой — проходная. Он открыл дверь. Старик Вахтерыч, древний страж науки, клевал носом за барьерчиком.

— Добрый вечер! — кивнул ему Кривошеин.

— Вечир добрый, Валентин Васильевич! — откликнулся Вахтерыч, явно не собираясь проверять пропуск: на проходной привыкли к визитам заведующего лабораторией новых систем в любое время дня и ночи.

Кривошеин, войдя в парк, оглянулся: верзила в плаще топтался возле ворот. «То-то, голубчик, — наставительно подумал Кривошеин. — Пропускная система — она себя оправдывает».

Окна флигеля были темны. Возле двери во тьме краснел огонек папиросы. Кривошеин присел под деревьями, приглядевшись и различил на фоне звезд форменную фуражку на голове человека. «Пет, хватит с меня на сегодня милиции. Надо идти домой...» — он усмехнулся, поправил себя: «К нему домой».

Он повернулся в сторону ворот, но вспомнил о субъекте в плаще, остановился. «Э, так будет не по правилам: выслеживаемому идти навстречу сыщику. Пусть поработает». Кривошеин направился в противоположный конец парка — туда, где ветви старого дуба нависли над чугунными копьями изгороди. Спрятался за ветви на тротуар и пошел в Академгородок.

«Все-таки что у него получилось? И кто этот парень, встретивший меня в аэропорту? Как меня телеграмма

сбила с толку: принял его за Вальку! Но ведь похож — и очень. Неужели? Валька явно не сидел этот год сложа руки. Напрасно мы не переписывались. Мелкачи, ах, какие мелкачи: каждый стремился доказать, что обойдется без другого, поразить через год при встрече своими результатами! Именно своим! Как же, высшая форма собственности... Вот и поразили. Мелкостью губим великое дело. Мелкостью, недомыслием, боязнью... Надо было не разбегаться в разные стороны, а с самого начала привлекать людей, стоящих и настоящих, как Вано Александрович, например. Да, но тогда я его не знал, а попробуй его привлечь теперь, когда он проносится мимо и смотрит чертом...»

...Все произошло весной, в конце марта, когда Кривошайн только начал осваивать управление обменом веществ в себе. Занятый собой, он не замечал примет весны, пока та сама не обратила его внимание на себя: с крыши пятиэтажного здания химкорпуса на него упала пудовая сосулька. Пролети она на сантиметр левее — и с опытами по обмену веществ внутри его организма, равно как и с самим организмом, было бы покончено. Но сосулька лишь рассекла правое ухо, переломила ключицу и сбила наземь.

— Ай, беда! Ай, какая беда!.. — приходя в себя, услышал он голос Андросиашвили. Тот стоял над ним на коленях, ощупывал его голову, расстегивал пальто на груди. — Я этого коменданта убивать буду, снег не чистит! — яростно потряс он кулаком. — Идти сможете? — он помог Кривошайну подняться. — Ничего, голова сравнительно цела, ключица страстется за пару недель, могло быть хуже... Держитесь, я отведу вас в поликлинику,

— Спасибо, Вано Александрович, я сам, — максимально бодро ответил Кривошайн, хотя в голове гудело, и даже выжал улыбку. — Я дойду, здесь близко...

И быстро, едва ли не бегом двинулся вперед.

Ему сразу удалось остановить кровь из уха. Но правая рука болталась плетью.

— Я позвоню им, чтобы приготовили электроспиватель! — крикнул вдогонку профессор. — Может быть, заштопают ухо!

У себя в комнате Кривошайн перед зеркалом скре-

пил две половинки разорванного по хрящу уха клейкой лентой, тампоном стер запекшуюся кровь. С этим он справился быстро: через десять минут на месте недавнего разрыва был лишь розоватый шрам в капельках сукровицы, а через полчаса исчез и он. А чтобы срастить перебитую ключицу, пришлось весь вечер лежать на койке и сосредоточенно командовать сосудами, железами, мышцами. Кость содержала гораздо меньше биологического раствора, чем мягкие ткани.

Утром он решил пойти на лекцию Андросиашвили. Пришел в аудиторию пораньше, чтобы занять далекое, незаметное место, и — столкнулся с профессором: тот указывал студентам, где развесить плакаты. Кривошайн попятился, но было поздно.

— Почему вы здесь? Почему не в клини... — Вано Александрович осекся, не сводя выпущенных глаз с уха аспиранта и с правой руки, которой тот сжимал тетрадь. — Что такое?!

— А вы говорили: десятки миллионов лет, Вано Александрович, — не удержался Кривошайн. — Все-таки можно не только «зубрежкой».

— Значит... получается?! — выдохнул Андросиашвили. — Как?!

Кривошайн закусил губу.

— М-м-м... позже, Вано Александрович, — неуклюже забормотал он. — Мне еще самому надо во всем разобраться...

— Самому? — поднял брови профессор. — Не хотите рассказывать? — его лицо стало холодным и высокомерным. — Ну, как хотите... прошу извинить! — и вернулся к столу.

С этого дня он с ледяной вежливостью кивал аспиранту при встрече, но в разговор не вступал. Кривошайн же, чтоб не так грызла совесть, ушел в экспериментирование над самим собой. Ему действительно многое еще предстояло выяснить.

«Разве мне не хотелось продемонстрировать открытие — пережить жгучий интерес к нему, восторги, славу... — шагая по каштановой аллее, оправдывался перед собой и незримым Андросиашвили Кривошайн. — Ведь в отличие от психопатов я мог бы все объяснить... Правда, к другим людям это пока неприменимо, не та у них кон-

ституция. Но, главное, доказана возможность, есть *знание*... Да, но если бы открытие ограничивалось лишь тем, что можно самому быстро залечивать раны, переломы, уничтожать в себе болезни! В том и беда, что природа никогда не выдает ровно столько, сколько нужно для блага людей, — всегда либо больше, либо меньше. Я получил больше... Я мог бы, наверно, превратить себя и в животное, даже в монстра... Это можно. Все можно — это-то и страшно», — Кривошеин вздохнул.

...Окно и застекленная дверь балкона на пятом этаже сумеречно светились — похоже, будто горела настольная лампа. «Значит, он дома?!» Кривошеин поднялся по лестнице, перед дверью квартиры по привычке пошарил по карманам, но вспомнил, что выбросил ключ еще год назад, ругнул себя — как было бы эффектно внезапно войти: «Ваши документы, гражданин!» Звонка у двери по-прежнему не было, пропись постучать.

В ответ послышались быстрые легкие шаги — от них у Кривошеина сильно забилось сердце, — щелкнул замок: в прихожей стояла Лена.

— Ох, Валька, жив, цел! — она обхватила его шею теплыми руками, быстро оглядела, погладила волосы, прижалась и расплакалась. — Валёк, мой родной... а я уж думала... тут такое говорят, такое говорят! Звоню к тебе в лабораторию — никто не отвечает... звоню в институт, спрашиваю: где ты, что с тобой? — кладут трубку... Я пришла сюда — тебя нет... А мне уже говорили, будто ты... — она всхлипнула сердито. — Дураки!

— Ну, Лен, будет, не надо... ну, что ты? — Кривошеину очень захотелось прижать ее к себе, он еле удерживал руки.

Будто и не было ничего: ни открытия № 1, ни года сумасшедшей напряженной работы в Москве, где он отмел от себя все давнее... Кривошеин не раз — для душевного покоя — намеревался вытравить из памяти образ Лены. Он знал, как это делается: бросок крови с повышенным содержанием глюкозы в кору мозга, небольшие направленные окисления в нуклеотидах определенной области — и информация стерлась из нервных клеток навсегда. Но не захотел... или не смог? «Хотеть» и «мочь» — как разграничишь это в себе? И вот сейчас у него на плече плачет любимая женщина — плачет от тревоги за него. Ее надо успокоить.

— Перестань, Лена. Все в порядке, как видишь.

Она посмотрела на него снизу вверх. Глаза были мокрые, радостные и виноватые.

— Валь... Ты не сердишься на меня, а? Я тогда тебе такое наговорила — сама не знаю что, дура просто! Ты обиделся, да? Я тоже решила, что... все кончено, а когда узнала, что у тебя что-то случилось... — она подняла брови, — не смогла. Вот прибежала... Ты забудь, ладно? Забыли, да?

— Да, — чистосердечно сказал Кривошеин. — Попали в комнату.

— Ох, Валька, ты не представляешь, как я напугалась, — она все держала его за плечи, будто боялась отпустить. — И следователь этот... вопросы всякие!

— Он и тебя вызывал?

— Да.

— Ага, ну конечно: «шерше ля фам»!

Они вошли в комнату. Здесь все было по-прежнему: серая тахта, дешевый письменный стол, два стула, книжный шкаф, заваленный сверху журналами до самого потолка, платяной шкаф с привинченным сбоку зеркалом. В углу возле двери лежали крест-накрест гантеля.

— Я, тебя дожидалась, прибрала немного. Пыли нанесло, балкон надо плотно закрывать, когда уходишь... — Лена снова приблизилась к нему. — Валь, что случилось-то?

«Если бы я знал!» — вздохнул Кривошеин.

— Ничего страшного. Так, много шуму...

— А почему милиция?

— Милиция? Ну... вызвали, она и приехала. Вызвали бы пожарную команду — приехала бы пожарная команда.

— Ой, Валька... — она положила руки на плечи Кривошеину, по-девчоночки сморщила нос. — Ну, почему ты такой?

— Какой? — спросил тот, чувствуя, что глупеет на глазах.

— Ну, такой — вроде и взрослый, а несолидный. И я, когда с тобой — девчонка девчонкой... Валь, а где Виктор, что с ним? Слушай, — у нее испуганно расширились глаза, — это правда, что он шпион?

— Виктор? Какой еще Виктор?

— Да ты что?! Витя Кравец — твой лаборант, племянник троюродный.

— Племянник... лаборант... — Кривошеин на миг растерялся. — Ага, понял! Вот оно что...

Лена всхлипнула ладонями.

— Валька, что с тобой? Ты можешь рассказать: что у вас там случилось?!

— Прости, Лен... затмение нашло, понимаешь, Ну, конечно, Петя... то есть Витя Кравец, мой верный лаборант, троюродный племянник... очень симпатичный парень, как же... — Женщина все смотрела на него большиими глазами. — Ты не удивляйся, Лен, это просто временное выпадение памяти, так всегда бывает после... после электрического удара. Пройдет, ничего страшного... Так, говоришь, уже пошел шепот, что он шпион? Ох, эта Академия наук!

— Значит, правда, что у тебя в лаборатории произошла... катастрофа?! Ну почему, почему ты все от меня скрываешь? Ведь ты мог там... — она прикрыла себе рот ладонью, — нет!

— Перестань, ради бога! — раздраженно сказал Кривошеин. Он отошел, сел на стул. — Мог — не мог, было — не было! Как видишь, все в порядке. («Хотел бы я, чтобы оказалось именно так!») Не могу я ничего рассказывать, пока сам не разберусь во всем как следует... И вообще, — он решил перейти в нападение, — что ты переживаешь? Ну, одним Кривошеиным на свете больше, одним меньше — велика беда! Ты молодая, красивая, бездетная — найдешь себе другого, получше, чем такой стареющий барбос, как я. Взять того же Петю... Витя Кравца: чем тебе не пара?

— Опять ты об этом? — она улыбнулась, зашла сзади, положила голову Кривошеина себе на грудь. — Ну, зачем ты все Витя да Витя? Да не нужен он мне. Пусть он какой ни есть красавец — он не ты, понимаешь? И все. И другие не ты. Теперь я это точно знаю.

— Гм?! — Кривошеин расправился.

— Ну, что «гм»! Ревнуга, глупый! Не сидела же я все вечера дома одна монашкой. Приглашали, интересно ухаживали, даже объясняли серьезность намерений... И все равно какие-то они не такие! — голос ее ликовал. — Не такие, как ты, — и все! Я все равно бы к тебе пришла...

Кривошеин чувствовал затылком тепло ее тела, чувствовал мягкие ладони на своих глазах и испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. «Вот так бы сидеть-си-

деть: просто я пришел с работы усталый — и она здесь... и ничего такого не было... Как ничего не было?! — он напрягся. — Все было! Здесь у них случилось что-то серьезное. А я сижу, крауду ее ласку!»

Он освободился, встал.

— Ну ладно, Лен. Ты извини, я не пойду тебя провожать. Посижу немножко да лягу спать. Мне не очень хорошо после... после этой передряги.

— Так я останусь?

Это был полу вопрос, полуутверждение. На секунду Кривошеина одолела яростная ревность. «Я останусь?» — говорила она — и он, разумеется, соглашался. Или сам говорил: «Оставайся сегодня, Ленок» — и она оставалась...

— Нет, Лен, ты иди, — он криво усмехнулся.

— Значит, все-таки злишься за то, да? — она с упреком взглянула на него, рассердилась. — Дурак ты, Валька! Дурак набитый, ну тебя! — и повернулась к двери.

Кривошеин стоял посреди комнаты, слушал: щелкнул замок, каблучки Лены застучали по лестнице... Хлопнула дверь подъезда... Быстрые и легкие шаги по асфальту. Он бросился на балкон, чтобы позвать, — вечерний ветерок отрезвил его. «Ну вот, увидел — и разомшел! Интересно, что же она ему наговорила? Ладно, к чертям эти прошлогодние переживания! — он вернулся в комнату. — Надо выяснить, в чем дело... Стоп! У него должен быть дневник. Конечно!»

Кривошеин выдвигал ящики в тумбах стола, выбирал на пол журналы, панки, скоросшиватели, бегло просматривал тетради. «Не то, не то...» На дне нижнего ящика он увидел магнитофонную катушку, на четверть заполненную лентой, и на минуту забыл о поисках: снял со шкафа портативный магнитофон, стер с него пыль, вставил катушку, включил «воспроизведение».

— По праву первооткрывателей, — после непродолжительного шипения сказал в динамиках магнитофона хрипловатый голос, небрежно выговаривая окончания слов, — мы берем на себя ответственность за исследование и использование открытия под названием...

— ...«Искусственный биологический синтез информации», — деловито вставил другой (хотя и точно такой же) голос. — Не очень благозвучно, но зато по существу.

— Идет... «Искусственный биологический синтез информации». Мы понимаем, что это открытие затрагивает жизнь человека, как никакое другое, и может стать либо

величайшей опасностью, либо благом для человечества. Мы обязуемся сделать все, что в наших силах, чтобы применить это открытие для улучшения жизни людей...

— Мы обязуемся: пока не исследуем все возможности открытия...

— ...и пока нам не станет ясно, как использовать его на пользу людям с абсолютной надежностью...

— ...мы не передадим его в другие руки...

— ...и не опубликуем сведения о нем.

Кривошеин стоял, прикрыв глаза. Он будто перенесся в ту майскую ночь, когда они давали эту клятву.

— Мы клянемся: не отдать наше открытие ни за благополучие, ни за славу, ни за бессмертие, пока не будем уверены, что его нельзя обратить во вред людям. Мы скорее уничтожим нашу работу, чем допустим это.

— Мы клянемся! — чуть вразнобой произнесли оба голоса хором. Лента кончилась.

«Горячие мы были тогда... Так, дневник должен быть поблизости». Кривошеин опять нырнул в тумбу, пошарил в нижнем ящике и через секунду держал в руках тетрадь в желтом картонном переплете, обширную и толстую, как книга. На обложке ничего написано не было, но тем не менее Кривошеин сразу убедился, что нашел то, что искал: год назад, приехав в Москву, он купил себе точно такую тетрадь в желтом переплете, чтобы вести дневник.

Он сел за стол, пристроил поудобнее лампу, закурил сигарету и раскрыл тетрадь.

ЧАСТЬ

Открытие себя

(О залоге,
который
многое
смож)

ВТОРАЯ

Глава первая

Относительность знаний — великая вещь. Утверждение «2 плюс 2 равно 13» относительно ближе к истине, чем «2 плюс 2 равно 41». Можно даже сказать, что переход к первому от второго есть проявление творческой зрелости, научного мужества и неслыханный прогресс науки — если не знать, что 2 плюс 2 равно четырем.

В арифметике мы это знаем, но ликоват разно. Например, в физике 2 плюс 2 оказывается меньше четырех — на деффект массы. А в таких тонких науках, как социология или этика, — так там не то что 2 плюс 2, но даже 1 плюс 1 — это то ли будущая семья, то ли говоров с целью ограбления банка.

К. Прутков-инженер, мысль № 5

«22 мая. Сегодня я проводил его на поезд. В вокзальном ресторане посетители разглядывали двух взрослых близнецов. Я чувствовал себя неуютно. Он благодушествовал.

— Помнишь, пятнадцать лет назад я... — собственно, ты — уезжал штурмовать экзамены в физико-технический? Все было так же: полоса отчуждения, свобода, неизвестность...

Я помнил. Да, было так же. Тот самый официант с выражением хронического недовольства жизнью на толстом лице обслуживал вырвавшихся на волю десятиклассников. Тогда нам казалось, что все впереди; так оно и было. Теперь и позади немало всякого: и радостного, и серенького, и такого, что оглянуться боязно, а все кажется: самое лучшее, самое интересное впереди.

Тогда пили найдешевейший портвейн. Теперь официант принес нам «КБВК». Выпили по рюмке.

В ресторане было суетно, шумно. Люди торопливо ели и пили.

— Смотри, — оживился дубль, — вон мамаша кормит двух близнецов. Привет, коллеги! У, какие глазенки... Какими они станут, а? Пока что их опекает мама — и они вон даже кашей ухитрились перемазаться одинаково. Но через пару лет за них возьмется другая хлопотливая мамаша — Жизнь. Один, скажем, ухватит курицу за хвост, выдерет все перья — первый набор неповторимых впечатлений, поскольку на долю другого перьев не останется. Зато другой заблудится со страшным ревом в магазине — опять свое, индивидуальное. Еще через год мама устроит ему выволочку за варенье, которое слопал

не он. Опять разное: один познает первую в жизни несправедливость, другой — безнаказанность за проступок... Ох, мамаша, смотрите: если так пойдет, то из одного вырастет запуганный неудачник, а из второго — ловчил, которому все сходит с рук. Наплачетесь, мамаша... Вот и мы с тобой вроде этих близнецовых.

— Ну, нас неправедная трепка с пути не сбьет — не тот возраст.

— Выпьем за это!

Объявили посадку. Мы вышли на перрон. Он разглагольствовал:

— А интересно, как теперь быть с железобетонным тезисом: «Кому что на роду написано, то и будет»? Допустим, тебе было что-то «на роду написано» — в частности, однозначное перемещение в пространстве и во времени, продвижение по службе и так далее. И вдруг — трибле-трабле-бумс! — Кривошеиных двое. И они ведут разную жизнь в разных городах. Как теперь насчет божественной программы жизни? Или бог писал ее в двух вариантах? А если нас станет десять? А не захотим — и не станет...

Словом, мы оба прикидывались, что происходит обыкновенное: «Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих!» Билеты не остались. Поезд увез его в Москву.

Договорились писать друг другу по необходимости (могу биться об заклад, он такую необходимость ощутит не скоро), встретиться в июле следующего года. Этот год мы будем наступать на работу с двух сторон: он от биологии, я от системологии. Ну-ну...

Когда поезд ушел, я почувствовал, что мне его будет не хватать. Видимо, потому, что впервые я был с другим человеком, как... как с самим собой, иначе не скажешь. Даже между мной и Ленкой всегда есть недосказанное, непонятное, чисто личное. А с ним... впрочем, и с ним у нас тоже кое-что накопилось за месяц совместной жизни. Занятная она, эта хлопотливая мамаша Жизнь!

Я размяк от коньяка и, возвращаясь с вокзала, вовсю глазел на жизнь, на людей. Женщины с озабоченными лицами заходят в магазины. Парни везут на мотоциклах прижимающихся девушек. У газетных киосков выстраиваются очереди — вот-вот подвезут «Вечерку»... Лица человеческие — какие они все разные, какие понятные и непонятные! Не могу объяснить, как это выходит, но о

многих я будто что-то знаю: уголки рта, резкие или мелкие морщины, складки на шее, ямочки щек, угол челюсти, посадка головы и глаза — особенно глаза! — все это знаки дословесной информации. Наверно, от тех времен, когда все мы были обезьянами.

Еще недавно я всего этого просто не замечал. Не замечал, например, что люди, стоящие в очереди, некрасивы. Банальность и пустяковость такого занятия, опасение, что не хватит, что кто-то проворный пролезет вперед, накладывают скверный отпечаток на их лица. И пьяные некрасивы, и скандалящие.

Зато поглядите на девушку, влюбленно смеющуюся шутке парня. На мать, кормящую грудью. На мастера, делающего тонкую работу. На размышляющего о чем-то хорошем человека... Они красивы, несмотря на неуместные прыщики, складки, морщины.

Я никогда не понимал красоты животных. По-моему, красивым бывает только человек — и то лишь когда он человек.

Вот ведомый мамой малыш загляделся на меня, как на чудо, шлепнулся и заревел, обижаясь на земное тяготение. Мама, натурально, добавила от себя... Зря пострадал пацан: какое я чудо? Так, толстеющий мужчина с сутулой спиной и банальной физиономией.

А может, прав малыш: я действительно чудо? И каждый человек — чудо?

Что мы знаем о людях? Что я знаю о себе самом? В задаче под названием «жизнь» люди — это то, что дано и не требуется доказать. Но каждый, оперируя с исходными данными, доказывает что-то свое. Вот дубль, например. Он уехал — это и неожиданно и логично...

Впрочем, стоп! Если уж начинать, то с самого начала.

Смешно вспомнить... В сущности, мои намерения были самые простые: сделать диссертацию.

Но строить нечто посредственное и компилятивное (в духе, например, предложенной мне моим бывшим шефом профессором Вольтамперновым темы «Некоторые особенности проектирования диодных систем памяти») было и скучно и противно. Все-таки я живой человек — хочется, чтоб была нерешенная проблема, чтоб влезть ей в душу, с помощью рассуждений, машин и приборов допросить природу с пристрастием. И добить то, чего еще никто не знал. Или выдумать то, до чего никто еще не дошел. И чтобы на защите задавали вопросы, на которые

было бы приятно отвечать. И чтобы потом знакомые сказали: «Ну, ты дал! Молоток!» Тем более что я могу. На людях это объявлять не стоит, а в дневнике можно: могу. Пять изобретений и две законченные исследовательские работы тому подтверждение. Да и это открытие... э, нет. Кривошein, не торопись причислять его к своим интеллектуальным заслугам! Здесь ты запутался и до сих пор не можешь распутаться.

Словом, это брожение души и толкнуло меня в дебри того направления мировой системологии, где основным оператором является не формула, не алгоритм, даже не рецепт, а случай.

Мы — по ограниченности ума своего — обожаем противопоставлять: физиков — лирикам, волну — частице, растения — животным, машины — людям... Но в жизни и в природе все это не противостоит, а дополняет друг друга. Точно так же логика и случай взаимно дополняют друг друга в познании, в поисках решений. Можно найти (и находят) немало недоказанного, произвольного в математических и логических построениях; можно найти и логичные закономерности в случайных событиях.

Например, идеяный враг случайного поиска доктор технических наук Вольтампернов никогда не упускал случая отбиться от моего предложения (заняться в отделе моделированием случайных процессов) остротой: «Но это же будет, тэк-скэйт, моделирование на кофейной гуще!» Это ли не лучшая иллюстрация такой дополнительности!

А возразить было трудно. Достижений в этом направлении было мало, многие работы оканчивались неудачами, а идеи... идеи не доходили. В нашем отделе, как на ковбойском Западе, верили лишь в голые факты.

Я уже подумывал по примеру Валерки Иванова, моего товарища и бывшего начальника лаборатории, расплеваться с институтом и перебраться в другой город. Но — вот он, случай-кореш! — вполне причинно строители не сдали новый корпус, столь же причинно не истрачены деньги по принципу обоснованным статьям институтского бюджета, и Аркадий Аркадьевич объявляет «конкурс» на расходование восьмидесяти тысяч рублей под идею. Уверен, что тут самый ярый защитник детерминизма постарался бы не оплошать.

Идея к тому времени у меня очертилась: исследовать,

как будет вести себя электронная машина, если ее «писать» не разжеванной до двойчных чисел программой, а обычной — осмыслинной и произвольной — информацией. Именно так. По программам-то она работает с восхитительным для корреспондентов блеском. («Новый успех науки: машина проектирует цех за три минуты!» — ведь программисты по скромности своей обычно умалчивают, сколько месяцев они готовили это «трехминутное» решение.)

Что и говорить, мой замысел в элементарном исполнении представлял очевидный для каждого грамотного системолога собачий бред: никак не будет машина себя вести, остановится — и все! Но я и не рассчитывал на элементарное исполнение.

...Истратить за пять недель до конца бюджетного года восемьдесят тысяч на оснащение лаборатории даже такого вольного профиля, как случайный поиск, — дело серьезное; недаром снабженческий гений институтского масштаба Альтер Абрамович до сих пор проникновенно и уважительно жмет мне руку при встречах. Впрочем, снабженцу не дано понять, что идея и нестерпимое желание выйти на оперативный простор могут творить чудеса.

Итак, ситуация такая: деньги есть — ничего нет. Строителям на то, чтобы они в лучшем виде сдали флигель-мастерскую, — пять тысяч. (Они меня хотели катить: «Милый! План закроем, премию получим... дашь!»). Универсальная вычислительная машина дискретного действия ЦВМ-12 — еще тринадцать тысяч. Все возможные датчики информации: микрофоны пьезоэлектрические, щупы тензометрические гибкие, фототранзисторы германиевые, газоанализаторы, термисторы, комплект для электромагнитного считывания биопотенциалов мозга с системой СЭД-1 на четыре тысячи микроэлектродов, пульсометры, влагоанализаторы полупроводниковые, матрицы «читающие» фотоэлементные... словом, все, что пре-вращает звуки, изображения, запахи, малые давления, температуру, колебания погоды и даже движения души в электрические импульсы, — еще девять тысяч. На четыре тысячи я накупил реактивов разных, лабораторного стекла, химической оснастки всякой — из смутных соображений применить и хемотронику, о которой я что-то слышал. (А если уж совсем откровенно, то потому, что это легко было купить в магазине по безналичному рас-

чету. Вряд ли надо упоминать, что наличными из этих восьмидесяти тысяч я не потратил ни рубля.)

Все это годилось, но не хватало стержня эксперимента. Я хорошо представлял, что нужно: коммутирующее устройство, которое могло бы переключать и комбинировать случайные сигналы от датчиков, чтобы потом передать их «разумной» машине — этакий кусочек «электронного мозга» с произвольной схемой соединений нескольких десятков тысяч переключающих ячеек... В магазине такое не купишь даже по безналичному расчету — нет. Накупить деталей, из которых строят обычные электронные машины (диоды, триоды, сопротивления, конденсаторы и пр.), да заказать? Долго, а то и вовсе нереально: ведь для заказа надо дать подробную схему, а в таком устройстве *в принципе* не должно быть определенной схемы. Вот уж действительно: пойди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что!

И снова случай-друг подариł мне это «не знаю что» и — Лену... Впрочем, стоп! — здесь я не согласен списывать все на удачу. Встреча с Леной — это, конечно, подарок судьбы в чистом виде. Но что касается кристаллоблока... ведь если думаешь о чем-то днями и ночами, то всегда что-нибудь да придумаешь, найдешь, заметишь.

Словом, ситуация такая: до конца года три недели, «не освоены» еще пятьдесят тысяч, видов найти коммутирующее устройство никаких, и я еду в троллейбусе.

— Накупили на пятьдесят тысяч твердых схем, а потом выясняется, что они не проходят по ОТУ! — возмущалась впереди меня женщина в коричневой шубке, обращаясь к соседке. — На что это похоже?

— С ума сойти, — ответствовала та.

— Теперь Пшембаков валит все на отдел снабжения. Но ведь заказывал их он сам!

— Вы подуумайте!

Слова «пятьдесят тысяч» и «твёрдые схемы» меня напугали.

— Простите, а какие именно схемы?

Женщина повернула ко мне лицо, такое красивое и сердитое, что я даже оробел.

— «Не-или» и триггеры! — сгоряча ответила она.

— И какие параметры?

— Низковольт... простите, а почему вы вмешиваетесь в наш разговор?!

Так я познакомился с инженером соседнего КБ Еле-

ной Ивановной Коломиец. На следующий день инженер Коломиец заказала ведущему инженеру Кривошеину пропуск в свой отдел. «Благодетель! Спаситель! — раскинул объятия начальник отдела Жалбек Балбекович Пшембаков, когда инженер Коломиец представила меня и объяснила, что я могу выкупить у КБ злосчастные твердые схемы. Но я согласился облагодетельствовать и спасти Жалбека Балбековича на таких условиях: а) все 38 тысяч ячеек будут установлены на панелях согласно прилагаемому эскизу, б) связаны шинами питания, в) от каждой ячейки выведены провода и г) все это должно быть сделано до конца года.

— Производственные мощности у вас большие, вам это нетрудно.

— За те же деньги?! Но ведь сами ячейки стоят пятьдесят тысяч!

— Да, но ведь они оказались не по ОТУ. Уцените.

— Бай ты, а не благодетель, — грустно сказал Жалбек и махнул рукой. — Оформляйте, Елена Ивановна, пустим как наш заказ. И вообще, возлагаю это дело на вас.

Да благословит аллах имя твое, Жалбек Пшембаков!

...Я и по сей день подозреваю, что покорил Лену не своими достоинствами, а тем, что, когда все ячейки были собраны на панелях и грани микроэлектронного куба представляли собою нивы разноцветных проволочек, на ее растерянный вопрос: «А как же теперь их соединять?» — лихо ответил:

— А как хотите! Синие с красными — и чтоб было приятно для глаз.

Женщины уважают безрассудность.

Вот так все и получилось. Все-таки случай — он свое действие оказывает...

(Ох, похоже, что у меня за время этой работы выработалось преклонение перед случаем! Фанатизм новообращенного... Ведь раньше я был, если честно сказать, байбак байбаком, проповедовал житейское смирение перед «несчастливым» случаем (ничего, мол, не попишешь) и презрение к упущеному «счастливому» (ну и пусть...); за такими высказываниями, если разобраться, всегда прячутся наша душевная лень и нерасторопность. Теперь же я стал понимать важное свойство случая — в жизни или в науке, все равно: его одной рассудочностью не возьмешь. Работа с ним требует от человека быстроты и цеп-

кости мышления, инициативы, готовности перестроить свои планы... Но преклоняться перед ним столь же глупо, как и презирать его. Случай не враг и не друг, не бог и не дьявол; он — случай, неожиданный факт, этим все сказано. Овладеть им или упустить его — зависит от человека. А те, кто верит в везение и судьбу, пусть покупают лотерейные билеты!

— Все-таки «лаборатория случайных поисков» — слишком одиозное название, — сказал Аркадий Аркадьевич, подписывая приказ об образовании неструктурной лаборатории и назначении ведущего инженера Кривошеина ее заведующим с возложением на такового материальной, противопожарной и прочих ответственостей. — Не следует давать пищу анекдотам. Назовем осторожней, скажем, «лаборатория новых систем». А там посмотрим.

Это означало, что сотворение диссертации по-прежнему оставалось для меня «проблемой № 1». Иначе — «там посмотрим»... Проблема эта не решена мною и по сей день».

Глава вторая

Если распознающая машина — персептрон на рисунок слона отзывается сигналом «мур», на изображение верблюда — тоже «мур» и на портрет видного ученого — опять-таки «мур», это не обязательно означает, что она неисправна. Она может быть просто философски настроена.

Н. Прутков-инженер, мысль № 30

«Конечно, я мечтал — для души, чтоб работалось веселее. Да и как не мечтать, когда властитель умов в кибернетике, доктор нейрофизиологии Уолтер Росс Эшби выдает идеи одна завлекательнее другой! Случайные процессы как источник развития и гибели любых систем... Усиление умственных способностей людей и машин путем отделения в случайных высказываниях ценных мыслей от вздора и сбоев... И наконец, шум как сырье для выработки информации — да, да, тот «белый шум», та досадная помеха, на устранение которой из схем на полупроводниках лично я потратил не один год работы и не одну идею!»

Вообще-то, если разобраться, основоположником этого направления надо считать не доктора У. Р. Эшби, а того ныне забытого режиссера Большого театра в Москве, который первым (для создания грозного ронота народа в «Борисе Годунове») приказал каждому статисту повторять свой домашний адрес и номер телефона. Только Эшби предложил решить обратную задачу. Берем шум — шум прибоя, шипение угольного порошка в микрофоне под током, какой угодно, — подаем его на вход некоего устройства. Из шумового хаоса выделяем самые крупные «всплески» — получается последовательность импульсов. А последовательность импульсов — это двоичные числа. А двоичные числа можно перевести в десятичные числа. А десятичные числа — это номсра: цапример, номера слов из словаря для машинного перевода. А набор слов — это фразы. Правда, пока еще всякие фразы: ложные, истинные, абракадабра — информационное «сырье». Но в следующем каскаде устройства встречаются два потока информации: известная людям и это «сырье». Операции сравнения, совпадения и несовпадения — и все бессмысленное отфильтровывается, бапальное взаимно вычитается. И выделяются оригинальные новые мысли, несделанные открытия и изобретения, произведения еще не родившихся поэтов и прозаиков, высказывания философов будущего... уфф! Машинна-мыслитель!

Правда, почтенный доктор не рассказал, как это чудо сделать, — его идея воплощена пока только в квадратики, соединенные стрелками на листе бумаги. Вообще вопрос «как сделать?» не в почете у академических мыслителей. «Если абстрагироваться от трудностей технической реализации, то в принципе можно представить...» Но как мне от них абстрагироваться?

Ну, да что ты! На то я и экспериментатор, чтобы проверять идеи. На то у меня и лаборатория: стены благоухают свежей масляной краской, коричневый линолеум еще не затоптан, шумят воздуховка, в шкафу сверкают посуда и банки с реактивами, на монтажном стеллаже лежат новенькие инструменты, бухты разноцветных проводов и паяльники с красными, еще не покрытыми окалиной жалами. На столах лоснятся зализанными пластмассовыми углами приборы — и стрелки в них еще не погнуты, шкалы не запылены. В книжном шкафу выстроились справочники, учебники, монографии. А посередине комнаты высятся в освещении низкого январского

солнца параллелепипеды ЦВМ-12 — цифропечатающих автоматов, ажурный и пестрый от проводов куб кристаллоблока. Все невенькое, незахватанное, без царапин, все излучает мудрую, выпестованную поколениями мастеров и инженеров рациональную красоту.

Как тут не размечтаться? А вдруг получится?! Впрочем, для себя я мечтал более смиренно: не о сверхмашине, которая окажется умнее человека (эта идея мне вообще не по душе, хоть я и системотехник), а о машине, которая будет понимать человека, чтобы лучше делать свое дело. Тогда мне эта идея казалась доступной. В самом деле, если машина от всего того, что я ей буду говорить, показывать и так далее, обнаружит определенное поведение, то проблема исчерпана. Это значит, что она через свои датчики стала видеть, слышать, обонять в ясном человеческом смысле этих слов, без кавычек и оговорок. А ее поведение при этом можно приспособить для любых дел и задач — на то она и универсальная вычислительная машина.

Да, тогда, в январе, мне это казалось доступным и простым; море было по колено... Ох, эта вдохновляющая сила приборов! Фантастические зеленые петли на экранах, уверенно-держанное гудение трансформаторов, не-преложные перешелки реле, вспышки сигнальных лампочек на пульте, точные движения стрелок... Кажется, что все измеришь, постигнешь, сделаешь, и даже обыкновенный микроскоп внушает уверенность, что сейчас (при увеличении 400 и в дважды поляризованном свете) увидишь то, что еще никто не видел!

Да что говорить... Какой исследователь не мечтал перед началом новой работы, не примерялся мыслью и воображением к самым высоким проблемам? Какой исследователь не испытывал того всесокрушающего нетерпения, когда стремишься — скорей! скорей! — закончить нудную подготовительную работу — скорей! скорей! — собрать схему опыта, подвести питание и начать!

А потом... потом ежедневные лабораторные заботы, ежедневные ошибки, ежедневные неудачи вышибают дух из твоих мечтаний. И согласен уже на что-нибудь, лишь бы не зря работать.

Так получилось и у меня.

Описывать неудачи — все равно что переживать их заново. Поэтому буду краток. Значит, схема опыта такая: к входам ЦВМ-12 подсоединяется кристаллоблок о

38 тысячах ячеек, а к входам кристаллоблока — весь про чий инвентарь: микрофоны, датчики запахов, влажности, температуры, тензометрические щупы, фотоматрицы с фокусирующей насадкой, «шапку Мономаха» для считывания биотоков мозга. Источник внешней информации — это я сам, то есть нечто двигающееся, звучащее, меняющее формы и свои координаты в пространстве, обладающее температурой и нервными потенциалами. Можно увидеть, услышать, потрогать щупами, измерить температуру и давление крови, проанализировать запах изо рта, даже залезть в душу и в мысли — пожалуйста! Сигналы от датчиков должны поступать в кристаллоблок, возбуждать там различные ячейки — кристаллоблок формирует и «упаковывает» сигналы в логичные комбинации для ЦВМ-12 — она расправляется с ними, как с обычными задачами, и выдает на выходе нечто осмысленное. Чтобы ей это легче было делать, я ввел в память машины все числа-слова из словаря машинного перевода от «А» до «Я».

И... ничего. Сельсин-моторчики, тонко подыгрывая, водили щупами и объективами, когда я перемещался по комнате. Контрольные осциллографы показывали вереницу импульсов, которые проскачивали от кристаллоблока к машине. Ток протекал. Лампочки мигали. Но в течение первого месяца рычажки цифропечатающего автомата ни разу не дернулись, чтобы отступать на перфоленте хоть один знак.

Я утыкал кристаллоблок всеми датчиками. Я пел и читал стихи, жестикулировал, бегал и прыгал перед объективами; раздевался и одевался, давал себя ощупывать (брр-р! — эти холодные прикосновения щупов...). Я надевал «шапку Мономаха» и — о господи! — старался «внушить»... Я был согласен на любую абракадабру.

Но ЦВМ-12 не могла выдать абракадабру, не так она устроена. Если задача имеет решение — она решает, нет — останавливается. И она останавливалась. Судя по мерцанию лампочек на пульте, в ней что-то переключалось, но каждые пять-шесть минут вспыхивал сигнал «стоп», я нажимал кнопку сброса информации. Все начиналось сначала.

Наконец я принялся рассуждать. Машина не могла не производить арифметических и логических операций с импульсами от кристаллоблока — иначе что же ей еще делать? Значит, и после этих операций информация по-

лучается настолько сырой и противоречивой, что машина, образно говоря, не может свести логические концы с концами — и стоп! Значит, одного цикла вычислений в машине просто мало. Значит... и здесь мне, как всегда в подобных случаях, стало неловко перед собой, что не додумался сразу, — значит, надо организовать *обратную связь* между машиной (от тех ее блоков, где еще бродят импульсы) и кристаллоблоком! Ну, конечно: тогда сырая информация из ЦВМ-12 вернется на входы этого хитрого куба, переработается там еще раз, пойдет в машину и так далее, до полной ясности.

Я воспрянул: ну, теперь!.. Далее можно абстрагироваться от воспоминаний о том, как сгорели полторы сотни логических ячеек и десяток матриц в машине из-за того, что не были согласованы режимы ЦВМ и кристаллоблока (дым, вонь, транзисторы палият, как патроны в печке, а я, вместо того чтобы вырубить напряжение на щите, хватаю со стены огнетушитель), как я добывал новые ячейки, паяя переходные схемы, заново подгоняя режимы всех блоков — трудности технической реализации, о чём разговор. Главное — дело сдвинулось с места!

15 февраля в лаборатории раздался долгожданный перестук: автомат отбил на перфоленте строчку чисел! Вот она, первая фраза машины (прежде чем расшифровать ее, я ходил вокруг стола, на котором лежал клочок ленты, курил и опустошенно как-то улыбался: машина начала *вести себя*...): «Память 10⁷ бит».

Это было не то, что я ждал. Поэтому я не сразу понял, что машина «желает» (не могу все же писать такое слово без кавычек!) увеличить объем памяти.

Собственно говоря, все было логично: поступает сложная информация, ее необходимо куда-то девать, а блоки памяти уже забиты. Увеличить объем памяти! Обычная задача на конструирование машин.

Если бы не уважение Альтера Абрамовича, просьба машины осталась бы без последствий. Но он выдал мне три куба магнитной памяти и два — сегнетоэлектрической. И все пошло в дело: спустя несколько дней ЦВМ-12 повторила требование, потом еще и еще... У машины прорезались серьезные запросы...

Что я тогда чувствовал? Удовлетворение: наконец что-то получается! Примерял результат к будущей диссертации. Несколько смущало, что машина работает лишь «на себя».

Затем машина начала конструировать себя! В сущности, и это было логично; сложную информацию и перерабатывать надо более сложными схемами, чем стандартные блоки ЦВМ-12.

Работы у меня прибавилось. Печатающий автомат выстукивал коды и номера логических ячеек, сообщал, куда и как следует их подсоединить. Поначалу машину удовлетворяли типовые ячейки. Я монтировал их на дополнительной панели.

(Только сейчас начинаю понимать: именно тогда я допустил, если судить с академических позиций, крупную методологическую ошибку в работе. Мне следовало на этом остановиться и проанализировать, какие схемы и какую логику строит для себя мой комплекс: датчики — кристаллоблок — ЦВМ-12 с усиленной памятью. И, только разобравшись во всем, двигаться дальше... Да и то сказать: машина, конструирующая себя без заданной программы, — это же сенсационная диссертация! Если хорошо подать, мог бы прямо на докторскую защититься.

Но разобрало любопытство. Комплекс явно стремился развиваться. Но зачем? Чтобы понимать человека? Непохоже: машину пока явно устраивало, что я понимаю ее, прилежно выполняю заказы... Люди делают машины для своих целей. Но у машины-то какие могут быть цели?! Или это не цель, а некий первородный «инстинкт накопления», который, начиная с определенной сложности, присущ всем системам, будь то червь или электронная машина? И до каких пределов развития дойдет комплекс?

Именно тогда я выпустил вожжи из рук — и до сих пор не знаю: плохо или хорошо я сделал...)

В середине марта машина, видимо, усвоив с помощью «шапки Мономаха» сведения о новинках электроники, стала запрашивать криозары и криотроны, тунNELьные транзисторы, пленоочные схемы, микроматрицы... Мне стало вовсе не до анализа: я рыскал по институту и по всему городу, интриговал, льстил, выменивал на что угодно эти «модные» новинки.

И все напрасно! Месяц спустя машина «разочаровалась» в электронике и... «увлеклась» химией.

Собственно, и в этом не было ничего неожиданного: машина выбрала наилучший способ конструировать себя. Ведь химия — это путь природы. У природы не было ни паяльников, ни подъемных кранов, ни сварочных станков,

ни моторов, ни даже лопаты — она просто смешивала растворы, нагревала и охлаждала их, освещала, выпаривала... так и получилось все живое на Земле.

В том-то и дело, что в действиях машины все было последовательно и логично! Даже ее пожелания, чтобы я надел «шапку Мономаха», — а их она выстукивала чем дальше, тем чаще, — тоже были прозрачные. Чем перерабатывать сырую информацию от фото-, звуко-, запахо- и прочих датчиков, лучше использовать переработанную мною. В науке многие так делают.

Но бог мой, какие только реактивы не требовала машина: от дистиллированной воды до триметилдифторпарааминтетрахлорфенилсульфата натрия, от ДНК и РНК до бензина марки «Галоша»! А какие замысловатые технологические схемы приходилось мне собирать!

Лаборатория на глазах превращалась в пещеру средневекового алхимика; ее заполнили бутыли, двугорлые колбы, автоклавы, перегородочные кубы — я соединял их шлангами, стеклянными трубками, проводами. Запас реактивов и стекла исчерпался в первую же неделю — приходилось добывать еще и еще.

Благородные, ласкающие обоняние электрика запахи канифоли и нагретой изоляции вытеснили болотные миазмы кислот, аммиака, уксуса и черт знает чего еще. Я бродил в этих химических джунглях как потерянный. В кубах и шлангах булькало, хлюпало, вздыхало. Смеси в бутылках и колбах пузырились, бродили, меняли цвет; в них выпадали какие-то осадки, растворялись и зарождались вновь желобобразные пульсирующие комки, клубки колышущихся серых нитей. Я доливал и досыпал реактивы по численным заказам машины и уже ничего не понимал...

Потом вдруг машина выступала заказ еще на четыре печатающих автомата. Я ободрился: все-таки машина интересуется не только химией! — развел деятельность, добыл, подсоединил... и понял!

(Паверто, у меня тогда получился тот самый эпидемический «усилитель отбора информации» или что-то близкое к нему... Впрочем, шут его знает! Именно тогда я за-путался окончательно.)

Теперь в лаборатории стало пумно, как в машиноис-ном бюро: автоматы строчили числа. Бумажные ленты с колонками цифр лезли из прямоугольных зевов, будто каша из сказочного горшочка. Я сматывал ленты в ру-

лоны, выбирал числа, разделенные просветами, переводил их в слова, составлял фразы.

«Истины» получались какие-то странные, загадочные. Ну, например: «...двадцать шесть копеек, как с Бердичева» — одна из первых. Что это: факт, мысль? Или намек? А вот эта: «Луковица будто рана стальная...» — похоже на «Улица будто рана сквозная...» Маяковского. Но какой в ней смысл? Что это — жалкое подражание? Или, может, поэтическое открытие, до которого нынешние поэты еще не дошли?

Расшифровываю другую ленту: «Нежность душ, расположенная в ряд Тейлора, в пределах от нуля до бесконечности сходится в бигармоническую функцию». Отлично сказано, а?

И вот так все: либо маловразумительные обрывки, либо «что-то шизофреническое». Я собрался было отнести несколько лент матлингвистам — может, они осилят? — но передумал, побоялся скандала. Бразумительную информацию выдавал лишь первый автомат: «Добавить такие-то реактивы в колбы № 1, № 3 и № 7», «Уменьшить на 5 вольт напряжение на электродах от 34-го до 123-го» и т. д. Машина не забывала «питаться» — значит, она не «сошла с ума». Тогда кто же?..

Самым мучительным было сознание, что ничего не можешь поделать. И раньше у меня в опытах случалось непонятное, но там можно было, на худой конец, тщательно повторить опыт: если сгинул дурной эффект — туда ему и дорога, если нет — исследуем. А здесь — ни переиграть, ни повернуть назад. Даже в снах я не видел ничего, кроме извивающихся белых змей в чешуе чисел, и напрягался в тоскливой попытке понять: что же хочет сообщить машина?

Я уже не знал, куда девать рулоны перфолент с числами. У нас в институте их используют двояко: те, на которых запечатлены решения новых задач, сдают в архив, а прочие сотрудники разносят по домам и применяют как туалетную бумагу — очень практично. Моих рулонон хватило бы уже на все туалеты Академгородка.

...И когда хорошим апрельским утром (после бессонной ночи в лаборатории) я выполнял все прихоти машины: доливал, досыпал, регулировал...) автомат № 3 выдал мне в числах фразу «Стрептоцидовый стриптиз с трепетом стрептококков...», я понял, что дальше по этому пути идти не надо.

Я вынес все рулоны на полянку в парке, растрепал их (кажется, я даже приговаривал: «Стрептоцид, да?! Бердичев?! Нежность душ?! Луковица...» — точно не помню) и поджег. Сидел около костра, грелся, курил и понимал, что эксперимент провалился. И не потому, что ничего не получилось, а потому, что вышла «каша»... Когда-то мы с Валеркой Ивановым смеха ради сплавили в вакуумной печи «металлополупроводниковую кашу» из всех материалов, что были тогда под рукой. Получился восхитительной расцветки слиток; мы его разбили для исследований. В каждой крошке слитка можно было обнаружить любые эффекты твердого тела — от туннельного до транзисторного, — и все они были зыбкие, неустойчивые, невоспроизводимые. Мы выбросили «кашу» в мусорный ящик.

Здесь было то же самое. Смысл научного решения в том, чтобы из массы свойств и эффектов в веществе, в природе, в системе, в чем угодно выделить нужное, а прочее подавить. Здесь это не удалось. Машина не научилась понимать мою информацию... Я направился в лабораторию, чтобы выключить напряжение.

И в коридоре мне на глаза попался бак — великолепный сосуд из прозрачного тефлона размерами $2 \times 1,5 \times 1,2$ метра; я его приобрел тогда же в декабре с целью употребить тефлон для всяких поделок, да не понадобилось. Этот бак навел меня на последнюю и совершенно уж диковинную мысль. Я выставил в коридор все печатающие автоматы, на их место установил бак, свел в него провода от машины, концы труб, отростки шлангов, вылил и высипал остатки реактивов, залил водой поднявшуюся вонь и обратился к машине с такой речью:

— Хватит чисел! Мир нельзя выражать в двоичных числах, понятно? А даже если и можно, какой от этого толк? Попробуй-ка по-другому: в образах, в чем-то вещественном... черт бы тебя побрал!

Запер лабораторию и ушел с твердым намерением отдохнуть, прийти в себя. Да и то сказать: последнюю неделю я просто не мог спать по ночам.

...Это были хорошие десять дней — спокойные и благоустроенные. Я высипался, делал зарядку, принимал душ. Мы с Ленкой ездили на мотоцикле за город, ходили в кино, бродили по улицам, целовались. «Ну, как там наши твердые схемы? — спрашивала она. — Не размякли еще?» Я отвечал что-нибудь ей в тон и переводил раз-

говор на иные предметы. «Мне нет дела ни до каких схем, машин, опытов! — напоминал я себе. — Не хочу, чтобы однажды меня увезли из лаборатории очень веселого и в рубашке с не по росту длинными рукавами!»

Но внутри у меня что-то щемило. Бросил, убежал — а что там сейчас делается? И что же это было? (Я уже думал об эксперименте в прошедшем времени: было...) Похоже, что с помощью произвольной информации я возбудил в комплексе какой-то процесс синтеза. Но что за синтез такой дурной? И синтез чего?»

Глава третья

Официант обернулся бутылку полотенцем и откупорил ее. Зал наполнился ревом и дымом, из него под потолком вырисовались небритые щеки и зеленая чалма.

— Что это?
— Это... это джинн!
— Но ведь я заказывал шампанское! Принесите жалобную книгу.

Современная сказка

«...Человек шел навстречу мне по асфальтовой дорожке. За ним зеленели деревья, белели колонны старого институтского корпуса. В парке все было обыкновенно. Я направлялся в бухгалтерию за авансом. Человек шагал чуть враскачу, махал руками и не то чтобы прихрамывал, а просто ставил правую ногу осторожней, чем левую; последнее мне особенно бросилось в глаза. Ветер хлопал полами его плаща, трепал рыжую шевелюру.

Мысль первая: где я видел этого типа?

По мере того как мы сближались, я различал покатый лоб с залысинами и крутыми надбровными дугами, плоские щеки в рыжей недельной щетине, толстый нос, высокомерно поджатые губы, скучливо сопчуренные веки... Нет, мы определенно виделись, эту заносчивую физиономию невозможно забыть. А челюсть — бог мой! — такую только по праздникам надевать.

Мысль вторая: поздороваться или безразлично пройти мимо?

И в этот миг вся окрестность перестала для меня существовать. Я споткнулся на ровном асфальте и стал. Навстречу мне шел я сам.

Мысль третья (обреченная): «Ну, вот...»

Человек остановился напротив.

— Привет!

— Пппривет... — Из мгновенно возникшего в голове хаоса выскоцила спасительная догадка. — Вы что, из киностудии?

— Из киностудии?! Узнаю свою самонадеянность! — губы двойника растянулись в улыбке. — Нет, Валек, фильм о нас студии еще не планируют. Хотя теперь... кто знает!

— Послушайте, я вам не Валек, а Валентин Васильевич Кривошеин! Всякий нахал...

Встречный улыбнулся, явно наслаждаясь моей злостью. Чувствовалось, что он более готов к встрече и упивается выигрышностью своего положения.

— И... извольте объяснить: кто вы, откуда взялись на территории института, на какой предмет загrimировались и вырядились под меня?!

— Изволю, — сказал он. — Валентин Васильевич Кривошеин, завлабораторией новых систем. Вот мой пропуск, если угодно, — и он действительно показал мой застасканный пропуск. — А взялся я, понятное дело, из лаборатории.

— Ах, даже так? — В подобной ситуации главное — не утратить чувство юмора. — Очень приятно познакомиться. Валентин, значит, Васильевич? Из лаборатории? Так, так... ага... м-да.

И тут я поймал себя на том, что верю ему. Не из-за пропуска, конечно, у нас на пропуске и вахтера не проведешь. То ли я некстати сообразил, что рубец над бровью и коричневая родинка на щеке, которые я в зеркале вижу слева, на самом деле должны быть именно на правой стороне лица. То ли в самой повадке собеседника было нечто исключавшее мысль о розыгрыше... Мне стало страшно: неужели я свихнулся на опытах и столкнулся со своей раздвоившейся личностью? «Хоть бы никто не увидел... Интересно, если смотреть со стороны — я один или нас двое?»

— Значит, из лаборатории? — Я попытался подловить его. — А почему же вы идете от старого корпуса?

— Заходил в бухгалтерию, ведь сегодня двадцать второе. — Он вытащил из кармана пачку пятирублевок, отсчитал часть. — Получи свою долю.

Я машинально взял деньги, пересчитал. Спохватился:

— А почему только половина?

— О господи! — Двойник выразительно вздохнул. — Нас же теперь двое!

(Этот подчеркнутый выразительный вздох... никогда не стану так вздыхать. Оказывается, вздохом можно унизить. А его дикция — если можно так сказать о всяком отсутствии дикции! — неужели я тоже так сплевываю слова с губ?)

«Я взял у него деньги — значит, он существует, — соображал я. — Или и это обман чувств? Черт побери, я исследователь, и чихать я хотел на чувства, пока не пойму, в чем дело!»

— Значит, вы настаиваете, что... взялись из запертой и опечатанной лаборатории?

— Угу, — кивнул он. — Именно из лаборатории. Из бака.

— Даже из бака, скажите пожал... Как из бака?!

— Так, из бака. Ты бы хоть скобы предусмотрел, еле вылез...

— Слушай, ты это брось! Не думаешь же ты всерьез убедить меня, что тебя... то есть меня... нет, все-таки тебя сделала машина?

Двойник опять вздохнул самым унижающим образом.

— Я чувствую, тебе еще долго придется привыкать к тому, что это случилось. А мог бы догадаться. Ты же видел, как в колбах возникла живая материя?

— Мало ли что! Плесень я тоже видел, как она возникает в сырых местах. Но это еще не значило, что я присутствовал при зарождении жизни... Хорошо, допустим, в колбах и сотворилось что-то живое — не знаю, я не биолог. Но при чем здесь ты?

— То есть как это при чем?! — Теперь пришла его очередь взъираться. — А что же, по-твоему, она должна создать: червя? лошадь? осьминога?! Машина накапливалася и перерабатывала информацию о тебе: видела тебя, слышала, обоняла и осязала тебя, считывала биотоки твоего мозга! Ты ей глаза намозолил! Вот и пожалуйста. Из деталей мотоцикла можно собрать лишь мотоцикл, а отнюдь не пылесос.

— Хм... ну, допустим. А откуда ботинки, костюм, пропуск, плащ?

— О черт! Если она произвела человека, то что ей стоит вырастить плащ?!

(Победный блеск глаз, непреложные жесты, высокомерные интонации... Неужели и я так постыдно нетерпим, когда чувствую превосходство хоть в чем-то?)

— Вырастить? — я пощупал ткань его плаща. Меня пробрал озноб: плащ был *не такой*.

Огромное вмещается в голове не сразу, во всяком случае в моей. Помню, студентом меня прикрепили к делегату молодежного фестиваля, юноше-охотнику из таймырской тундры; я водил его по Москве. Юноша невозмутимо и равнодушно смотрел на бронзовые скульптуры ВДНХ, на эскалаторы метро, на потоки машин, а по поводу высотного здания МГУ высказался так: «Из жердей и шкур можно построить маленький чум, из камня — большой...» Но вот в вестибюле ресторана «Норд», куда мы зашли перекусить, он носом к носу столкнулся с чучелом белого медведя с подносом в лапах — и замер, пораженный!

Подобное произошло со мной. Плащ двойника очень походил на мой, даже чернильное пятно красовалось именно там, куда я посадил его, стряхивая однажды авторучку. Но ткань была более эластичная и будто жирная, пуговицы держались не на нитках, а на гибких отростках. Швов в ткани не было.

— Скажи, а он к тебе не прирос? Ты можешь его снять?

Двойник окончательно взбеленился:

— Ну, хватит! Не обязательно раздевать меня на таком ветру, чтобы удостовериться, что я — это ты! Могу и так все объяснить. Рубец над бровью — это с коня слетел, когда батя учил верховой езде! На правой ноге порвана коленная связка — футбол на первенство школы! Что тебе еще напомнить? Как в детстве втихую верил в бога? Или как на первом курсе хвастал ребятам по комнате, что познал не одну женщину, хотя на самом деле потерял невинность на преддипломной практике в Таганроге?

(«Вот сукин сын! И выбрал же...»)

— М-да... Ну, знаешь, если ты — это я, то я от себя не в восторге.

— Я тоже, — буркнул он. — Я считал себя сообразительным человеком... — лицо его вдруг напряглось. — Тсс, не оборачивайся!

Позади меня послышались шаги.

— Приветствуя вас, Валентин Васильевич! — произ-

нес голос Гарри Хилобока, доцента, кандидата, секретаря и сердцееда институтских масштабов.

Я не успел ответить. Двойник роскошно осклабился, склонил голову:

— Добрый день, Гарри Харитонович!

В свете его улыбки мимо нас проследовала пара. Пухленькая черноволосая девушка бойко отстукивала каблучками-гвоздиками по асфальту, и Хилобок, приоравливаясь к ее походке, семенил так, будто и на нем была узкая юбка.

— ...Возможно, я не совсем точно понял вас, Людочка, — журчал его баритон, — но я, с точки зрения недопонимания, высказываю свои соображения...

— У Гарри опять новая, — констатировал двойник. — Вот видишь: Хилобок и тот меня признает, а ты сомневаешься. Пошли-ка домой!

Только полной своей растерянностью могу объяснить, что покорно поплелся за ним в Академгородок.

В квартире он сразу направился в ванную. Послышался шум воды из душа, потом он высунулся из двери:

— Эй, первый экземпляр или как там тебя! Если хочешь убедиться, что у меня все в порядке, прошу. Заодно намылиши мне спину.

Я так и сделал. Это был живой человек. И тело у него было мое. Кстати, но ожидал увидеть у себя такие могучие жировые складки на животе и на боках. Надо почще упражняться с гантелями!

Пока он мылся, я ходил по комнате, курил и пытался привыкнуть к факту: машина создала человека. Машина воспроизвела меня... О природа, неужели это возможно?! Средневековые завириальные идеи насчет «гогмункулюса»... Мысль Винера о том, что информацию в человеке можно «развернуть» в последовательность импульсов, передать их на любое расстояние и снова записать в человека, как изображение на телевизоре... Доказательства Эшби, что между работой мозга и работой машины нет принципиальной разницы — впрочем, еще ранее это доказывал Сеченов... Но ведь все это умные разговоры для разминки мозгов; попробуй на их основе что-то сделать!

И выходит, сделано? Там, за дверцей, плещется и со вкусом отфыркивается не Иванов, Петров, Сидоров —

тех бы я послал подальше, — но «я... А эти рулоны с числами? Выходит, я сжег «бумажного себя»?!

Из комбинаций чисел я силился выбрать коротенькие приемлемые истины, а машина копнула глубже. Она накапливалась информацию, комбинировала ее так и этак, сравнивала по каналам обратной связи, отбирала и усиливала нужное и на каком-то этапе сложности «открыла» Жизнь!

А потом машина развила ее до уровня человека. Но почему? Зачем? Я же этого не добивался!

Сейчас, по здравому размышлению, я могу свести концы с концами: да, получилось именно то, чего я «добивался»! Я хотел, чтобы машина понимала человека — и только. «Вы меня понимаете?» — «О да!» — отвечает собеседник, и оба, довольные друг другом, расходятся по своим делам. В разговоре это сходит с рук. Но в опытах с логическими автоматами так легко путать понимание и согласие мне не следовало. Поэтому (лучше позже, чем никогда!) стоит разобраться: что есть понимание?

Есть практическое (или целевое) понимание. В машину закладывают программу, она ее понимает — делает то, что от нее ждут. «Тобик, куси!» — и Тобик радостно хватает прохожего за штаны. «Цоб!» — и волы поворачивают направо. «Щобэ!» — налево. Такое примитивное понимание типа «цоб-цобэ» доступно многим живым и неживым системам. Оно контролируется по достижению цели, и, чем примитивней система, тем проще должна быть цель и тем подробней программирование задачи.

Но есть и другое понимание — взаимопонимание: полная передача своей информации другой системе. А для этого система, которая усваивает информацию, должна быть никак не проще той, что передает... Я не задал машине цель — все ждал, когда она закончит конструировать и усложнять себя. А она не кончала и не кончала — и естественно: ее «целью» стало полное понимание моей информации, да но только словесной, а любой. («Цель» машины — это опять произвольное понятие, им тоже баловаться не стоит. Просто — информационные системы ведут себя по законам, чем-то похожим на начала термодинамики; и моя система «датчики — кристаллоблок — ЦВМ-12» должна была прийти в информационное равновесие со средой — как болванка в печи должна прийти в температурное равновесие с жаром углей). Такое равно-

весие и есть взаимопонимание. Ни на уровне схем, ни на уровне простых организмов к нему не прийти.)

Вот так все и получилось. На взаимопонимание человека способен только человек. На хорошее взаимопонимание — очень близкий человек. На идеальное — только ты сам. И мой двойник — продукт информационного равновесия машины со мной. Но, кстати сказать, клювики «информационных весов» так и не сровнялись — я не присутствовал в лаборатории в это время и не столкнулся со свежевозникшим дублем, как с отражением в зеркале, — носом к носу. А дальше и вовсе все у нас пошло по-разному.

Словом, ужас как бесполково я поставил опыт. Только и моего, что сообразил паладить обратную связь...

Интересно переиграть: если бы явел эксперимент строго, логично, обдуманно, отсекал сомнительные варианты — получил бы я такой результат? Да никогда в жизни! Получился бы благополучный кандидатско-докторский вериак — и все. Ведь в науке в основном происходят вещи посредственные — и я приучил себя к посредственному.

Значит, все в порядке? Почему же грызет досада, неудовлетворенность? Почему я все возвращаюсь к этим промахам и ошибкам? Ведь получилось... Что, вышло не по правилам? А есть ли правила для открытий? Многое случайного, не можешь приписать все своему «научному видению»? А открытие Гальвани, а Х-лучи, а радиоактивность, а электронная эмиссия, а... да любое открытие, с которого начинается та или иная наука, связано со случаем. Многое еще не понимаю? Тоже как у всех, нечего пытаться!

Откуда же это саморастерзание?

Э, дело, видимо, в другом: сейчас так работать нельзя. Уж очень нынче наука серьезная пошла, не то что во времена Гальвани и Рентгена. Вот так, не подумав, можно однажды открыть и способ мгновенного уничтожения Земли — с блестящим экспериментальным подтверждением...

Дубль выпел из ванной порозовевший и в моей пижаме, пристроился к зеркалуичесываться. Я подошел, стал рядом: из зеркала смотрели два одинаковых лица. Только волосы у него были темнее от влаги.

Он достал из шкафа электробритву, включил ее. Я наблюдал, как он бреется, и чувствовал себя едва ли не в гостях: настолько по-хозяйски непринужденными были его движения.

Я не выдержал:

— Слушай, ты хоть осознаешь необычность ситуации?
— Чего? — Он скосил глаза. — Не мешай! — Он явно был по ту сторону факта...»

Аспирант отложил дневник, покачал головой: нет, Валька-оригинал не умел читать в душах!

...Он тоже был потрясен. По ощущениям получалось, будто он проснулся в баке, понимая все: где находится и как возник. Собственно, его открытие начиналось уже тогда... А хамил он от растерянности. И еще, пожалуй, потому, что искал линию поведения — такую линию, которая не пизвела бы его в экспериментальные разцы.

Он снова взялся за дневник.

«...— Но ведь ты появился из машины, а не из чрева матери! Из машины, понимаешь!

— Ну так что? А появиться из чрева, по-твоему, просто? Рождение человека куда более таинственное событие, чем мое появление. Здесь можно проследить логическую последовательность, а там? Мальчик получится или девочка? В панцу пойдет или в маму? Умный вырастет или дурак? Сплошной туман! Нам это дело кажется обыкновенным лишь из-за своей массовости. А здесь: машина записала информацию — и воспроизвела ее. Как магнитофон. Конечно, лучше бы она воспроизвела меня, скажем, с Эйнштейна... но что поделаешь! Ведь и на магнитофоне если записаны «Гоп, мои гречаники...», то не надеялся услышать симфонию Чайковского.

Нет, чтобы я был таким хамом! Видно, он остро чувствовал щекотливость своего появления на свет, своего положения и не хотел, чтобы я это понял. А чего там не понять: возник из колб и бутылок, как средневековый гомункулюс, и бесится... Я часто замечал: люди, которые чуют за собой какую-то неполноценность, всегда нахальнее и хамовитее других.

И он стремился вести себя с естественностью ново-

рожденного. Тот ведь тоже не упивается значением события (Человек родился!), а сразу начинает скандалить, сосать грудь и пачкать шеленки...»

Аспирант Кривошеин только вздохнул и перевернул страницу.

«— Ну, а чувствуешь-то ты себя нормально?

— Вполне! — Он освежал лицо одеколоном. — С чего бы мне чувствовать себя ненормально? Машина — устройство без фантазии. Представляю, что бы она наворотила, будь у нее воображение! А так все в порядке: я не урод с двух головах, молод, здоров, наполнение пульса отличное. Сейчас поужинаю и поеду к Ленке. Я по ней соскучился.

— Что-о-о-о?! — я подскочил к нему.

Он смотрел на меня с интересом, в глазах появились шкодливые искорки.

— Да, ведь мы теперь соперники! Послушай, ты как-то примитивно к этому относишься. Ревность — чувство пошлое, пережиток. Да и к кому ревновать, рассуди здраво: если Лена будет со мной, разве это значит, что она изменила тебе? Изменить можно с другим мужчиной, не-похожим, более привлекательным, например. А я для нее — это ты... Даже если у нас с ней пойдут дети, то нельзя считать, что она наставила тебе рога. Мы с тобой одинаковые — и всякие там гены, хромосомы у нас тоже... Э-э, осторожней!

Ему пришлось прикрыться дверцей шкафа. Я схватил гантель с пола, двинулся к нему:

— Убью гада! На логику берешь... я тебе покажу логику, гомункулюс! Я тебя породил, я тебя и убью, понял? Думать о ней не смей!

Дубль бесстрашно выступил из-за шкафа. Уголки рта у него были опущены.

— Слушай, ты, Тарас Бульба! Положи гантель! Если уж ты начал так говорить, то давай договоримся до полной ясности. «Гомункулюс» и «убью» я оставляю без внимания как продукты твоей истеричности. А вот что касается цитат типа «я тебя породил...» — так ты меня не породил. Я существую не благодаря тебе, и насчет моей подчиненности тебе лучше не заблуждаться...

— То есть как?..

— А так. Положи гантель, я серьезно говорю. Я, если быть точным, возник против твоих замыслов, просто потому, что ты вовремя не остановил опыт, а дальше и хотел бы, да поздно. То есть, — он скверно усмехнулся, — все аналогично той ситуации, в которой и ты когда-то появился на свет по небрежности родителей...

(Все знает, смотри-ка! Было. Матушка моя однажды, после какой-то моей детской шкоды, сказала, чтобы слушался и ценил:

— Хотела я сделать аборт, да передумала. А ты...

Лучше бы она этого не говорила. Меня не хотели. Меня могло не быть!)

— ...Но в отличие от мамы ты меня не вынашивал, не рожал в муках, не кормил и не одевал, — продолжал дубль. — Ты меня даже не спас от смерти, ведь я существовал и до этого опыта: я был ты. Я тебе не обязан ни жизнью, ни здоровьем, ни инженерным образованием — ничем! Так что давай на равных.

— И с Леной на равных?

— С Леной... я не знаю, как быть с Леной. Но ты... ты... — он, судя по выражению лица, хотел что-то прибавить, но воздержался, только резко выдохнул воздух, — ты должен так же уважать мои чувства, как я твои, понял? Ведь я тоже люблю Ленку. И знаю, что она моя — моя женщина, понимаешь? Я знаю ее тело, запах кожи и волос, ее дыхание... и как она говорит: «Ну, Валек, ты как медведь, право!» — и как она морщит нос...

Он вдруг осекся. Мы посмотрели друг на друга, пораженные одной и той же мыслью.

— В лабораторию! — я первый кинулся к вешалке».

Глава четвертая

Если тебе хочется такси, а судьба предлагает автобус — выбирай автобус, ибо он следует по расписанию.

К. Прутков-инженер, мысль № 90

«Мы бежали по парку напрямик; в ветвях и в наших ушах свистел ветер. Небо застилали тучи цвета асфальта.

В лаборатории пахло теплым болотом. Лампочки под потолком маячили в тумане. Возле своего стола я наступил на шланг, который раньше здесь не лежал, и отдернул ногу: шланг стал извиваться!

Колбы и бутыли покрылись рыхлым серым налетом; что делалось в них — не разобрать. Журчали струйки воды из дистилляторов, щелкали реле в термостатах. В дальнем углу, куда уже не добираться из-за переплетения проводов, трубок, шлангов, мигали лампочки на пульте ЦВМ-12.

Шлангов стало куда больше, чем раньше. Мы пробирались среди них, будто сквозь заросли лиан. Некоторые шланги сокращались, проталкивали сквозь себя какие-то комки. Стены бака тоже обросли серой плесенью. Я очистил ее рукавом.

...В золотисто-мутной среде вырисовывался силуэт человека. «Еще дубль?! Нет...» Я всмотрелся. В ванне наметились контуры женского тела, и очертания этого тела я не спутал бы ни с каким другим. Напротив моего лица колыхалась голова без волос.

Была какая-то сумасшедшая логика в том, что именно сейчас, когда мы с дублем схлестнулись из-за Лены, машина тоже пыталась решить эту задачу. Я испытывал страх и внутренний протест.

— Но... ведь машина ее не знает!

— Зато ты знаешь. Машина воспроизводит ее по твоей памяти...

Мы говорили почему-то шепотом.

— Смотри!

За призрачными контурами тела Лены стал вырисовываться скелет. Ступни уплотнились в белые фаланги пальцев, в суставы; обозначились берцовые и голенистые кости. Изогнулся похожий на огромного кольчатого червя позвоночник, от него разветвились ребра, выросли топорики лопаток. В черепе наметились швы, обрисовались ямы глазниц... Не могу сказать, что это приятное зрелище — скелет любимой женщины, — но я не мог оторвать глаз. Мы видели то, чего еще никто не видел на свете: как машина создает человека!

«По моей памяти, по моей памяти... — лихорадочно соображал я. — Но ведь ее недостаточно. Или машина усвоила общие законы построения человеческого тела? Откуда — ведь я их не знаю!»

Кости в баке начали обрасти прозрачно-багровыми

полосами и свивами мышц, а они подернулись желтоватым, как у курицы, жирком. Красным пунктиром пронизала тело кровеносная система. Все это колебалось в растворе, меняло очертания. Даже лицо Лены с опущенными веками, за которыми виднелись водянистые глаза, искали грифасы. Машина будто примеривалась, как лучше скомпоновать человека.

Я слишком слабо знаком с анатомией вообще и женского тела в частности, чтобы оценить, правильно или нет строила машина Лену. Но вскоре почуял неладное. Первоначальные контуры ее тела стали изменяться. Плечи, еще несколько минут назад округлые, приобрели угловатость и раздались вширь... Что такое?

— Ноги! — дубль сильно сжал мое предплечье. — Смотри, ноги!

Я увидел внизу жилистые ступни под сорок второй размер ботинок — и от догадки меня прошиб холодный пот: машина исчерпала информацию о Лене и достраивает ее моим телом! Я повернулся к дублю: у него лоб тоже блестел от пота.

— Надо остановить!

— Как? Вырубить ток?

— Нельзя, это сотрет память в машине. Дать охлаждение?

— Чтобы затормозить процесс? Не выйдет, у машины большой запас тепла...

А искаженный образ в баке приобретал все более ясные очертания. Вокруг тела заколыхалась прозрачная мантия — я узнал фасон простенького платья, в котором Лена мне больше всего правилась. Машина с добросовестностью идиота напяливала его на свое создание...

Надо приказать машине, внушить... но как?

— Верно! — дубль подскочил к стеклянному шкафчику, взял «шапку Мономаха», нажал на ней кнопку «Трансляция» и протянул мне. — Надевай и пенавидь Ленку! Думай, что хочешь ее уничтожить... ну!

Я сгоряча схватил блестящий колпак, повертел в руках, вернул.

— Не смогу...

— Тюта! Что же делать? Ведь это скоро откроет глаза...

Он плотно натянул колпак и стал кричать напропалую, размахивая кулаками:

— Остановись, машина! Остановись сейчас же, слы-

шишь! Ты создаешь не макет, не опытный образец — человека! Остановись, идиотице! Остановись по-хорошему!

— Остановись, машина, слышишь! — Я повернулся к микрофонам. — Остановись, а то мы уничтожим тебя!

Тошно вспоминать эту сцену. Мы, привыкшие нажатием кнопки или поворотом ручки прекращать и направлять любые процессы, кричали, объясняли... и кому? — скопищу колб, электронных схем и шлангов. Тыфу! Это была паника.

Мы еще что-то орали противными голосами, как вдруг шланги около бака затряслись от энергичных сокращений, овеществленный образ-гибрид затянула белая муть. Мы замолкли. Через три минуты муть прояснилась. В золотистом растворе не было ничего. Только переливы и блики растекались от середины к краям.

— Ф-фу... — сказал дубль. — До меня раньше как-то не доходило, что человек на семьдесят процентов состоит из воды. Теперь дошло...

Мы выбрались к окну. От влажной духоты мое тело покрылось липким потом. Я расстегнул рубашку, дубль сделал то же. Наступал вечер. Небо очистилось от туч. Стекла институтского корпуса напротив как ни в чем не бывало отражали багровый закат. Так они отражали его в каждый ясный вечер: вчера, месяц, год назад — когда этого еще не было. Природа прикидывалась, будто ничего не произошло.

У меня перед глазами стоял обволакивающий прозрачными тканями скелет.

— Эти анатомические подробности, эти грифасы... бrrr! — сказал дубль, опускаясь на стул. — Мне и Лену что-то расхотелось видеть.

Я промолчал, потому что он выразил мою мысль. Сейчас-то все прошло, по тогда... одно дело знать, пусть даже близко, что твоя женщина — человек из мяса, костей и внутренностей, другое дело — увидеть это.

Я достал из стола лабораторный журнал, просмотрел последние записи — куцые и бессодержательные. Это ведь когда опыт получается, как задумал, или хорошая идея пришла в голову, то расписывается подробно; а здесь было:

«8 апреля. Раскодировал числа, 860 строк. Неудачно.

9 апреля. Раскодировал выборочно числа с пяти рулонов. Ничего не понял. Шизофрения какая-то!

10 апреля. Раскодировал с тем же результатом. Долил в колбы и бутыли: №1, 3 и 5 глицерина по 2 л; № 2 и 7 — раствора тиомочевины по 200 мл; во все — дистиллята по 2—3 л.

11 апреля. «Стрептоцидовый стриптиз с трепетом стрептококков». Ну — все...»

А сейчас возьму авторучку и запишу: «22 апреля. Комплекс воспроизвел меня, В. В. Кривошеина. Кривошиц № 2 сидит рядом и чешет подбородок». Анекдот!

И вдруг меня подхватила волна сатанинской гордости. Ведь открытие-то есть — да какое! Оно вмещает в себя и системологию, и электронику, и бионику, и химию, и биологию — все, что хотите, да еще сверх того что-то. И сделал его я! Как сделал, как достиг — вопрос второй. Но главное: я! Я!!! Теперь пригласить Государственную комиссию да продемонстрировать возникновение в баке нового дубля... Представляю, какие у всех будут лица! И знакомые теперь уж точно скажут: «Ну ты да-ал!», скажут: «Вот тебе и Кривошин!» И Вольтампернов пребежит смотреть... Я испытывал неудержимое желание захихикать; только присутствие собеседника остановило меня.

— Да что знакомые, Вольтампернов, — услышал я свой голос и не сразу понял, что это произнес дубль. — Это, Валек, Нобелевская премия!

«А и верно: Нобелевская! Портреты во всех газетах... И Ленка, которая сейчас относится ко мне несколько свысока — конечно, она красавая, а я нет! — тогда поймет... И посредственная фамилия Кривошин (я как-то искал в энциклопедии знаменитых однофамильцев — и не нашел: Кривошлыков есть, Кривоногов есть, а Кривошиных еще нет) будет звучать громеподобно: Кривошин! Тот самый!..»

Мне стало не по себе от этих мыслей. Честолюбивые мечтания сгинули. Действительно: что же будет? Что делать с этим открытием дальше?

Я захлоинул журнал.

— Так что: будем производить себе подобных? Устроим демпинг Кривошиных? Впрочем, и других можно, если их записать в машину... Черт те что! Как-то это... ни в какие ворота не лезет.

— М-да. А все было тихо-мирно... — дубль покрутил головой.

Вот именно: все было тихо-мирно... «Хорошая погода,

девушка. Вам в какую сторону?» — «В противоположную!» — «И мне туда, а как вас зовут?» — «А вам зачем?» — ну и так далее, вплоть до Дворца бракосочетаний, родильного дома, порции ремня за убитую из рогатки кошку и скитающейся после окончания семи классов ненавистной «Зоологии». Как хорошо сказано в статье председателя Днепровской конторы загса: «Семья есть способ продолжения рода и увеличения населения государства». И вдруг — да здравствует наука! — появляется конкурентный способ: засыпаем и заливаем реактивы из прейскуранта Главхимторга, вводим через систему датчиков информацию — получаем человека. Причем сложившегося, готового: с мышцами и инженерной квалификацией, с привычками и жизненным опытом... «Выходит, мы замахиваемся на самое человечное, что есть в людях: на любовь, на отцовство и материнство, на детство! — Меня стал пробирать озноб. — И выгодно. Выгодно — вот что самое страшное в наш рационалистический век!»

Дубль поднял голову, в глазах у него были тревога и замешательство.

— Слушай, но почему страшно? Ну, работали — точнее, ты работал. Ну, сделал опытную установку, а на ней открытие. Способ синтеза информации в человека — заветная мечта алхимиков. Расширяет ваши представления о человеке как информационной системе... Ну, и очень приятно! Когда-то короли щедро ассигновали такие работы... правда, потом рубили головы неудачливым исследователям, но если подумать, то и правильно делали: не можешь — не берись. Но нам-то ничего не будет. Даже наоборот. Почему же так страшно?

«Потому что сейчас не средние века, — отвечал я себе. — И не прошлое столетие. И даже не начало XX века, когда все было впереди. Тогда первооткрыватели имели моральное право потом развести руками: мы, мол, не знали, что так скверно выйдет... Мы, их счастливые потомки, такого права не имеем. Потому что мы знаем. Потому что все уже было.

...Все было: газовые атаки — по науке; Майданеки и Освенцимы — по науке; Хиросима и Нагасаки — по науке. Планы глобальной войны — по науке, с применением математики. Ограниченные войны — тоже по науке... Десятилетия минули с последней мировой войны: разобрали и застроили развалины, сгнили и смешались

с землей 50 миллионов трупов, народились и выросли новые сотни миллионов людей — а память об этом не слабеет. И помнить страшно, а забыть еще страшнее. Поэтому что это не стало прошлым. Осталось знание: люди это могут.

Первооткрыватели и исследователи — всего лишь специалисты своего дела. Чтобы добыть у природы новые знания, им приходится ухлопать столько труда и изобретательности, что на размыщение не по специальности: а что из этого в жизни получится? — ни сил, ни мыслей не остается. И тогда набегают те, кому это «по специальности»: людишки, для которых любое изобретение и открытие — лишь новый способ для достижения старых целей: власти, богатства, влияния, почестей и покупных удовольствий. Если дать им наш способ, они увидят в нем только одно «новое»: выгодно! Дублировать знаменитых певцов, актеров и музыкантов? Нет, не выгодно: грампластинки и открытки выпускать прибыльнее. А выгодно будет производить массовым тиражом людей для определенного назначения: избирателей для победы над политическим противником (рентабельнее, чем тратить сотни миллионов на обычную избирательную кампанию), женщин для публичных домов, работников дефицитных специальностей, солдат-сверхсрочников... можно и специалистов посмирней с узко направленной одаренностью, чтобы делали новые изобретения и не совались не в свои дела. Человек для определенного назначения, человек-вещь — что может быть хуже! Как мы распоряжаемся с вещами и машинами, исполнившими назначение, отслужившими свое? В переплавку, в костер, под пресс, на свалку. Ну, и с людьми-вещами можно так же».

— Но ведь это там... — неопределенно указал рукой дубль. — У нас общественность не допустит.

«А разве нет у нас людей, которые готовы употребить все: от идей коммунизма до фальшивых радиопередач, от служебного положения до цитат из классиков, — чтобы достичь благополучия, известного положения, а потом еще большего благополучия для себя, и еще, и еще, любой ценой? Людей, которые малейшее покушение на свои привилегии норовят истолковать как всеобщую катастрофу?»

— Есть, — кивнул дубль. — И все же люди — в основном народ хороший, иначе мир давно бы превратился в клубок кусающих друг друга подонков и сгинул бы

без всякой термоядерной войны. Но... Ведь если не считать мелких природных неприятностей: наводнений, землетрясений, вирусного гриппа — во всех своих бедах, в том числе и в самых ужасных, виноваты сами люди. Виноваты, что подчинялись тому, чему не надо подчиняться, соглашались с тем, чему надо противостоять, считали свою хату с краю. Виноваты тем, что выполняли работу, за которую больше платят, а не ту, что нужна всем людям и им самим... Если бы большинство людей на Земле соразмеряло свои дела и занятия с интересами человечества, нам нечего было бы опасаться за это открытие. Но этого нет. И поэтому, окажись сейчас в опасной близости от него хоть один влиятельный и расторопный подлец — наше открытие обернется страшилищем.

Потому что применение научных открытий — это всего лишь техника. Когда-то техника была выдумана для борьбы человека с природой. Теперь ее легко обратить на борьбу людей с людьми. А на этом пути техника никаких проблем не решает, только плодит их. Сколько сейчас в мире научных, технических, социальных проблем вместо одной, решенной два десятилетия назад: как синтезировать гелий из водорода?

Выдадим мы на-гора свое открытие — и жить станет еще страшнее. И будет нам «слава»: каждый человек будет точно знать, кого и за что проклясть.

— Слушай, а может... и вправду? — сказал дубль. — Ничего мы не видели, ничего не знаем. Хватит с людей страшных открытий, пусть управятся хоть с теми, что есть. Вырубим напряжение, перекроем краны... А?

«И сразу — никакой задачи. Израсходованные реактивы спишу, по работе отчитаюсь как-нибудь. И займусь чем-то попроще, поневиннее...»

— А я уеду во Владивосток монтировать оборудование в портах, — сказал дубль.

Мы замолчали. За окном над черными деревьями пылала Венера. Плакала где-то кошка голосом ребенка. В тишине парка висела высокая воющая нота — это в Ленкином КБ шли стендовые испытания нового реактивного двигателя. «Работа идет. Что ж, все правильно: 41-й год не должен повториться... — Я раздумывал над этим, чтобы оттянуть решение. — В глубоких шахтах рвутся плутониевые и водородные бомбы — высокооплачиваемым ученым и инженерам необходимо совершенствовать ядерное оружие... А на бетонных площадках и

в бетонных колодцах во всех уголках планеты смотрят в небо остроносые ракеты. Каждая нацелена на свой объект, электроника в них включена, вычислительные машины непрерывно прощупывают их «тестами»: нет ли где неисправности? Как только истекает определенный исследованиями по надежности срок службы электронного блока, тотчас техники в мундирах отключают его, вынимают из гнезда и быстро, слаженно, будто вот-вот начнется война, в которой надо успеть победить, вталкивают в пустое гнездо новый блок. Работа идет.

— Вздор! — сказал я. — Человечество для многое не созрело: для ядерной энергии, для космических полетов — так что? Открытие — это объективная реальность, его не закроешь. Не мы, так другие дойдут — исходная идея опыта проста. Ты уверен, что они лучше распоряжаются открытием? Я — нет... Поэтому надо думать, как сделать, чтобы это открытие не стало угрозой для человека.

— Сложно... — вздохнул дубль, поднялся. — Я посмотрю, что там в баке делается.

Через секунду он вернулся. На нем лица не было.

— Валька, там... там батя!

У радиотов есть верная примета: если сложная электронная схема заработала сразу после сборки, добра не жди. Если она на испытаниях не забарахлит, то перед приемочной комиссией осрамит разработчиков; если комиссию пройдет, то в серийном производстве начнет обнаружаться недоделка за недоделкой. Слабина всегда обнаружится.

Машин вознамерилась прийти в информационное равновесие уже не со мной, непосредственным источником информации, а со всей информационной средой, о которой узнала от меня, со всем миром. Поэтому возникла Лена, поэтому появился отец.

Поэтому же было и все остальное, над чем мы с дублем хлоягали без отдыха целую неделю. Эта деятельность машины была продолжением прежней логической линии развития; но технически это была попытка с негодными средствами. Вместо «модели мира» в баке получился бред...

Не могу писать о том, как в баке возникал отец, — страшно. Таким он был в день смерти: рыхлый, грузный

старик с широким бритым лицом, размытая седина волос вокруг черепа. Машина выбрала самое последнее и самое тяжелое воспоминание о нем. Умирал он при мне, уже перестал дышать, а я все старался отогреть холодеющее тело...

Потом мне несколько раз снился один и тот же сон: я что есть силы трухолодное на ощупь тело отца — и оно теплеет, батя начинает дышать, сначала прерывисто, предсмертно, потом обыкновенно — открывает глаза, встает с постели. «Прихворнул немножко, сынок, — говорит извиняющимся голосом. — Но все в порядке». Этот сон был как смерть наоборот.

А сейчас машина создавала его, чтобы он еще раз умер при нас. Разумом мы понимали, что никакой это не батя, а очередной информационный гибрид, которому нельзя дать завершиться; ведь неизвестно, что это будет — труп, сумасшедшее существо или еще что-то. Но ни он, ни я не решались надеть «шапку Мономаха», скомандовать машине: «Нет!» Мы избегали смотреть на бак и друг на друга.

Потом я подошел к щиту, дернул рубильник. На миг в лаборатории стало темно и тихо.

— Что ты делаешь?! — дубль подскочил к щиту, врубил энергию.

Конденсаторы фильтров не успели разрядиться за эту секунду, машина работала. Но в баке все исчезло.

Потом я увидел в баке весь хаос своей памяти: учительницу ботаники в 5-м классе Елизавету Моисеевну; девочку Клаву из тех же времен — предмет мальчишеских чувств; какого-то давнего знакомого с поэтическим профилем; возчика-молдаванина, которого я видел мельком на базаре в Кишиневе... скучно перечислять. Это была не «модель мира»: все образовывалось смутно, фрагментарно, как оно и хранится в умеющей забывать человеческой памяти. У Елизаветы Моисеевны, например, удалились лишь маленькие строгие глазки под вечно нахмуренными бровями, а от возчика-молдаванина вообще осталась только баранья шапка, надвинутая на самые усы...

Спать мы уходили по очереди. Одному приходилось дежурить у бака, чтобы вовремя надеть «шапку» и приказать машине: «Нет!»

Дубль первый догадался сунуть в жидкость термо-

метр (приятно было наблюдать, в какое довольно настроение привел его первый самостоятельный творческий акт!). Температура оказалась 40 градусов.

— Горячечный бред...

— Надо дать ей жаропонижающее, — сболтнул я полушутя.

Но, поразмыслив, мы принялись досыпать во все пытающие машину колбы и бутыли хинин. Температура упала до 39 градусов, но бред продолжался. Машина теперь комбинировала образы, как в скверном сне, — лицо начальника первого отдела института Иоганна Иоганновича Кляпина плавно приобретало черты Азарова, у того вдруг отрастали хилобоковские усы...

Когда температура понизилась до 38 градусов, в баке стали появляться плоские, как на экране, образы политических деятелей, киноартистов, передовиков производства вместе с уменьшенней Доской почета, Ломоносова, Фарадея, известной в нашем городе эстрадной певицы Марии Транскунд. Эти двухмерные тени — то цветные, то черно-белые — возникали мгновенно, держались несколько секунд и растворялись. Похоже, что моя память истощалась.

На шестой или седьмой день (мы потеряли счет времени) температура золотистой жидкости упала до 36,5.

— Норма! — И я поплелся отсыпаться.

Дубль остался дежурить.

Ночью он растолкал меня:

— Вставай! Пойдем, там машина строит глазки.

Спросонок я послал его к черту. Он вылил на меня кружку воды. Пришлося пойти.

...Поначалу мне показалось, что в жидкости бака плавают какие-то пузыри. Но это были глаза — белые шарики со зрачком и радужной оболочкой. Они возникали в глубине бака, всплывали, теснились у прозрачных стенок, следили за нашими движениями, за миганием лампочек на шульте ЦВМ-42: голубые, серые, карие, зеленые, черные, рыжие, огромные и с фиолетовым зрачком лошадиные, отсвечивающие и с темной вертикальной щелью — кошачьи, черные птичьи бисеринки... Здесь собирались, наверно, глаза всех людей и животных, которые мне приходилось видеть. Оттого, что без век и ресниц, они казались удивленными.

К утру глаза начали появляться и возле бака: от живых шлангов выпячивались мускулистые отростки, за-

канчивающиеся веками и ресницами. Веки раскрывались. Новые глаза смотрели на нас пристально и с каким-то ожиданием. Было не по себе под бесчисленными молчаливыми взглядами.

А потом... из бака, колб и от живых шлангов стремительно, как побеги бамбука, стали расти щупы и хоботки. Было что-то наивное и по-детски трогательное в их движениях. Они сплетались, касались стенок колб и приборов, стен лаборатории. Один щупик дотянулся до оголенных клемм электрощита, коснулся и, дернувшись, попал в обугленный.

— Эге, это уже серьезно! — сказал дубль.

Да, это было серьезно: машина переходила от созерцательного способа сбора информации к деятельности и строила для этого свои датчики, свои исполнительные механизмы... Вообще, как ни назови ее развитие: стремление к информационному равновесию, самоконструирование или биологический синтез информации — нельзя не восхититься необыкновенной цепкостью и мощью этого процесса. Не так, так эдак — но не останавливаться!

Но после всего, что мы наблюдали, нам было не до восторгов и не до академического любопытства. Мы додгадывались, чем это может кончиться..

— Ну хватит! — я взял со стола «шапку Мономаха». — Не знаю, удастся ли заставить ее делать то, что мы хотим...

— Для этого неплохо бы знать, что мы хотим, — вставил дубль.

— ...но для начала мы должны заставить ее не делать того, чего мы не хотим.

«Убрать глаза! Убрать щупы! Прекратить овеществление информации! Убрать глаза! Убрать щупы! Прекратить...» — мы повторяли это со всем напряжением мысли через «шапку Мономаха», произносили в микрофоны.

А машина по-прежнему поводила живыми щупами и таращилась на нас сотнями разнообразных глаз. Это было похоже на поединок.

— Доработались, — сказал дубль.

— Ах так! — Я ударил кулаком по стенке бака. Все щупы задергались, потянулись ко мне — я отступил. — Валька, перекрывай воду! Отсоединяй питательные шланги.

«Машина, ты погибнешь. Машина, ты умрешь от жажды и голода, если не подчинишься...»

Конечно, это было грубо, неизящно, но что оставалось делать? Двойник медленно закручивал вентиль водопровода. Звон струек из дистилляторов превратился в дробь капель. Я защемлял шланги зажимами... И, дрогнув, обвисли щупы! Начали скручиваться, втягиваться обратно в бак. Потускнели, заслезились и сморчились шарики глаз.

Час спустя все исчезло. Жидкость в баке стала по-прежнему золотистой и прозрачной.

— Так-то оно лучше! — я снял «шапку» и смотал провода.

Мы снова пустили воду, сняли зажимы и сидели в лаборатории до поздней ночи, курили, разговаривали ни о чем, ждали, что будет. Теперь мы не знали, чего больше бояться: нового машинного бреда или того, что замордованная таким обращением система распадется и прекратит свое существование. В день первый мы еще могли обсуждать идею «а не закрыть ли открытие?». Теперь же нам становилось не по себе при мысли, что оно может «закрыться» само, поманит небывалым и исчезнет.

То я, то дубль подходили к баку, с опаской втягивали воздух, боясь почутить запахи тления или тухлятины; не доверяя термометру, трогали ладонями стенки бака и теплые живые шланги: не оставают ли? Не пышут ли снова горячечным жаром?

По нет, воздух в комнате оставался теплым, влажным и чистым: будто здесь находилось большое опрятное животное. Машина жила. Она просто ничего не предпринимала без нас. Мы ее подчинили!

В первом часу ночи я посмотрел на своего двойника, как в зеркало. Он устало помаргивал красными веками, улыбался:

— Кажется, все в порядке. Пошли отсыпаться, а?

Сейчас не было искусственного дубля. Рядом сидел товарищ по работе, такой же усталый и счастливый, как я сам. И ведь — странное дело! — я не испытывал восторга при встрече с ним в парке, меня не тешила фантасмагория памяти в баке... а вот теперь мне стало по-кощко и радостно.

Все-таки самое главное для человека — чувствовать себя хозяином положения!»

Глава пятая

Не сказывается ли в усердном поиске причинных связей собственнический инстинкт людей? Ведь и здесь мы ищем, что чему принадлежит.

К. Прутков-инженер, мысль № 10

«Мы вышли в парк. Ночь была теплая. От усталости мы оба забыли, что нам не следует появляться вместе, и вспомнили об этом только в проходной. Старик Вахтерыч в упор смотрел на нас слегка посоветыми голубыми глазками. Мы замерли.

— А, Валентин Васильевич! — вдруг обрадовался дед. — Уже отдежурили?

— Да... — в один голос ответили мы.

— И правильно. — Вахтерыч тяжело поднялся, отпер выходную дверь. — И ничего с этим институтом не сделается, и никто его не украдет, и всего вам хорошего, а мне еще сидеть. Люди гуляют, а мне еще сидеть, так-то...

Мы выскочили на улицу, быстро попшли прочь.

— Вот это да! — Тут я обратил внимание, что фасад нового корпуса института украшен разноцветными лампочками. — Какое сегодня число?

Дубль прикинулся на пальцы:

— Первое... нет, второе мая. С праздничком, Валька!

— С прошедшим... Вот тебе па!

Я вспомнил, что мы с Леной условились пойти Первого мая в компанию ее сотрудников, а второго поехать на мотоцикле за Днепр, и скис. Обиделась теперь насмерть.

— А Лена сейчас танцует... где-то и с кем-то, — молвил дубль.

— Тебе-то что за дело?

Мы замолчали. По улице неслись украшенные зеленью троллейбусы. На крыши домов стартовали ракеты-носители из лампочек. За распахнутыми настежь окнами танцевали, пели, чокались...

Я закурил, стал обдумывать наблюдения за «машиной-маткой» (так мы окончательно назвали весь комплекс). «Во-первых, она не машина-оракул и не машина-мыслитель, никакого отбора информации в ней не происходит. Только комбинации — иногда осмыслиенные, иногда нет. Во-вторых, ею можно управлять не только

энергетическим путем (зажимать шланги, отключать воду и энергию — словом, брать за горло), но и информационным. Правда, пока она отзывалась лишь на команду «Нет!», но лиха беда начало. Кажется, удобней всего командовать ею через «шапку Мономаха» биопотенциалами мозга... В-третьих, «машина-матка» хоть и очень сложная, но машина: искусственное создание без цели. Стремление к устойчивости, к информационному равновесию — конечно, не цель, а свойство, такое же, как и у аналитических весов. Только оно более сложно проявляется: через синтез в виде живого вещества внешней информации. Цель всегда состоит в решении задачи. Задачи перед ней никакой не было — вот она и дурила от избытка возможностей. Но...»

— ...задачи для нее должен ставить человек, — подхватил дубль; меня уже перестала удивлять его способность мыслить параллельно со мной. — Как и для всех других машин. Следовательно, как говорят бюрократы, вся ответственность на нас.

Думать об ответственности не хотелось. Работаешь, работаешь, себя не жалеешь — и на тебе, еще и отвечать приходится. А люди вон гуляют... Упустили праздник, идиоты. Вот так и жизнь пройдет в вонючей лаборатории...

Мы свернули на каштановую аллею, что вела в Академгородок. Впереди медленно шла пара. У нас с дублем, трезвых, голодных и одиноких, даже защемило сердца: до того славно эти двое вписывались в подсвеченную газосветными трубками перспективу аллеи. Он, высокий и элегантный, поддерживал за талию ее. Она чуть склонила пышную прическу к его плечу. Мы непроизвольно ускорили шаги, чтобы обогнать их и не растревлять душу лирическим зрелищем.

— Сейчас послушаем магнитофон, Танечка! У меня такие записи — пальчики оближете! — донесся до нас журчащий голос Хилобока, и мы оба сбились с ноги. Очарование пейзажа спнуло.

— У Гарри опять новая, — констатировал дубль.

Приблизившись, мы узнали и девушку. Еще недавно она ходила на практику в институт в школьном передничке; теперь, кажется, работает лаборанткой у вычислителей. Мне нравилась ее внешность: пухлые губы, мягкий нос, большие карие глаза, мечтательные и доверчивые.

— А когда Аркадий Аркадьевич в отпуске или в загранкомандировке, то мне многое приходится вместо него решать... — распускал павлинин хвост Гарри. — Да и при нем... что? Конечно, интересно, а как же!

Идет Танечка, склонив голову к лавсановому хилобоковскому плечу, и кажется ей доцент Гарри рыцарем советской науки. Может, он даже страдает лучевой болезнью, как главный герой в фильме «Девять дней одного года»? Или здоровье его вконец подорвано научными занятиями, как у героя фильма «Все остается людям»? И млеет, и себя воображает соответствующей героиней, дуреха... Здоров твой ученый кавалер, Танечка, не сомневайся. Не утомил он себя наукой. И ведет он сейчас тебя прямым путем к первому крупному разочарованию в жизни. По этой части он артист...

Дубль замедлил шаг, сказал вполголоса:

— А не набить ли ему морду? Очень просто: ты идешь сейчас к знакомым, обеспечиваешь алиби. А я...

Своим высказыванием он опередил меня на секунду. Он вообще торопился высказываться, чтобы утвердить свою самобытность, — понимал, что мы думаем одинаково... Но коль скоро опередил, то во мне тотчас сработал второй механизм самоутверждения: противостоять чужой идеи.

— Из-за девчонки, что ли? Да шут с ней, не эта, так другая нарвется.

— И из-за нее, и вообще за все. Для души. Ну, помнишь, как он пустил вонь о нашей работе? — У него сузились глаза. — Помнишь?

Я помнил. Тогда я работал в лаборатории Валерия Иванова. Мы разрабатывали блоки памяти для оборонных машин. Дела в мире происходили серьезные — мы вкалывали, не замечая ни выходных, ни праздников, и сдали работу на полгода раньше правительственного срока... А вскоре институтские «доброжелатели» передали нам изречение Хилобока: «В науке тот, кто выполняет исследования раньше срока, либо карьерист, либо очковтиратель, либо и то и другое!» Изречение стало популярным: у нас немало таких, кому не угрожает опасность прослыть карьеристом и очковтирателем по нашему способу. Самолюбивый и горячий Валерка все перывался поговорить с Хилобоком по душам, потом разругался с Азаровым и ушел из института.

У меня кулаки потяжелели от этого воспоминания.

«Может, пусть дубль обеспечит алиби, а я?..» И вдруг мне представилось: трезвый интеллигентный человек дубасит другого интеллигентного человека в присутствии девушки... Ну, что это такое! Я тряхнул головой, чтобы прогнать из воображения эту картину.

— Нет, это все-таки не то. Нельзя поддаваться низменным движениям души.

— А что «то»?

Действительно: а что «то»? Я не знаю.

— Тогда надо хоть уберечь эти мечтательные глазки от потных Гарриных объятий... — Дубль задумчиво покусал губу и толкнул меня под дерево. (Опять проявил инициативу.) — Гарри Харитонович, можно вас на пару конфиденциальных слов?

Хилобок и девушка оглянулись.

— А, Валентин Васильевич! Пожалуйста... Тапечка, я вас догоню, — донцент повернулся к дублю.

«Ага!» — и понял его замысел и мелкими перебежками стал пробираться в тени деревьев. Все получилось удачно. Тапечка дошла до развилки аллей, остановилась, оглянулась и увидела того самого человека, который минуту назад отозвал ее кавалера.

— Таня, — сказал я, — Гарри Харитонович просил передать свои извинения, сожаления и прочее. Он не вернется. Дело в том, что приехала его жена и... Куда же вы? Я вас провожу!

Но Тапечка уже мчалась, закрыв лицо руками, прямо к троллейбусной остановке. Я направился домой.

Через несколько минут вернулся двойник.

— Подожди, — сказал я, прежде чем он открыл рот. — Ты объяснил Гарри, что Таня невеста твоего знакомого, мастера спорта по боксу?

— И по самбо. А ты ей — насчет жены?

— Точно. Хоть какое-то полезное применение открытию нашли...

Мы разделись, помылись, начали располагаться ко сну. Я постелил себе на тахте, он — на раскладушке.

— Кстати, о Хилобоке. — Дубль сел на раскладушку. — Что же ты молчишь, что на ближайшем ученым совете будет обсуждение нашей поисковой темы? Если бы Гарри мне любезно не напомнил, я пребывал бы в неведении. «Пора, пора, Валентин Васильевич, а то ведь уже полгода работаете, а до сих пор не обсуждали, конечно, свободный поиск вещь хорошая, но заявки на обо-

рудование и материалы подаете, а мне вон из бухгалтерии все звонят, интересуются, по какой теме списывать. И разговоры в институте, что Кривошеин занимается чем хочет, а другим ходоговора и заказы выполнять... Я, конечно, понимаю, что для докторской вам надо, но необходимо вашу тему оформить, внести в общий план...» Сразу, шельмец, о делах вспомнил, когда я ему про мастера спорта объяснил.

— Хилобока послушать, так вся наука делается для того, чтобы не огорчать бухгалтерию...

Я объяснил дублю, в чем дело. Когда из машины повалили невразумительные числа, я от полного отчаяния позвонил Азарову, что хотел бы с ним посоветоваться. Аркадию Аркадьевичу, как всегда, было некогда, и он сказал, что лучше обсудить тему на ученым совете; он попросит Хилобока организовать обсуждение.

— Тем временем из яичка, которое хорошо было бы к красну дню, выпустился интересный результат, — заключил дубль. — Так доложим? На предмет написания кандидатской докторской диссертации. Вон и Хилобок понимает, что надо...

— И на защите я буду демонстрировать тебя, да?

— Кто кого будет демонстрировать, это вопрос второй, — уклончиво ответил он. — Но, вообще говоря... нельзя! — Он помотал головой. — Ну нельзя и нельзя!

— Верно, нельзя, — уныло согласился я. — И авторское свидетельство заявить нельзя. И Нобелевскую премию получить нельзя... Выходит, я от этого дела пока имею одни убытки?

— Да отдам я тебе эти деньги, отдам... у, сквалыга! Слушай... а на что тебе Нобелевская премия? — Дубль сощурил глаза. — Если «машина-матка» запросто воспроизводит человека, то денежные знаки...

— ...ей сделать проще простого! С естественной сеткой, с водяными картинками... нет, а что же?!

— Купим в кооперативах по трехкомнатной квартире, — дубль мечтательно откинулся к стене.

— По «Волге»...

— По две дачи: в Крыму для отдыха и на Рижском взморье для респектабельности.

— Изготовим еще несколько самих себя. Один работает, чтобы не волновать общественность...

— ...а остальные тунеядствуют в свое удовольствие...

— ...И с гарантированным алиби. А что?

Мы замолчали и посмотрели друг на друга с отвращением.

— Боже, какие мы унылые мелкачи! — Я взялся за голову. — Огромное открытие примеряется черт знает к чему: к диссертации, к премии, к дачам, к мордобою с гарантированным алиби... Ведь это же Способ Синтеза Человека! А мы...

— Ничего, бывает. Мелкие мысли возникают у каждого человека и всегда. Важно не дать им превратиться в мелкие поступки.

— Собственно, пока я вижу только одно полезное применение открытия: со стороны в себе замечаешь то, что легче видеть у других, — свои недостатки.

— Да, но стоит ли из-за этого удваивать население Земли?

Мы сидели в трусах друг против друга. Я отражался в дубле, как в зеркале.

— Ладно. Давай по существу: что мы хотим?

— И что мы можем?

— И что мы смыслим в этом деле?

— Начнем с того, что к этому шло. Идея Сеченова, Павлова, Винера, Эшби сходятся из разных точек к одному: мозг — это машина. Опыты Петрущко по управлению развитием человеческого зародыша — еще один толчок. Стремление ко все большей сложности и универсальности систем в технике — одни замыслы микроэлектронников создать машины, равные по сложности мозгу, чего стоят!

— То есть панце открытие — не случайность. Оно подготовлено всем развитием идей и технических средств в науке. Не так, так иначе, не сейчас, так через годы или десятилетия, не мы, так другие пришли бы к нему. Следовательно, вопрос сводится вот к чему...

— ...что мы можем и должны сделать за тот срок — может, это год, может, десятки лет, никто не знает, но лучше ориентироваться на меньший срок, — на который мы опередили других?

— Да.

— Как обычно бывает? — Дубль подпер рукой щеку. — Есть у инженера задел или просто желание сотворить что-то понятленнее. Он ищет заказчика. Или заказчик ищет его, в зависимости от того, кому больше нужно. Заказчик выставляет техническое задание: «Примените ваши идеи и ваши знания для создания такого-то устрой-

ства или такой-то технологии. Устройство должно иметь такие-то параметры, выдерживать такие-то испытания... технология должна обеспечивать выход годных изделий не ниже стольких-то процентов. Сумма такая-то, срок работы такой-то. Санкции в установленном порядке». Подписывается хоздоговор — и действуй... И у нас есть задел, есть желание развивать его дальше. Но если сейчас придет заказчик с толстой машиной и скажет: «Вот деньги, отработайте ваш способ для надежного массового дублирования людей — и не ваше дело, зачем мне это надо», — договор не состоится, верно?

— Ну, об этом еще рано говорить. Способ не исследован, не отработан — какая от него может быть продукция! Может, и ты через пару месяцев рассыпешься, кто знает...

— Не рассыплюсь. На это лучше не рассчитывай.

— Да мне-то что? Живи, разве я против?

— Спасибо! Ну и хам же ты — сил нет! Просто дремучий хам! Так бы и врезал.

— Ладно, ладно, не отвлекайся, ты меня не так понял. Я к тому, что мы еще не знаем всех сторон и возможностей открытия. Мы стоим в самом начале. Если сравнить, скажем, с радио, то мы сейчас находимся на уровне волн Герца и искрового передатчика Попова. Что дальше? Надо исследовать возможности.

— Правильно. Но это дела не меняет. Исследования, которые применимы к человеку и человеческому обществу, надо вести с определенной целью. А нам сейчас не от кого получить два машинописных листка с техническим заданием. И не надо. Нужно самим определить, какие цели сейчас стоят перед человеком.

— Ну... раньше цели были простые: выжить и продолжить свой род. Для достижения их приходилось хлопотать насчет дичи, насчет пикуры с чужого плеча, насчет огня... отбиваться палицей от зверей и знакомых, отрывать в глине однокомнатную пещеру без удобств, все такое. Но в современном обществе эти проблемы в основном решены. Работай где-нибудь — и достигнешь прожиточного минимума, чего там! Не пропадешь. И детей завести можно — в крайнем случае государство возьмет заботы по воспитанию на себя... Стало быть, у людей должны теперь возникнуть новые стремления и потребности.

— О, их хоть отбавляй! Стремление к комфорту, к

развлечениям, к интересной и непыльной работе. Потребность в изысканном обществе, в различных символах тщеславия — званиях, титулах, наградах. Потребность в отличной одежде, вкусной пище, в вышивке, в пляжном загаре, в новостях, в чтении книг, в смешном, в украшениях, в модных новинках...

— Но все это не главное, черт побери! Не может это быть главным. Люди не хотят, да и не могут вернуться к прежнему примитивному бытию, выжимают из современной среды все — это естественно. Но за их стремлениями и потребностями должна быть какая-то цель? Новая цель существования...

— Короче говоря, в чем смысл жизни? Удивительно свежая проблема, не правда ли? Договорились. Так я и знал, что к этому приедем! — Дубль встал, сделал несколько разминочных движений, снова сел.

Так — сначала с хаханьками, а чем далее, тем серьезней — новели мы этот самый главный для нашей работы разговор. Мне не раз доводилось — за ковыляком или просто в перекуре — рассуждать и о смысле жизни, и о социальном устройстве общества, и о судьбах человечества. Инженеры и ученые так же любят судачить о миражах, как домохозяйки о дороживне и падении правов. Домохозяйки занимаются этим, чтобы утвердить свою рачительность и добродетель, а исследователи — чтобы продемонстрировать друг перед другом широту взглядов... Но этот разговор был несравненно труднее такого инженерного тренинга: мы корочали мысли, будто глыбы. Все отлачалось на ответственности: за разговором должны были последовать дела и поступки — дела и поступки, в которых нельзя ошибиться.

Спать нам уже не хотелось.

— Ладно. Примем, что смысл жизни — удовлетворение потребностей. Любых, какие душа пожелает. Но какие потребности и запросы людей можно удовлетворить, создавая новых людей? Ведь искусственно произведенные люди сами будут обладать потребностями и запросами! Закоцданный круг.

— Не то. Смысл жизни — жить. Жить полнокровно, свободно, интересно, творчески. Или хоть стремиться к этому... и что?

— «Полнокровно»! «Смысл жизни»! «Стремления»! — Дубль подхватился с раскладушки, забегал по комнате. — «Интересы», «потребности»... мама родная, до чего же все

это туманно! В позапрошлом веке такие приблизительные понятия были бы в самый раз, но сейчас... Какое, к черту, может быть ТЗ, если нет точных знаний о человеке! Каким вектором обозначить стремление? В каких единицах измерить интересы?

(Это обескураживало нас тогда — обескураживает и сейчас. Мы привыкли к точным понятиям: «параметры», «габариты», «объем информации в битах», «быстро действие в микросекундах» — и столкнулись с ужасающей неопределенностью знаний о человеке. Для беседы они годятся. Но как, скажите на милость, руководствоваться ими в прикладных исследованиях, где владычествует простой и свирепый закон: если ты что-то знаешь не точно — значит, ты этого не знаешь?)

— Уфф... завидую тем, кто изобрел атомную бомбу. — Дубль встал, прислонясь к косяку балконной двери. — «Это устройство, джентльмены, может уничтожить сто тысяч человек!» — и сразу ясно, что надо строить Ок-Ридж и Нью-Хэнфорд *... А наше устройство может производить людей, джентльмены!

— Одни люди исследуют уран... другие строят заводы по обогащению урана нужным изотопом... третьи конструируют бомбу... четвертые из высших политических соображений отдают приказ... пятые сбрасывают бомбу на шестых, на жителей Хиросимы и Нагасаки... седьмые... чистой, а в этом что-то есть!

Дубль смотрел на меня с любопытством.

— Понимаешь, мы рассуждаем строго логично — и не можем выпутаться из парадоксов, мертвых вопросов типа «В чем смысл жизни?». И знаешь почему? В природе не существует Человека Вообще. На Земле живут разные люди — и устремления у них разные, часто противоположные: скажем, человек хочет хорошо жить и для этого изобретает орудия убийства. Или просто противоречивые: юнец мечтает стать великим ученым, по грызть гранит науки ему не хочется — не вкусно. И эти разные люди живут в разных условиях, оказываются в разных обстоятельствах, мечтают об одном, стремятся к другому, а достигают третьего... А мы всех под одну гребенку!

— Но если мы перейдем на личности да с учетом

* Ок-Ридж и Нью-Хэнфорд — исследовательско-промышленные центры в США, где во время второй мировой войны были созданы урановая и плутониевая бомбы. (Прим. автора.)

всех обстоятельств... — дубль поморщился. — Запутаемся!

— А тебе хочется, чтоб все было попроще, как при создании блоков памяти для бортовой вычислительной машины, да? Не тот случай.

— Я понимаю, что не тот случай. Открытие наше сложно, как и сам человек, — ничего не отбросить, не упростить для удобства работы. Но какие конструктивные идеи вытекают из твоей могучей мысли, что все люди разные? Именно конструктивные, для работы.

— Для работы... м-да. Тяжело...

Разговор опять сошел на нет. Внизу возле дома шумели под ветром тополя. Кто-то, насвистывая, подошел к подъезду. С балкона потянуло холодом.

Дубль бессмысленно глядел на лампочку, потом засунул в нос полпальца; лицо его исказила яростная радость естественного отправления. У меня в правой ноздре тоже чувствовалось какое-то неудобство, но он меня опередил... Я смотрел на себя, ковыряющего в носу, и вдруг понял, почему я не узнал дубля при встрече в парке. В сущности, ни один человек не знает себя. Мы не видим себя — даже перед зеркалом мы бессознательно корректируем свою мимику по отражению, интересничаем, прихорашиваемся. Мы не слышим себя, потому что колебания собственной гортани достигают барабанных перепонок не только по воздуху, но и через кости и мышцы головы. Мы не наблюдаем себя со стороны.

И поэтому каждый человек в глубине души теплит себя мыслью, что он не такой, как все, особый. Окружающие — другое дело, насчет них все ясно. Но сам он, этот человек, иной. Что-то в нем есть... уж тут его не прорвешь, он точно знает. А между тем все мы и разные и такие, как все.

Дубль очистил нос, потом пальцем взглянул на меня и рассмеялся, поняв мои мысли.

— Так какие же все-таки люди — разные или одинаковые?

— И разные и одинаковые. Можно вывести некую объективную суть — не из твоих дурных манер, конечно. Речь идет о техническом производстве новой информационной системы — Человека. Техника производит и другие системы: машины, книги, приборы... Общее для каждого такого изделия-системы — одинаковость, стандартность. В любой книге данного тиража одинаково все,

вплоть до опечаток. В приборе данной серии тоже: и стрелки, и шкала, и класс точности, и гарантийный срок. Различия пустяковые: в одной книге текст чуть почтче, чем в другой, на одном приборе — царапина, или на высоких температурах он дает чуть большую погрешность, чем его коллега...

— ...но в пределах класса точности.

— Разумеется. На языке нашей науки можно сказать, что объем индивидуальной информации в каждой такой искусственной системе пренебрежимо мал в сравнении с объемом информации, общей для всех систем данного класса. А для человека это не так. В людях содержится общая информация: биологическая, общие знания о мире, но в каждом человеке есть огромное количество личной, индивидуальной информации. Пренебречь ею нельзя — без нее человек не человек. Значит, каждый человек не стандартен. Значит...

— ...все попытки найти оптимальные «параметры» для человека с допустимой погрешностью не более пяти процентов — пустая трата времени. Отлично! Тебе от этого стало легче?

— Нет. Но такова суровая действительность.

— Следовательно, нам в нашей работе никуда не деться от этих ужасных и загадочных, как смысл жизни, понятий: интересы человека, характеры, желания, добро, зло... и может быть, даже душа? Уволюсь.

— Не уволишься. Кстати, такие ли уж они загадочные, эти понятия? Ведь в жизни все люди понимают, что в них к чему. Ну, например, обсудят скверный поступок и скажут: «Знаете, а это подлость». И все согласны.

— Все... кроме подлеца. Что, между прочим, очень существенно... — он хлопнул себя руками по бедрам. — Нет, я тебя не понимаю! Тебе мало обжечься па простеньком слове «понимание» — хочешь давать задачи на «добро» и «зло»?! Машина подтекста не улавливает, шуток не понимает, добру и злу внимает равнодушно... Почему ты смеешься?

Меня в самом деле разобрал смех.

— Я не понимаю, как это ты можешь меня не понимать? Ведь ты — это я!

— Это не по существу. Я прежде всего исследователь, а потом уж Кривошеин, Сидоров, Петров! — он явно вошел в дискуссионный раж. — Как мы будем работать, не имея точных представлений о сути дела?

— Ну... как работали, скажем, на заре электротехники. Тогда все знали, что такое флогистон, но никто не имел понятия о напряжении, силе тока, индуктивности. Ампер, Вольта, Генри, Ом тогда еще были просто фамилии. Напряжение определяли при помощи языка, как сейчас мальчишки годность батарейки. Ток обнаруживали по отложению меди на катоде. Но работали же люди. И мы... что с тобой?

Теперь дубль согнулся от хохота.

— Представляю: лет через двадцать будет единица измерения чего-то — «кривошея»... Ой, не могу!

Я так и лег на тахте.

— И будет «кривошееметр»... вроде омметра!

— И «микрокривошеи»... или, наоборот, «мегакривоши» — «мегакры» сокращенно... Ох!

Приятно вспомнить, как мы ржали. Мы были явно недостойны своего открытия. Отсмеялись. Посерьезнели.

— Исторические примеры — они, конечно, вдохновляют, — сказал дубль. — Но не то. Гальвани мог сколько угодно заблуждаться насчет «животного электричества», Зеебек мог упрямо твердить, что в термопарах возникает не термоэлектричество, а «термомагнетизм» — природа вещей от этого не менялась. Рано или поздно приходили к истине, потому что там главным был анализ информации. Анализ! А у нас — синтез... И здесь природа человеку не указ: она строит свои системы — он свои. Единственными истинами для него в этом деле являются возможности и цель. Возможности у нас есть. А цель? Мы не можем ее сформулировать...

— Цель простая: чтоб все было хорошо.

— Опять? — Дубль посмотрел на меня. — И дальше начинается детский разговорчик на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?».

— Не надо детских разговорчиков! — взмолился я. — Будем оперировать с этими произвольными понятиями, будь они целадны: хорошо, плохо, желания, потребности, здоровье, одаренность, глупость, свобода, любовь, тоска, принципиальность — не потому, что они нам нравятся, а просто других нет. Нет!

— На это мне возразить нечего. Действительно, других нет, — дубль вздохнул. — Ох, чувствую, это будет та работа!

— И давай договаривать до точки. Да, нужно, чтоб все было хорошо. Нужно, чтобы все применения откры-

тия, которые мы будем выдавать в жизнь, в мир... чтобы мы в них были уверены: они не принесут вреда людям, а только пойдут им на пользу. И давай отложим до лучших времен дискуссию на тему: в каких единицах измерять пользу. Я не знаю, в каких единицах.

— В кривошеях, — не удержался дубль.

— Да будет тебе! Но я знаю другое: роль интеллектуального злодяя мирового класса мне не по душе.

— Мне тоже. Но маленький вопрос: у тебя есть идея?

— Идея чего?

— Способа, как применить «машину-матку», чтобы она выдавала в человеческое общество только благо. Понимаешь, это был бы беспрецедентный способ в истории науки. Все, что изобретали и изобретают сейчас, таким чудесным свойством не обладает. Лекарством можно отравить. Электрическим током можно не только освещать дома, но и пытать. Или запустить ракету с боеголовкой. И так во всем...

— Нет у меня пока конкретной идеи. Мало мы еще знаем. Будем исследовать «машину-матку», искать этот способ. Он должен быть. Это неважно, что ему нет precedента в науке — precedента нашему открытию тоже нет. Ведь мы же будем синтезировать именно ту систему, которая делает и добро, и зло, и чудеса, и глупости, — человека!

— Что ж, все правильно, — подумав, согласился дубль. — Найдем мы этот великий способ или не найдем, но без такой цели за эту работу не стоит и браться. Кое-как людей и без нас делают...

— Так что — завершим заседание, как полагается? — предложил я. — Составим задание на работу? Как это напишется в ходзоговоре: мы, ниженаписавшиеся: Человечество Земли, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и заведующие лабораторией новых систем Института системологии Кривошени В. В. и Кривошенин В. В., именуемые далее «Исполнители», с другой, — составили настоящий о нижеследующем...

— Чего уж там вилять с ходзоговором и техзаданием — ведь интересы Заказчика в данной работе представляем мы сами. Давай прямо!

Он встал, снял со шкафа магнитофон «Астра-2», поставил его на стол, включил микрофон. И мы: я, Кривошенин Валентин Васильевич, тридцати четырех лет от роду, и мой искусственный двойник, появившийся на свет

неделю тому назад, — два несентиментальных, иронического склада мышления человека — произнесли клятву.

Со стороны это, наверно, выглядело высирене и комично. Не звучали фанфары, не шелестели знамена, не замирали по стойке «смирно» шеренги курсантов — бледнело предутреннее небо, мы стояли перед микрофоном в одних трусах, и сквозняк с балкона холодил нам ноги... Но клятву мы принесли всерьез.

Так и будет. Иначе — нет».

Глава шестая

Если, возвратясь ночью домой, ты по ошибке выпил вместо воды проявитель, выпей и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца.

К. Прутков-инженер, мысль № 21

«На следующий день мы принялись строить в лаборатории информационную камеру. Отгородили в комнате площадку два на два метра, обнесли ее гетинаковыми щитами и начали сводить туда все микрофоны, анализаторы, шупы, объективы — все датчики, которые ранее были живописно там и сям раскиданы по блокам «машины-матки». Идея такая: в камеру помещается живой объект, он в ней кувыркается, пасется, дерется с себе подобными или просто гуляет, опутанный датчиками, а в машину передается информация для синтеза.

«Живые объекты» и по сей день спокойно кушают раннюю парниковую капусту в клетках в коридоре. У нас с дублем постоянно возникали распри: кому за ними убирать? Это кролики. Я выменял их у биоников за шлейфовый осциллограф и генераторную лампу ГИ-250. У одного кролика (альбиноса Васьки) на голове нечто вроде бронзовой короны из вживленных в череп электродов для энцефалограмм.

Седьмого мая случилась хоть и мелкая, но досадная неприятность. Обычно мы с дублем довольно четко координировали все дела, чтобы не оказаться вместе на людях и не повторять друг друга. Но эта растреклятая лаборатория экспериментальных устройств кого угодно выведет из равновесия!

Еще зимой я заказал в ней универсальную систему биодатчиков: изготовил чертежи, монтажную схему, выписал со склада все нужные материалы и детали — только собрать. И до сих пор ничего не сделано! Нужно монтировать систему в камере, а ее нету... Беда в том, что в этой лаборатории хроническая текущесть завов. Одни сдает дела, другой принимает — работать, попытно, нельзя. Потом новый зав разбирается в ситуации, проводит реформы и начинания (новая метла чисто метет) — работы опять нет. Тем временем разъяненные заказчики устраивают скандалы, идут с челобитной к Аркадию Аркадьевичу — и новый зав сдает дела сверхновому, тот... словом, смотри выше. Я и непосредственно на мастеров воздействовал, спиртиком их ублажал, дефицитные транзисторы П657 для карманных приемников добывал — и все напрасно.

Недавно запас желающих стать заведующим в этой зачарованной лаборатории иссяк, и за нее взялся Г. Х. Хилобок. По совместительству, конечно, на полставки.

Гарри — он у нас такой: чем угодно возьмется руководить, что угодно организовывать, проворачивать, охватывать, лишь бы не остаться с глазу на глаз с природой, с этими ужасными приборами, которым не прикажешь и не откажешь, а которые показывают то, что есть и в чем надо разбираться.

В этот день я снова позвонил мастеру Гаврющенко. Снова услышал неопределенное мычание насчет нехватки провода монтажного, «сопрыков» — осатанел окончательно и помчался объясняться с Гарри.

Сгоряча я не заметил, что вид у Хилобока несколько ошарашенный, и высказал ему все. Пообещал, что отда姆 заказ школьникам и тем посрамлю лабораторию окончательно...

А вернувшись во флигель, я застал там своего младого дубля: он ходил по комнате и остывал от возмущения. Оказывается, он был у Хилобока за пять минут до меня и имел с ним точно такую же беседу.

Уфф... хорошо, хоть мы там не столкнулись.

В первых опытах решили обойтись без универсальной системы. Для кроликов достаточно тех датчиков, что у нас есть. А когда зайдемся снова объектом «хомо sapiens»... может, к тому времени в лаборатории экспериментальных устройств появится дельный зав.

Ученый совет состоялся 16 мая. Вечером накануне мы еще раз продумали, что надо и что не надо говорить. Решили доложить и обосновать (в умозрительном плане) первоначальную идею, что электронная машина с элементами случайных переключений может и должна конструировать себя под воздействием произвольной информации. Работа будет представлять собой экспериментальную проверку этой идеи. Для того чтобы установить пределы, до которых машина может дойти при конструировании себя, необходимы такие-то и такие-то установки, материалы, приборы — прилагается перечень.

— Для предварительной подготовки умов, равно как и для отдела снабжения, это будет в самый раз, — сказал я. — Значит, так и доложу.

— А почему, собственно, ты доложишь? — дубль воинственно задрал правую бровь. — Как за кроликами убирать, так я, а на ученый совет, так ты? Что за дискриминация искусственных людей?! Настаиваю на жребьевке!

...Вот так и вышло, что я безвинно схлопотал выговор «за бес tactное поведение на ученом совете института и за грубость по отношению к доктору технических наук профессору И. И. Вольтампернову».

Нет, правда обидно. Пусть бы это на меня бывший зубр ламповой электроники, заслуженный деятель республиканской науки и техники, доктор технических наук, профессор Ипполит Илларионович Вольтампернов (ах, почему я не конферансье!) обрушил свое: «А знает ли инженер Кривошеин, кой предлагает нам поручить машине произвольно, тэк-скэйт, без руля и без ветрил, как ей заблагорассудится, конструировать себя, какой огромный и, смею сказать, осмысленный — да-с, именно осмысленный! — труд вкладывают квалифицированнейшие специалисты нашего института в расчет и проектирование вычислительных систем? В разработку блоков этих систем?! И элементов этих систем?!! Да представляет ли себе вульгаризаторствующий перед нами инженер хотя бы методику, тэк-скэйт, оптимального проектирования триггера на лампе 6Н5? И не кажется ли инженеру Кривошеину, что он своими домыслами относительно того, что машина, тэк-скэйт, справится с оптимальным конструированием лучше, нежели специалисты, — оскорбляет большое число сотрудников института, выполняющих, смею сказать, важные для народного хозяйства работы?!

Позволительно спросить инженера: что это даст для?..» — причем каждый раз слово «инженер» звучало в докторских устах как нечто среднее между «студент» и «сукан сын».

Добро бы, именно я в своем ответном слове напомнил уважаемому профессору, что, видимо, подобного сорта оскорбленистость водила его первом в прошлые времена, когда он писал разоблачительные статьи о «реакционной лженауке кибернетике», но перемена ветра заставила и его заняться делом. Если профессор опасается после успеха данной работы остаться не у дел, то напрасно: в крайнем случае он всегда может вернуться к окопнаучной журналистике. И вообще, пора бы усвоить, что наука делается с применением высказываний по существу дела, а не при помощи демагогических вынадов и луженой глотки...

Именно после этих застенографированных фраз Вольтампернов начал судорожно зевать и хвататься за нагрудный карман пиджака.

Но, граждане, это же был не я! Доклад делал созданный точь-в-точь по предлагаемой методике мой искусственный двойник... Он три дня потом ходил злой и сконфуженный.

Вообще говоря, его можно понять!

(Но, между прочим, в ту минуту, когда подписаный Азаровым приказ о выговоре достиг канцелярии, поблизости оказался именно я. И именно мне при большом скоплении публики закричала, выглянув из дверей, грубая женщина-пачканец Аглай Матрофановна Гарражка:

— Товарищ Кривошеин, вам тут выговор! Зайдите и распишитесь!

Я, как бобик, запел и расписался... Ну, не злая судьба?)

Впрочем, бог с ним, с выговором. Главное, тему утвердили! Ее поддержал сам Азаров. «Интересная идея, — сказал он, — и довольно простая, можно проверить». — «Но ведь это не алгоритмизуемая задача, Аркадий Аркадьевич», — возразил доцент Прищепа, самый ортодоксальный математик нашего института. «Что же, если не алгоритмизуемая, то ей и не быть? — парировал академик. (Слушайте, слушайте!) — В наше время алгоритм научного поиска не сводится к набору правил формальной логики». Вот это да! Ведь Азаров всегда неодоб-

рительно смотрел на «случайные поиски», я-то знаю. Что это? Неужели дубль покорил его логикой своего доклада? Или у шефа, наконец, прорезалась научная терпимость? Тогда мы с ним поладим.

Словом, восемнадцать «за», один (Вольтампернов) «против». Осторожный Прищепа воздержался. Дубль, как не имеющий ученой степени и звания, в голосовании не участвовал. Даже Хилобок голосовал «за», и он верит в успех нашей работы. Не подкачаем, Гаврюшка, не сумлевайся!

Кстати, дубль принес на хвосте потрясающую новость: Хилобок пишет докторскую диссертацию!

— О чём же?

— Закрытая тема. Ученый совет принимал повестку дня на следующее заседание, в ней был пункт: «Обсуждение работы над диссертацией на соискание ученой степени доктора технических наук Г. Х. Хилобока. Тема закрытая, гриф «совершенно секретно». Вот так, сидим в лаборатории и отстаем от движения науки.

— Закрытая тема — это роскошно! — Я даже отложил паяльник. Дело было в лаборатории, мы монтировали датчики в камере. — Это ловко. Никаких открытых публикаций, никакой аудитории на защите... тсс, товарищи: совершенно секретно! Все ходят и заранее ува-жают.

Новость задела за живое. Тут кандидатскую не можешь сделать, а Гарри в доктора выходит. И выйдет, «техника» известная: берется разрабатываемая (или даже разработанная) где-нибудь секретная схема или конструкция, вокруг наворачивается компилятивная халтура с использованием закрытых первоисточников. И за руку не схватишь...

— Э, в конце концов не он первый, не он последний! — я снова взялся за паяльник. — Думать еще о нем... своей работы хватает.

— К тому же за нашу тему голосовал, — поддержал дубль. — Свой парень Гарри! Конечно, можно бы попробовать его того... да стоит ли игра свеч?

Вообще-то нам было чуточку неволко. Мне всегда бывает не по себе, когда приходится наблюдать преуспеяние набирающего силу пройдохи; испытываешь негодование в мыслях и начинаешь презирать себя за благоразумное оценение конечностей... Но ведь и вправду: не стоит игра свеч. У нас вон какая серьезная работа

на двоих, а положение мое еще непрочное — стоит ли заводиться? К тому же связаться с Гарри Хилобоком... Пробовали мы однажды с Ивановым подсечь его на платформе. Валерка выступил на семинаре, все доказал. Ну, только и того, что ученый совет рекомендовал Хилобоку переделать статью. А уж как за это он потом нас поливал...

Да и вообще эти общественные мордобои с привлечением публики, разбирательства, после которых люди перестают здороваться друг с другом, — занятия не по мне. Когда они происходят, я испытываю неудержимое стремление убежать в лабораторию, включить приборы, заносить в журнал результаты измерений и тем приносить пользу... Вот если бы лабораторным способом одолевать таких, как Гарри, — так сказать, усилием инженерной мысли...

А стоит подумать. Тот факт, что вольтамперновы и хилобоки выкатываются на широкую столбовую дорогу науки, свидетельствует о явной нехватке умных людей. И это в науке, где интеллект — основное мерило достоинства человека. А по другим занятиям? Вывещивают объявления: «Требуются токари...», «Требуются инженеры и техники, бухгалтеры и снабженцы...» И никто не напишет: «Требуются умные люди. Квартира предоставляется». Стесняются, что ли? Или квартир нет? Можно понапалу и без квартир... Ведь что скрывать: требуются умные люди, ох, как требуются! И в группу А, и в группу В, и в надстройку. Для жизни требуются, для развития общества.

— Нужно... дублировать умных людей! — выпалил я. — Умных, деятельных, порядочных! Ой, Валька, это железное применение!

Он посмотрел на меня с нескрываемой досадой.

— Опередил, чертика...

— И таким людям это будет как награда за жизнь, — разывал я мысль. — Нужный ты обществу человек, умеешь работать плодотворно, жить честно — значит, произвести еще такого! Или даже несколько, дело всем найдется. Тогда хилобокам придется потесниться...

Эта идея вернула нам самоуважение. Мы снова почувствовали себя на высоте и весь тот день мечтали, как станем размножать талантливых ученых, писателей, музыкантов, изобретателей, героев... Ей-ей, это была неплохая идея!

Глава седьмая

Научный факт: звук «а» произносится без напряжения языка, одним выдоханием воздуха; если при этом открывать и закрывать рот, получится «ма... ма...». Таково происхождение первого слова ребенка.

Выходит, младенец идет по линии наименьшего сопротивления. Чему же радуются родители?

К. Прутков-инженер, мысль № 53

«Первые недели я все-таки посматривал на дубля с опаской: а вдруг раскиснет, рассыплется? Или запахнет? Искусственное создание — кто знает... Но где там! Он яростно наворачивал колбасу с кефиром вечером, памаявшись в лаборатории, со вкусом плескался в ванной, любил выкуриить папироску перед сном — словом, совсем как я.

После инцидента с Хилобоком мы каждое утро тщательно договаривались: кому где быть, чем заниматься, кому когда идти в столовую — вплоть до того, в какое время пройти через проходную, чтобы Вахтерыч за мельканием лиц успел забыть, что один Кривошеин уже проходил. Вечерами мы рассказывали друг другу, с кем встречались и о чем разговаривали.

Только о Лене мы не говорили. Будто ее и не было. Я даже спрятал в стол ее фотографию. И она не звонила, не приходила ко мне — обиделась. И я не звонил ей. И он тоже... Но все равно она была.

Ашел май, поэтичный южный май — с синими вечерами, соловьями в парке и крупными звездами над деревьями. Осыпалась свечи капитанов, в парке зацвела акация. Ее сладкий, тревожно дурманящий запах проникал в лабораторию, отвлекал. Мы оба чувствовали себя обездоленными. Ах, Ленка, милая, горячая, нежная, самозабвенная в любви Ленка, почему ты одна на свете?

Вот какие юношеские чувства возбудило во мне появление дубля-«соперника»! До сих пор была обычная связь двух уже умудренных жизнью людей (Лена год назад разошлась с мужем; у меня было несколько лирических разочарований, после которых я твердо записал себя в холостяки), какая возникает не столько от взаимного влечения, сколько от одиночества; в ней оба не отдают себя целиком. Мы с удовольствием встречались, старались интересно провести время; она оставалась у меня или я

у нее; утром мы чувствовали себя несколько принужденно и с облегчением расставались. Потом меня снова тянуло к ней, ее ко мне... и т. д. Я был влюблен в ее красоту (приятно было наблюдать, как мужчины смотрели на нее на улице или в ресторане), но передко скучал от ее разговоров. А она... но кто поймет душу женщины? У меня часто появлялось ощущение, что Лена ждет от меня чего-то большего, но я не стремился выяснить, чего именно... А теперь, когда возникла опасность, что Лену у меня могут отнять, я вдруг почувствовал, что она необыкновенно нужна мне, что без нее моя жизнь станет пустой. Вот все мы такие!

Сборка камеры, впрочем, спорилась. В сложной работе важно понимать друг друга — и в этом смысле получалось идеально: мы ничего не растолковывали друг другу, просто один занимал место другого и продолжал сборку. Мы ни разу не поспорили: так или иначе расположить датчики, здесь или в ином месте поставить разъемы и экраны.

— Слушай, тебя не настораживает наша идиллия? — спросил как-то дубль, принимая от меня смену. — Никаких вопросов, никаких сомнений. Этак мы и ошибаться будем в полном единстве взглядов.

— А куда денешься! У нас с тобой четыре руки, четыре ноги, два желудка и одна голова на двоих: одинаковые знания, одинаковый жизненный опыт...

— Но мы же спорили, противоречили друг другу!

— Это мы просто размышляли вместе. Спорить можно и с самим собой. Мысли человека — лишь возможные варианты поступков, они всегда противоречивы. А поступать-то мы стремимся одинаково.

— Да-а... — протянул дубль. — Но ведь это никуда не годится! Сейчас мы не работаем, а вкалываем: лишняя пара рук — удвоение работоспособности. Но основное наше занятие — думать. И вот здесь... слушай, оригинал, нам надо становиться разными!

Я не мог представить, к каким серьезным последствиям приведет этот невинный разговор. А они, как пишут в романах, не заставили себя ждать.

Началось с того, что на раскладке возле института дубль купил учебник «Физиология человека» для физкультурных вузов. Не берусь гадать, решил ли он в самом деле отличиться от меня или его привлек ярко-зеленый с золотым тиснением переплет, но, едва раскрыв его,

он стал бормотать: «Ух ты!», «Вот это да...» — будто читал забористый детектив, а потом стал донимать меня вопросами:

— Ты знаешь, что нервные клетки бывают до одного метра длиной?

— Ты знаешь, чем управляет симпатическая нервная система?

— Ты знаешь, что такое запредельное торможение?

Я, естественно, не знал. И он со всей увлеченностью неофита растолковывал, что симпатикус регулирует функции внутренних органов, что запредельное торможение, или «нессимум», бывает в нервных тканях, когда сила раздражения превосходит допустимый предел...

— Понимаешь, нервная клетка может отказаться реагировать на сильный раздражитель, чтобы не разрушиться! Транзисторы так не могут!

После этого учебника он накупил целую кипу биологических книг и журналов, читал их запоем, цитировал мне понравившиеся места и оскорблялся, что я не разделяю его восторгов... А с чего бы это я их разделял!»

Аспирант Кривошеин отложил дневник. Да, именно так все и началось. В сухих академических строчках книг и статей по биологии он вдруг ощутил то *прикосновение к истине*, которое раньше переживал лишь читая произведения великих писателей: когда, вникая в переживания и поступки выдуманных людей, начинаешь что-то понимать о себе самом. Тогда он не осознавал, почему физиологические сведения, что называется, взяли его за душу. Но его всерьез озадачило, что Кривошеин-оригинал остался к ним безразличен. Как так? Ведь они одинаковые, значит и это должны воспринимать одинаково... Выходит, он, искусственный Кривошеин, *не такой*?

Это был первый намек.

«...После того как он дважды проспал свой выход на работу — сидел за книжкой до рассвета, — я не выдержал:

— Заинтересовался бы ты минералогией, что ли, если уж очень хочется стать «разным», или экономикой производства! Хоть спал бы нормально.

Разговор происходил в лаборатории, куда дубль явился в первом часу дня, заспанный и небритый; я утром выскоблил щетину. Такого несовпадения было достаточно, чтобы озадачить институтских знакомых.

Он поглядел на меня удивленно и свысока.

— Скажи: что это за жидкость? — и он показал на бак. — Какой ее состав?

— Органический, а что?

— Не густо. А для чего «машина-матка» использовала аммиак и фосфорную кислоту? Помнишь: она выступала формулами и количество, а ты бегал по магазинам как проклятый, доставал. Зачем доставал? Не знаешь? Объясняю: машина синтезировала из них аденоинтрифосфорную кислоту и креатинофосфат — источники мышечной энергии. Понял?

— Понял. А бензин марки «Галоша»? А кальций роданистый? А метилвиолет? А еще три сотни наименований реактивов зачем?

— Пока не знаю, надо биохимию читать...

— Угу... А теперь я тебе объясню, зачем я доставал эти гадкие вещества: я выполнял логические условия эксперимента, правила игры — и не более. Я не знал про этот твой суперфосфат. И машина паверняка не знала, что формулы, которые она выступала двойичным кодом, так мудрено называются, — потому что природа состоит не из названий, а из структурных веществ. И тем не менее она заправляла аммиак, фосфорную кислоту, сахар, а не водку и не стрихнин. Своим умом дошла, что водка — яд, без учебников. Да и тебя она создала не по учебникам и не по медицинской энциклопедии — с натурой...

— Ты напрасно так ополчаешься на биологию. В ней содержится то, что нам нужно: знания о жизни, о человеке. Ну, например... — ему очень хотелось меня убедить, это было заметно по его старательности, — знаешь ли ты, что условные рефлексы образуются лишь тогда, когда условный раздражитель предшествует безусловному? Причина предшествует следствию, понимаешь? В нервной системе причинность мира записана полнее, чем в философских учебниках! И в биологии применяют более точные термины, чем бытейские. Ну, как пишут в романах? «От неосознанного ужаса у него расширились зрачки и учащенно забилось сердце». А чего тут не осознать: симпатикус сработал! Вот, пожалуйста... — он то-

ропливо листал свою зеленую библию, — «...под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам, происходит: а) расширение зрачка путем сокращения радиальной мышцы радужной оболочки глаза; б) учащение и усиление сердечных сокращений...» Это уже ближе к делу, а?

— Спору нет, ближе, но насколько? Тебе не приходит в голову, что если бы биологи достигли серьезных успехов в своем деле, то не мы, а они синтезировали бы человека?

— По на основе их знаний мы сможем проанализировать человека.

— Проанализировать! — Я вспомнил «Стрептоцидовый стриптиз с трепетом...», свои потуги на грани комешательства, костер из перфолент — и звякнулся. — Давай! Бросим работу, вызубрим все учебники и рецептурные справочники, освоим массу терминов, приобретем степени и мыслины и через тридцать лет вернемся к нашей работе, чтобы расклепать ярлычки! Это креатинфосфат, а это клейковина... сотни миллиардов названий. Я уже пытался анализировать твое возникновение, с меня хватит. Аналитический путь вас черт знает куда заведет.

Словом, мы не договорились. Это был первый случай, когда каждый из нас остался при своем мнении. Я и до сих пор не понимаю, почему он, инженер-системотехник, системолог, электронщик... ну, словом, тот же я, повернулся в биологию? У нас есть экспериментальная установка, такую он ни в одной биологической лаборатории не найдет; надо ставить опыты, систематизировать результаты и наблюдения, устанавливать общие закономерности — именно *общие*, информационные! Биологические по сравнению с ними есть шаг назад. Так все делают. Да только так и можно научиться как следует управлять «машиной-маткой» — ведь она прежде всего информационная машина.

Споры продолжались и в следующие дни. Мы горячились, наскакивали друг на друга. Каждый приводил доводы в свою пользу.

— Техника должна не копировать природу, а дополнять ее. Мы намереваемся дублировать хороших людей. А если хороший человек хромой? Или руку на фронте потерял? Или здоровье никуда не годится? Ведь обычно ценность человека для общества познается, когда он уже

в зрелом, а еще чаще в пожилом возрасте; и здоровьишко не то, и психика утомлена... Что же, нам все это воспроизводить?

— Нет. Надо найти способ исправления изъянов в дублях. Пусть они получаются здоровыми, отлично сложенными, красивыми...

— Ну, вот видишь!

— Что «видишь»?

— Да ведь для того, чтобы исправлять дублей, нужна биологическая информация о хорошем сложении, о приличной внешности. Биологическая!

— А это уже непонятно. Если машина без всякой биологической подготовки воспроизводит *всего* человека, то зачем ей эта информация, когда понадобится воссоздавать части человека? Ведь по биологическим знаниям ни человека, ни руку его не построишь... Чудило, как ты не понимаешь, что нам нельзя вникать во все детали человеческого организма? Нельзя, запутаемся, ведь этих деталей несчитанные миллиарды, и нет даже двух одинаковых! Природа работала не по ГОСТам. Поэтому задача исправления дублей должна быть сведена к настройке «машины-матки» по внешним интегральным признакам... попросту говоря, к тому, чтобы ручки вертеть!

— Ну, знаешь! — он разводил руками, отходил в сторону.

Я разводил руками, отходил в другую сторону.

Такая обстановка начала действовать на нервы. Мы забрели в логический тупик. Разногласия во взглядах на дальнейшую работу — дело не страшное; в конце концов можно пробовать и так и эдак, а приговор вынесут результаты. Непостижимо было, что мы *не понимаем друг друга!* Мы — два информационно одинаковых человека. Есть ли тогда вообще правда на свете?

Я припяялся (в ту смесь, когда дубли работал в лаборатории) почтывать собранные им биологические опусы. Может, я действительно не вошел во вкус данной науки, иду на поводу у давней, школьных времен, неприязни к ней, а сейчас прочту, проникнусь и буду восторженно бормотать «Вот это да!»? Не проникся. Спору нет: интересная наука, много поучительных подробностей (но только подробностей!) о работе организма, хороша для общего развития, но не то, что нам надо. Описательная и приблизительная наука — та же география. Что он в ней нашел?

Я инженер — этим все сказано. За десять лет работы в мою психику прочно вошли машины, с ними я чувствую себя уверенно. В машинах все подвластно разуму и рукам, все определено: да — так «да», нет — так «нет». Не как у людей: «Да, но...» — и далее следует фраза, перечеркивающая «да». А ведь дубль — это я.

Мы уже избегали этого мучительного спора, работали молча. Может, все образуется, и мы поймем друг друга... Информационная камера была почти готова. Еще день-два, и в нее можно запускать кроликов. И тут случилось то, что рано или поздно должно было случиться: в лаборатории прозвучал телефонный звонок.

И ранее звенели звонки. «Валентин Васильевич, представьте к первому июня акт о списании реактивов, а то закроем для вас склад!» — из бухгалтерии. «Товарищ Кривошенин, зайдите в первый отдел», — от Иоганна Иоганновича Кляпша. «Старик, одолжи серебряно-никелевый аккумулятор на недельку!» — от теплого парня Фени Загребиника. И так далее. Но это был совершенно особый звонок. У дубля, как только он произнес в трубку: «Кривошенин слушает», — лицо сделалось блаженно-глуповатым.

— Да, Ленок, — не заговорил, а заворковал он, — да... Ну, что ты, маленькая, нет, конечно... каждый день и каждый час!

Я с плоскогубцами в руках замер возле камеры. У меня на глазах уводили любимую женщину. Любимую! Теперь я это точно понимал. Мне стало жарко. Я синяло кашлянул. Дубль поднял на меня затуманенные ногой глаза и осекся. Лицо его стало угрюмым и печальным.

— Одну секунду, Лена... — и он протянул мне трубку. — На. Это, собственно, тебя.

Я схватил трубку и закричал:

— Слушаю, Леночка! Слушаю...

Впрочем, о чем мы с ней говорили, описывать не обязательно. Она, оказывается, уезжала в командировку и только вчера вернулась. Ну, обижалась, конечно, за праздники. Ждала моего звонка...

Когда я положил трубку, дубля в лаборатории не было. У меня тоже пропала охота работать. Я запер флигель и, насвистывая, отправился домой: побриться и переодеться к вечеру.

Дубль укладывал чемодан.

— Далеко?

— В деревню к тетке, в глушь, в Саратов! Во Владивосток, слизывать брызги! Не твое дело.

— Нет, кроме шуток: ты куда? В чем дело?

Он поднял голову, посмотрел на меня исподлобья.

— Ты вправду не понимаешь в чем? Что ж, это закономерно: ты — не я.

— Нет, почему же? Ты — это я, а я — это ты. Такой, во всяком случае, была исходная позиция.

— В том-то и дело, что нет, — он закурил сигарету, снял с полки книгу. — «Введение в системологию» я возьму, ты сможешь пользоваться библиотечной... Ты первый, я — второй. Ты родился, рос, развивался, занял какое-то место в жизни. Каждый человек занимает какое-то место в жизни: хорошее ли, плохое — по свое. А у меня нет места — занято! Все занято: от любимой женщины до штатной должности, от тахты до квартиры...

— Да спи, ради бога, на тахте, разве я против?

— Не мели чепуху, разве дело в тахте!

— Слушай, если ты из-за Лены, то... может, поэкспериментируем еще, и... можем же мы себе такое позволить?

— Произвести вторую Лену, искусственную? — он мрачно усмехнулся. — Чтобы и она тряслась по жизни, как безбилетный пассажир... Награда за жизнь — додумались тоже, идиоты! Первые ученики общества вместо медалей награждаются человеком — таким же, как они, но без места в жизни. Гениальная идея, что и говорить! Я-то еще ладно, как-нибудь устроюсь. А первые ученики — народ балованный, привередливый. Представь, например, дубля Аркадия Аркадьевича: академик А. А. Азаров, но без руководимого института, без оклада, без членства в академии, без машины и квартиры — совсем без ничего, одни личные качества и приятные воспоминания. Каково ему придется? — Он упрятал в чемодан полотенце, зубную щетку и пасту. — Словом, с меня хватит. Я не могу больше вести такую двусмысленную жизнь: опасаться, как бы нас вдвоем не застукали, озираться в столовой, брать у тебя деньги — да, именно у тебя твои деньги! — ревновать тебя к Лене... За какие грехи я должен так маяться? Я человек, а не экспериментальный образец и не дубль кого-то!

— А как же будет с работой?

— А кто сказал, что я собираюсь бросать работу? Камера почти готова, опыты ты сможешь вести сам. Здесь от меня мало толку — у нас ведь «одна голова на двоих». Уеду, буду заниматься проблемой «человек — машина» с другого конца...

Он изложил свой план. Он едет в Москву, поступает в аспирантуру на биологический факультет МГУ. Работа разветвляется на два русла: я исследую «машину-матку», определяю ее возможности; он изучает человека и его возможности. Потом — уже разные, с разным опытом и идеями — продолжим работу вместе.

— Но почему все-таки биология? — не выдержал я. — Почему не философия, не социология, не психология, не жизневедение, сиречь художественная литература? Ведь они тоже трактуют о человеке и человеческом обществе. Почему?

Он задумчиво посмотрел на меня.

— Ты в интуицию веришь?

— Ну, допустим.

— Вот моя интуиция мне твердит: если пренебречь биологическими исследованиями, мы упустим что-то очень важное. Я еще не знаю, что именно. Через год постараюсь объяснить.

— Но почему моя интуиция мне ничего такого не твердит?!

— А черт тебя знает, почему! — Он вздохнул с прежней выразительностью — к нему возвращалось хорошее настроение. — Может, ты просто тупой, как вяленок...

— Ну да, конечно. А ты смысленный — вроде той собаки, которая все чувствует, но выразить не может!

Словом, поговорили.

Все понятно: ему надо набирать индивидуальную информацию, становиться самим собой. Приемлю также, что ему для этого надо быть не при мне, а где-то отдельно; по совести говоря, меня наше «двойное» положение тоже стало тяготить. Но с этой биологией... здесь я его крупно не понял...»

Аспирант откинулся на стуле, потянулся.

— И не мог понять, — сказал он вслух.

Он сам себя тогда еще не понимал.

Глава восьмая

Вместо эпиграфа:

— Темой сегодняшней лекции будет: почему студент пугает на экзамене? Тихо, товарищи! Рекомендую конспектировать — материал по программе... Итак, рассмотрим физиологические аспекты ситуации, которую всем присутствующим приходилось переживать. Идет экзамен. Студент посредством разнообразных сокращений легких, горлани, языка и губ производит колебания воздуха — отвечает по билету. Зрительные анализаторы его контролируют правильность ответа по записям на листке и по кивкам экзаменатора. Наметим рефлекторную цепь: исполнительный аппарат Второй Сигнальной Системы производит фразу — зрительные органы воспринимают подкрепляющий раздражитель, кивок — сигнал передается в мозг и поддерживает возбуждение нервных клеток в нужном участке коры. Новая фраза — кивок... и так далее. Этому передко сопутствует вторичная рефлекторная реакция: студент жестикулирует, что делает его ответ особенно убедительным.

Одновременно сами собой безотказно и ненапряженно действуют безусловно-рефлекторные цепи. Трапециевидная и широкие мышцы спины поддерживают корпус студента в положении примесидения — столь же свойственном нам, как нашим предкам положение прямохождения. Грудные и межреберные мышцы обеспечивают ритмичное дыхание. Прочие мышцы напряжены ровно настолько, чтобы противодействовать всемирному тяготению. Мерно сокращается сердце, вегетативные нервы притормозили пищеварительные процессы, чтобы не отвлекать студента... все в порядке.

По вот через барабанные перепонки и основные мембрани ушей студент воспринимает новый звуковой раздражитель: экзаменатор задал вопрос. Мне никогда не надоедает любоваться всем дальнейшим — и, уверяю вас, в этом любовании нет никакого садизма. Просто приятно видеть, как быстро, четко, учитывая весь миллионолетний опыт жизни предков, откликается первая система на малейший сигнал опасности! Смотрите: новые колебания воздуха вызывают перво-наперво торможение прежней условно-рефлекторной деятельности — студент

замолкает, часто на полуслове. Тем временем сигналы от слуховых клеток проникают в продолговатый мозг, возбуждают нервные клетки задних бугров четверохолмия, которые командуют безусловным рефлексом настороживания: студент поворачивает голову к зазевавшему экзаменатору! Одновременно сигналы звукового раздражителя ответствуются в промежуточный мозг, а оттуда — в височные доли коры больших полушарий, где начинается поспешный смысловой анализ данных сотрясений воздуха.

Хочу обратить ваше внимание на высокую целесообразность такого расположения участков анализа звуков в коре мозга — рядом с ушами. Эволюция естественным образом учла, что звук в воздухе распространяется очень медленно: какие-то триста метров в секунду, почти соизмеримо с движением сигналов по нервным волокнам. А ведь звук может быть шорохом подкрадывающегося тигра, шипением змеи или — в наше время — шумом высокочившей из-за угла машины. Нельзя терять даже доли секунды на передачу сигналов в мозгу!

Но в данном случае студент осознал не шорох тигра, а заданный спокойным вежливым голосом вопрос. Пхэ, некоторые, возможно, предпочли бы тигра! Полагаю, вам не надо объяснять, что вопрос на экзамене воспринимается как сигнал опасности. Ведь опасность в широком смысле слова — это препятствие на пути к поставленной цели. В наше благоустроенное время сравнительно редки опасности, которые препятствуют основным целям живого: сохранению жизни и здоровья, продолжению рода, утешению голода и жажды. Поэтому на первое место выступают опасности второго порядка: сохранение достоинства, уважения к себе, стипендии, возможности учиться и впоследствии заняться интересной работой и прочее... Итак, безусловнорефлекторная реакция на опасность студенту удалась блестяще. Посмотрим, как он отразит ее.

На лекциях по биохимии вас знакомили с замечательным свойством рибонуклеиновой кислоты, которая содержится во всех клетках мозга — перестраивать под воздействием электрических нервных сигналов последовательное расположение своих радикалов: тимина, урацила, цитозина и гуанина. Эти радикалы — буквы нашей памяти: их сочетаниями мы записываем в коре мозга любую информацию... Стало быть, картина такая: осмыслиенный в височных участках коры вопрос вызывает воз-

буждение нервных клеток, которые ведают в мозгу студента отвлечеными знаниями. В коре возникают слабые ответные импульсы в окрестных участках: «Ага, что-то об этом читал!» Вот возбуждение концентрируется в самом обнадеживающем участке коры, захватывает его, и — о ужас! — там с помощью тимина, урацила, цитозина и гуанина в длинных молекулах рибонуклеиновой кислоты записано бог знает что: «Леша, бросай конспекты, нам четвертого не хватает!» Тихо, товарищи, не отвлекайтесь.

И тогда в мозгу начинается тихая паника — или, выражаясь менее образно, тотальная иррадиация возбуждения. Нервные импульсы будоражат участки логического анализа (может быть, удастся сообразить!), клетки зрительной памяти (может быть, видел такое?). Обостряются зрение, слух, обоняние. Студент с необычайной четкостью видит чернильное пятно на краю стола, кипу зачеток, слышит шелест листьев за окном, чьи-то шаги в коридоре и даже приглушенный шепот: «Братцы, Алешка горит...» Но все это не то. И возбуждение охватывает все новые и новые участки коры — опасность, опасность! — разливается на двигательные центры в передней извилине, проникает в средний мозг, в продолговатый мозг, наконец, в спинной мозг... И здесь я хочу отвлечься от драматической ситуации, чтобы воспеть этот мягкий серо-белый вырост длиной в полметра, пронизывающий наши позвонки до самой поясницы, — спинной мозг.

Спинной мозг... О, мы глубоко заблуждаемся, когда считаем, что он является лишь промежуточной инстанцией между головным мозгом и нервами тела, что он находится в подчинении головного мозга и сам способен управлять лишь несложными рефлексами естественных отравлений! Это еще как сказать: кто кому подчиняется, кто кем управляет! Спинной мозг является более почтенным, древним образованием, чем головной. Он выручал человека еще в те времена, когда у него не было достаточно развитой головы, когда он, собственно, не был еще человеком. Наш спинной мозг хранит память о палеозое, когда наши отдаленные предки — ящеры — бродили, ползали и летали среди гигантских папоротников; о кайнозое, времени возникновения первых обезьян. В нем отобраны и сохранены проверенные миллионами лет борьбы за существование нервные связи и рефлексы. Спинной

мозг, если хотите, наш внутренний очаг разумного консерватизма.

Что говорить, в наше время этот старик, который умеет реагировать на сложные раздражения современной действительности лишь с двух позиций: сохранения жизни и продолжения рода, — не может выручать нас повсеместно, как в мезозойскую эру. Но он еще влияет — на многое влияет! Берусь, например, показать, что часто именно он определяет наши литературные и кинематографические вкусы. Что? Нет, спинной мозг не знает письменности и не располагает специальными рефлексами для просмотра фильмов. Но скажите мне: почему мы часто отдаем предпочтение детективным картинам и романам, как бы скверно они ни были поставлены или написаны? Почему весьма многие уважают любовные истории: от анекдотов и сплетен до «Декамерона», читаемого выборочно? Интересно? А почему интересно? Да потому что накрепко записанные в спинном мозгу инстинкты самосохранения и продолжения рода заставляют нас накапливать знания — отчего помереть можно? — чтобы при случае спастись. Как и почему получается счастливая, завершающаяся в наследниках любовь? Как и отчего она разрушается? — чтобы самому не оплошать. И неважно, что такого опасного случая в вашей благоустроенной жизни никогда не будет; и неважно, что любовь состоялась и наследников хоть отбавляй! — спинной мозг зная гнет свою линию... Я не пытаюсь, подобно литературным критикам, зашельмовать такие устремления читателей и зрителей, как низменные. Нет, почему же? Это здоровые устремления, естественные устремления, полнокровные устремления. Если коровы когда-нибудь в процессе своей естественной эволюции научатся читать, они тоже начнут именно с детективов и любовных историй.

Но вернемся к студенту, головной мозг которого спасовал перед вопросом экзаменатора. «Эх, молодо-зелено», — как бы говорит спинной мозг своему коллеге, восприняв панический сигнал возбуждения, и начинает действовать. Прежде всего он направляет сигналы по мотоневронам всего тела: мышцы напрягаются в состоянии готовности. Первичные источники мышечной энергии: аденоцитрифосфорная кислота и креатинфосфат разлагаются в волокнах соответственно на аденоцидинифосфорную кислоту и креатин с отщеплением фосфорной кисло-

ты и выделением первых порций тепла... И снова хочу обратить ваше внимание на биологическую целесообразность повышения мышечного тонуса. Ведь опасность в древнем смысле требовала быстрых, энергичных движений: отрыгнуть, ударить, пригнуться, влезть на дерево. А поскольку пока неясно, в какую сторону надо отрыгнуть или нанести удар, то в готовность приводятся все мышцы.

Одновременно с мышцами возбуждается вегетативная первая система, начинает командовать всей кухней обмена веществ в организме. Ее сигналы достигают надпочечника, он выбрасывает в кровь адреналин, который возбуждает все и вся. Печень и селезенка, подобно губкам, впитывают в сосуды несколько литров запасной крови. Расширяются сосуды мышц, легких, мозга. Чаще стучит сердце, перекачивая во все органы тела кровь и вместе с ней — кислород и глюкозу... Спинной мозг и вегетативные нервы готовят организм студента к тяжелой, свирепой, длительной борьбе не на жизнь, а на смерть!

Но экзаменатора нельзя оглушить дубилой или хоть мраморной чертильщицей. Убежать от него тоже нельзя. Не удовлетворит экзаменатора, даже если преисполненный мышечной энергией студент вместо ответа выжмет на краю стола стойку на кистях... Поэтому вся скрытая бурная деятельность организма студента завершается бесполезным сгоранием глюкозы в мышцах и выделением тепла. Терморецепторы различных участков тела посылают в спинной и головной мозг тревожные сигналы о перегреве — и мозг отвечает на них единственно возможной командой: расширить сосуды кожи! Теплоноситель — кровь устремляется к кожным покровам (побочко это вызывает у студента рефлекс покраснения лиц), начинает прогревать воздух между телом и одежду. Открываются потовые железы, чтобы хоть испарением влаги помочь студенту. Рефлекторная цепь, возбужденная вопросом экзаменатора, наконец, замкнулась!

Я полагаю, что выводы из рассказанного как относительно роли знаний в правильной регуляции человеческого организма в нашей сложной современной среде, так и о роли их в регуляции студенческого организма на предстоящей сессии вы сделаете сами...

Из лекции проф. В. А. Андросиашвили
по курсу «Физиология человека»

...Да, он уезжал, чтобы стать самим собой, а не тем Кривошеиным, что живет и работает в Днепровске. Еще в поезде он выбросил в окно ключ от квартиры, который Валька заботливо сунул ему в карман; вымарал из записной книжки адреса и телефоны московских знакомых, даже родственницы тети Лапанальды. Нет у него ни знакомых, ни родственников, ни прошлого — только настоящее, от момента поступления на биофак, и будущее. Он знал простой, но верный способ, как утвердить себя в будущем; способ этот не подводил его никогда: работа.

Но было не только это.

...Когда-то физики усовершенствовали методы измерения скорости света — просто так, чтобы добиться высокой точности. Добились. И установили скандальный факт: скорость света не зависит от скорости движения источника света. «Не может быть! Врут приборы! Это же противоречит классической механике...» Проверили. Измерили скорость света другим методом — тот же результат. И почти законченное, логически совершенное мироздание, вздигавшееся в лесах прямоугольных координат, рухнуло, подняв ужасную пыль. Начался «кризис физики».

Человеческий ум часто стремится не к углубленному познанию мира, а к примирению всех фактов в нем; главное — чтобы вышло проще и логичнее. А потом неизвестно откуда выплывает лукавый неучтенный фактик, который не укладывается в идеально подогнанные друг к другу представления, и все надо начинать сначала...

Они тоже построили в своих умах простую и понятную картину того, как машина по информации о человеке создает человека. «Машина-матка» занималась детской игрой в кубики: комбинировала электрическими импульсами в жидкой среде молекулы в молекулярные цепи, молекулярные цепи в клетки, а клетки в ткани — с той лишь разницей, что «информационных кубиков» здесь было несчитанные миллиарды. Тот факт, что в результате такой игры получилось не чудище и даже не другой человек, а он, информационный двойник Кривошеина, свидетельствовал, что задача имела только одно решение. Ну, разумеется, иначе и быть не могло: ведь кубики складываются только в ту картинку, детали которой есть на ее гранях. Прочие же варианты (фрагментарная Лена, фрагментарный отец, «бред» памяти, глаза и щупы) были

просто информационным хламом, который не мог существовать отдельно от машины.

Это представление не было ошибочным — оно было просто поверхностным. И оно устраивало их, пока факты подтверждали, что они однотипны и во внешности, и в мыслях, и в поступках. Но когда у них возникли непримиримые разногласия на применение биологии в работе, это представление оказалось несостоятельным.

Да, именно то, что они не погляди друг друга, а не само увлечение биологией (которое у Кривошеина-2 могло бы и пройти без последствий), стало для его открытия тем же, чем факт постоянства скорости света был для теории относительности. Человек никогда не знает, что в нем банально, что оригинально; это познается лишь в сравнении себя с другими людьми. А в отличие от обычных людей Кривошеин-дубль имел возможность сравнивать себя не только со знакомыми, но и с «эталоном себя».

Теперь аспирант Кривошеин ясно понимал, в чем состояло их различие: разными были пути возникновения. Валентин Кривошеин возник три с лишним десятилетия назад таким же образом, как и все живое, — из эмбриона, в котором определенным расположением белковых молекул и радикалов была записана хорошо отработанная за тысячи веков и тысячи поколений программа построения человеческого организма. А «машине-матке», которая работала хоть и от индивидуальной кривошеинской, но все равно произвольной информации, приходилось заново искать и принципы образования, и все детали биологической информационной системы. И машина нашла другой путь по сравнению с природой: биохимическую сборку вместо эмбрионального развития.

Да, теперь он многое понимает. За год он прошел путь от ощущений до знаний и от знаний до владения собой. А тогда... тогда было лишь властное тяготение к биологии да невыразимая словами уверенность, что здесь надо искать. Даже Кривошеину ничего не смог толком объяснить.

В Москву он приехал со смутным чувством, что в нем что-то не так. Не болен, не психует, а именно надо в себе разобраться; убедиться, что его ощущения не навязчивая идея, не ипохондрические галлюцинации, а реальность.

Он работал так, что о днях, проведенных в институте в Днепровске, приходилось вспоминать как о каникулах.

Лекции, лаборатории, анатомический театр, библиотека, лекции, коллоквиумы, лаборатория, лекции, клиника, библиотека, лаборатории... Первый семестр он не выезжал с Ленинских гор, только перед сном выходил к парапету на склон Москвы-реки покурить, полюбоваться огнями, что на горизонте смыкались со звездами.

Сероглазая, чем-то похожая на Лену второкурсница всегда устраивалась возле него на лекциях Андросиашвили, которые Кривошеин приходил слушать. Однажды спросила: «Вы такой солидный, серьезный — наверно, после армии?» — «После заключения», — ответил он, свирепо выпятив челюсть. Девушка утратила интерес к нему. Ничего не поделаешь — девушки требуют времени.

...И он убеждался в каждом опыте, в каждом измерении: да, в срезе нервного жгута, что идет от мозга к горшине гипофиза, под микроскопом действительно можно насчитать около ста тысяч нервных волокон — значит, гипофиз подробно управляет мозгом. Да, если скормить обезьяне из вивария вместе с банановой кашей навеску бета-радиоактивного кальция, а потом гейгеровской трубкой считать меченные атомы в ее выделениях, то действительно выходит, что костные ткани обновляются примерно два раза в год. Да, если воткнуть иглы-электроды в первое волокно мышцы и отвести усиленные биотоки в наушники, то можно услышать ритмичное кваканье или дробный стук нервных сигналов, и по характеру своему эти звуки совпадают с тем, что он *ощущал!* Да, клетки кожи действительно движутся изнутри к поверхности, изменяют структуру, умирают, чтобы отшелушиться и уступить место новым.

Он исследовал и свое тело: брал пробы крови и лимфы; добыв из правого бедра срез мышечной ткани и внимательно просмотрел его сначала под оптическим, а потом и под электронным микроскопом; оклеветал себя, чтобы в клинике ему сделали «пробу Вассермана» (пигтючую операцию отбора спинномозговой жидкости из позвоночника для диагностики сифилиса)... И установил, что у него все было в норме. Даже количество и распределение нервов в тканях у него было таким же, как у учебных трупов в анатомическом театре. Нервы уходили в мозг, но туда он с помощью лабораторной техники забраться не мог: слишком много пришлось бы вживить в свой череп игольчатых электродов и со слишком многими

осциллографами соединить их, чтобы понять тайны себя. Да и понял ли бы? Или снова вышел бы «стрептоцидовый стриптиз» — только не в словах-числах, а в зубчатых линиях электроэнцефалограмм?

Ситуация: живой человек изучает, но не может даже с помощью приборов постигнуть тайны *своего* организма — сама по себе парадоксальна. Ведь речь идет не об открытии невидимых «радиозвезд» или синтезе античестиц: вся информация уже есть в человеке. Остается только перевести код молекул, клеток и нервных импульсов в код второй сигнальной системы — слова и предложения.

Слова и фразы нужны (да и то не всегда), чтобы один человек смог понять другого. Но необходимы ли они, когда требуется попять себя? Кривошеин этого не знал. Поэтому в ход шло все: исследования с приборами, работа воображения, чтение книг, анализ ощущений в своем теле, разговоры с Андросиашвили и другими преподавателями, наблюдения за больными в клинике, вскрытия...

Все, что возражал ему Вано Александрович в памятном декабрьском разговоре, было правильно, ибо определялось знаниями Андросиашвили о жизни, его верой в непреложную целесообразность всего, что создано природой.

Не знал профессор одного: что разговаривал с искусственным человеком.

Даже сомнения Вано Александровича в успехе его замысла были вполне основательны, потому что Кривошеин начал именно с инженерного «машинного» решения. Тогда же в декабре он принялся проектировать «электропотенциальный индуктор» — продолжение идеи все той же «шапки Мономаха». Сотни тысяч микроскопических игольчатых электродов, соединенных с матрицами самообучающегося автомата (на нем в лаборатории бионики моделировали условные рефлексы), должны были сообщать клеткам мозга дополнительные заряды, наводить в них через череп искусственные биотоки и тем связывать центры мышления в коре с вегетативной нервной системой.

Кривошеин усмехнулся: чудак, хотел этим примитивным устройством подправить свой организм! Хорошо хоть, что не забросил физиологические исследования из-за этого проекта.

...Вскрывая очередной труп, он мысленно оживлял его: представлял, что он сам лежит на топчане в секционном зале, это его белые волоконца нервов пробираются среди мышц и хрящей к лиловому, в желтых потеках жира сердцу, к водянистым гроздьям слюнных желез под челюстью, к серым лохмотьям опавших легких. Другие волоконца свиваются в белые спагетти нервов, идут к позвоночику, в спинной мозг и далее, через шею, под череп. По ним оттуда бегут сигналы-команды: сократиться мышцам, ускорить работу сердца, выжать слону из желез!

В студенческой столовой он таким же образом прослеживал движение каждого глотка пищи в желудок, силился представить и ощутить, как там, в темном пространстве, ее медленно разминают гладкие мышцы, разлагает соляная кислота и ферменты, как всасывается в стенки кишок мутно-желтая кашлица, — и иногда засиживался по два часа над остывшим шницелем.

Собственно, он вспоминал. Девять десятых его открытия приходится на то, что он вспомнил и понял, как было дело.

«Машине-матке» было просто ни к чему начинать с зародыша: она имела достаточно материала, чтобы «состроить» взрослого человека: Кривошеин-оригинал об этом позаботился. Первоначально в неопределенной биологической смеси в баке были только «блуждающие» токи и «плавающие» потенциалы от внешних схем — эти образные понятия из теоретической электротехники в данном случае проявляли себя в буквальном смысле. Затем возникли прозрачные нервные волокна и клетки — продолжение электронных схем машины. Поиск информационного равновесия продолжался: первая сеть становилась все сложней и объемней, в ней слои нервных клеток оформились в кору и подкорку — так возник его мозг, и, начиная с этого момента, он существовал.

Его мозг первоначально тоже был продолжением машинной схемы. Но теперь уже он принимал импульсы внешней информации, перебирал и комбинировал варианты, искал, как овеществить информацию в биологической среде, — собирая себя! В баке раскинулась — пока еще произвольная — сеть нервов; вокруг них стали возникать ткани мышц, сосуды, кости, внутренности — в том почти жидкоком состоянии, когда все это под воздействием нервных импульсов может растворяться, смешаться, изменить

строение... Нет, это не было осмысленной сборкой тела по чертежу, как не было и чертежа; продолжалась игра в кубики, перебор множества вариантов и выбор среди них того единственного, который точно отражает информацию о Кривошеине. Но теперь — как электронная машина оценивает каждый вариант решения задачи двоичными электрическими сигналами, так его мозг-машина оценивал синтез тела по двоичной арифметике ощущений: «да» — приятно, «нет» — больно. Неудачные комбинации клеток, неверное расположение органов отзывались в мозгу тупой или колющей болью; удачные и верные — сладостной удовлетворенностью.

И память поиска, память ощущений возникающего тела осталась в нем.

Жизнь создает людей, которые мало отличаются свойствами организма, но необыкновенно различны по своей психике, характерам, знаниям, душевной утонченности или грубости. «Машине-матке» поступила наоборот. Аспирант был тождествен Кривошеину по психике и интеллекту, да оно и понятно: ведь эти качества человека формируются в жизни тем же способом случайного поиска и отбора произвольной осмысленной информации; машина просто повторила этот поиск. А биологически они различались, как книга и черновик рукописи этой книги. Даже не один черновик, а все варианты и наброски, из которых возникло выношенное и отработанное произведение. Конечно содержание одинаково, но в черновиках исправлениями, дописками, вычеркиваниями записан весь путь поиска и отбора слов.

«Впрочем, это сравнение тоже несовершенно, — аспирант поморщился. — Черновики книг возникают ранние книги, а не наоборот! Да и если познакомить графомана со всеми черновыми вариантами «Войны и мира», разве это сделает его гением? Впрочем, кое-чему, наверно, научит... Э, нет, лучше без сравнений!»

Человек вспоминает то, что знает, лишь в двух случаях: когда надо вспоминать — целевое воспоминание — и когда встречается с чем-то хоть отдаленно похожим на записи своей памяти; это называют ассоциативным воспоминанием. Книжечки по биологии и стали тем намеком, который растревожил его память. Но трудность состояла в том, что помнил-то он не слова и даже не образы, а ощущения. Он и сейчас не может перевести все в слова — да, наверно, и никогда не сможет...

Впрочем, не это главное. Важно то, что такая информация есть. Ведь смогли же эти «знания в ощущениях» породить в нем четкую осмысленную идею: управлять обменом веществ в себе.

...Первый раз это получилось у него 28 января вечером, в общежитии. Получилось совсем как у павловских собак: искусственное выделение слюны. Только в отличие от них он думал не о пище (как раз поужинал кефиром и докторской колбасой), а о нервной регуляции слюнных желез. По обыкновению старался представить и ощутить весь путь первых сигналов от вкусовых рецепторов языка через мозг до слюнных желез и вдруг почувствовал, как рот наполняется слюной!

Еще не вполне осознав, как это получилось, он напряг мысль в испуганном протесте: «Нет!» — и во рту мгновенно пересохло!

В тот вечер он повторял мысленные приказы «Слюна!» и «Нет!» до тех пор, пока желваки не стало сводить судорогой...

Всю следующую неделю он сидел у себя в комнате — благо шли студенческие каникулы, на лекции и лаборатории не надо было отвлекаться. Приказам в мысленных ощущениях подчинялись и другие органы! Сначала удавалось управлять лишь грубо: из глаз текли ручьи слез, пот то обильно выступал по всей коже, то мгновенно высыпал; сердце или зтихало в полуобморочной вялости, или бешено отстукивало сто сорок ударов в минуту — середины не было. А когда он первый раз приказал желудку прекратить выделение соляной кислоты, то еле успел домчаться до туалета — такой стремительный понос прошиб его... Но постепенно он научился тонко и локально управлять внешними выделениями; даже смог однажды написать капельками пота на коже предплечья «ПОЛУЧАЕТСЯ!», как татуировку.

Потом он перенес опыты в лабораторию и прежде всего повторил на себе известный эффект «сахарного укола» Клода Бернара. Только теперь не требовалось вскрывать череп и колоть иглой промежуточный мозг: количество сахара в крови увеличивалось от мысленного приказа.

Но вообще с внутренней секрецией все обстояло гораздо сложнее — она не выдавала результаты команд-ощущений на-гора. Он искал себе пальцы и мышцы, проверяя, выполняют ли железы приказы мозга о выделении в кровь адреналина, инсулина, глюкозы, гормонов;

истерзал пищевод зондом для отбора желудочного сока, когда сознательно изменял кислотность... Все получалось — и все было очень сложно.

Тогда до него дошло: надо ставить организму общую цель — сделать то-то, произвести нужные изменения. В самом деле, ведь когда он идет, то не командует мышцам: «Правая прямая бедра — сократиться! Двуглавая — расслабиться! Левая икроножная — сократиться...» — ему до этого нет дела. Сознание дает общую установку: иди быстрее или медленнее, обойти столб, повернуть в подъезд. А нервные центры мозга сами распределяют задания мышцам. Так должно быть и здесь: ему нет дела до того, какие железы и сосуды будут производить различные реакции. Лишь бы они делали то, что он хочет!

Мешали слова, мешали образы. Он пытался разжевать до подробностей: печени — как синтезировать гликоген из аминокислот и жиров, расщепить гликоген до глюкозы, выделить ее в кровь; щитовидной железе — сократиться, выжать в кровь капельки тироксина; кровеносной системе — расширить капилляры в тканях больших грудных мышц, максимально сократить прочие сосуды — и ничего не получалось, грудные мышцы не наращивались. Ведь печень не знала, что она печень, щитовидная железа понятия не имела о термине «тироксин» и не могла представить себе его капельки. Аспирант Кричевский клялся за излишнее усердие на лекциях и в библиотеке. Результатом этих усилий была лишь головная боль.

В том-то и дело, что для обмена веществ в себе следовало избегать чисел, терминов и даже образов, а мыслить только в ощущениях. Задача сводилась к тому, чтобы превратить «знания в ощущениях» в третью сигнальную систему управления внутренней секрецией с помощью ощущений.

Самое смешное, что для этого не понадобились ни лабораторные приборы, ни схемы управления. Просто лежать в темной комнате, закрыв глаза и залепив пластырем уши, полудремотно прислушиваться к себе. Странные ощущения приходили изнутри: зудела, обновляя кровь, селезенка, щекотно сокращались кишечки, холодили под челюстью слюнные железы; сладостной судорогой отзывался на сигнал нервов надпочечник; порция крови, обогащенная адреналином и глюкозой, тепло расходо-

дилась по телу, как глоток крепкого вина: легким покалыванием извещали о себе нездоровье клетки мышц.

Если употребить инженерную терминологию, то он «прозванивал» свое тело нервами, как монтажник прозванивает электронную схему тестером.

К этому времени он уже четко представлял себе двойичную арифметику ощущений: «больно» — «приятно». И ему пришло в голову, что самый простой способ подчинить сознанию процессы в клетках — это заставить их болеть. Весьма возможно, что этому изобретению способствовал случай с сосулькой: идея пришла в голову после него.

Действительно, клетки, которые разрушались и гибли от различных причин, давали весьма ощутимо знать о себе. Они ныли, саднили, покалывали — будто кричали о помощи. Организм и сам, без команды «сверху», бросал им на помощь лейкоциты крови, тепло воспаленной ткани, ферменты и гормоны: оставалось либо ускорять, либо тормозить усилиями сознания эти микроскопические бои за жизнь.

...Он колол и резал мышцы всюду, куда только мог дотянуться иглой или ланцетом. Впрыскивал под кожу смертельные дозы культур тифозных и холерных бактерий. Дышал парами ртути, пил растворы сургумы и древесный спирт (на более быстroredействующие яды, правда, не хватило духа). И чем дальше, тем проще его организмправлялся со всеми осознаваемыми опасностями.

А потом он возбудил в себе рак. Возбудить в себе рак! Любой врач плюнул бы ему в глаза за такое заявление. Возбудить рак, мыслимое ли дело — для этого ведь надо знать, от чего возникают раковые опухоли. По совести говоря, он не стал бы утверждать, что знает причины рака — просто потому, что не может перевести на язык слов все те ощущения, что сопровождали перерождение клеток кожи на правом боку... Он начал с того, что выспрашивал пациентов, проходивших в лаборатории радиобиологии курс гамма-терапии: что они чувствуют? Это было немилосердно: расспрашивать напуганных, тоскующих, кривящихся от боли людей об их переживаниях и не обещать ничего взамен, — но так он вживался в образ больного раком.

...Опухоль разрасталась, твердела. От нее стали отвеваться наросты — причудливые и зелено-лиловые, как у цветной капусты. Боль грызла бок и плечо. В студен-

ческой поликлинике, куда он отправился на освидетельствование, ему предложили немедленно оперироваться, не хотели даже выпускать из кабинета. Он отвертелся, наврал, что желает сначала пройти курс гамма-терапии...

Аспирант Кривошеин, разминая папироску, вышел на балкон. Стояла теплая ночь. По загородному шоссе, махая лучами фар, промчалась автомашина. От созвездия Лебедя к Лире торопливо перебирались два огонька — красный и зеленый; за ними волочился рев реактивных двигателей. Как спичка по коробку, чиркнул по небу метеор.

...Когда же у себя в комнате, стоя перед зеркалом, он напряг волю и чувства, опухоль рассосалась в течение четверти часа. Через двадцать минут на месте ее было лишь багровое пятно величиной с блюдце; еще через десять минут — обычная чистая кожа в гусиных пупырьишках озоба: в комнате было довольно прохладно.

Но и знание, как устраниТЬ рак, он пока не может выразить в рецептах и рекомендациях. То, что он смог бы описать словами, никого не исцелит — разве что таких, как он сам, дублей, возникающих впервые. И все его знания применимы только к ним.

Со временем, вероятно, удастся преодолеть барьер между дублями «машин-матки» и обычными людьми. Ведь биологически они малоразличимы. А знания есть. Ну, не удастся выразить их словами — запишут на магнитные пленки колебания биопотенциалов, снимут карты температур, обработают числа анализов в вычислительных машинах — медицина ныне наука точная. Да в конце концов научатся записывать и передавать точные ощущения. Слова не обязательны: для большого главного — выздороветь, а не написать диссертацию о своем исцелении. Дело не в том...

Внимание аспиранта привлек всыхнувший внизу огонек. Он всмотрелся: прислонясь к фонарику столбу, прикуривал давешний широкоплечий верзила в плаще — сыщик. Вот он бросил спичку, стал мерно прохаживаться по тротуару.

«Нашел-таки, черт бы его взял! Вот прицепился!» У Кривошеина сразу испортилось настроение. Он вернулся в комнату, сел к столу читать дневник.

Глава девятая

Жизнь коротка. Ее едва хватает, чтобы совер-
шить достаточное количество ошибок. А уж по-
вторять их — недопустимая роскошь.

К. Прутков-инженер, мысль № 22

Теперь аспирант читал записи придиличиво, с ревнивым любопытством: ну, чего же достиг он, который намеревался «ручки вертеть»?

«1 июня. Уфф... все! Информационная камера готова. Завтра начинаю опыты с кроликами. Если следовать общей традиции, то полагается начинать с лягушек... но чтобы я взял в руки эту гадость! Нет, пускай жабами занимается мой дубль-аспирант. Аспирант суть первый ученик в науке, ему приличествует прилежание.

Как-то он там?»

«2 июня. Оспастил кроликов датчиками, запустил в камеру — всех сразу. Пусть нагуливают информацию».

«7 июня. Четыре дня кролики обитали в камере: лакомились морковкой и капустными листьями, трясли ноздрями, дрались, спаривались, дремали. Сегодня утром сделал первую пробу. Надел «шапку Мономаха», мысленно скомандовал «Можно!» — и «машина-матка» сработала! Четыре кролика-дубля за полтора часа.

Гора с плеч — машина действует.

Любопытная деталь: зримое возникновение кроликов (что делается до этого, не знаю) начинается с кровеносной системы; красно-синие сосуды намечаются в золотистой жидкости точь-в-точь как в желтке насиженного курицей яйца.

Ожив, кролики всплывали. Я их вылавливал за уши, купал, тепленьких и дрожащих, в тазике, потом подсаживал к обычным. Встреча естественных и искусственных двойников носила еще более пошлый характер, чем некогда у нас с дублем. Они недоуменно пялились друг на друга, обнюхивались и (поскольку у них нет второй сигнальной системы, чтобы объясняться) начинали драку. Потом уставали, снова обнюхивались и далее вели нормальную кроличью жизнь.

Главное, машина работает по моему заказу, без отсебятины. Надеть «шапку», вспомнить (желательно зrimo), какого именно кролика ты хочешь продублировать, дать мысленное разрешение — и через 25—30 минут он барах-

тается в баке. Противоположную операцию — растворение возникающего кролика по команде «Нет!» — «машина-матка» тоже выполняет безукоризненно.

За успехи и прилежание я скармливаю ей соли, кислоты, глицерин, витамины и прочие реактивы по списку. Совсем как селедку дрессированному тюленю».

«20 июня. Когда получается, так получается. А вот когда не получается, так хоть головой бейся... Все эти дни я пробую остановить синтез кролика на какой-нибудь стадии. Какие только команды я не перепробовал: «Стоп!», «Замри!», «Хватит!», «Нуль!» — и в мысленном и в звуковом выражении — и все равно: либо синтез идет до конца, либо происходит растворение.

Похоже, что «машина-матка» работает как триггер вычислительной машины, который либо занерп, либо открыт, а в промежуточном положении остановиться не может. Да, но сложной машине следует вести себя более гибко, чем этой ерундовой схемке.

Пробуем еще...»

«6 июля. Жизнь остановить нельзя — вот, пожалуй, в чем дело. Всякая остановка жизни есть смерть. Но смерть — это только миг, за которым начинается процесс распада или в данном случае растворения. А я синтезирующую живые системы. Да и сама «машина-матка» — собственно, живой организм. Поэтому ничего в ней застыть не может.

А жаль, это было бы очень удобно...

Сегодня появился на свет первый приплод от искусственного самца и обычной крольчихи — восемь беленых крольчат. Это, наверно, важный факт. Только и без того очень уж много у меня кроликов.

Черт возьми, но должна же «машина-матка» подчиняться более тонким командам, чем «Можно!» и «Нет!». Я должен управлять процессом синтеза, иначе все замыслы мои летят в тартарары...»

«7 июля. Так вот как ты работаешь, «машина-матка»! И до чего же просто...

Сегодня я приказал машине еще раз воспроизвести кролика-альбиноса Ваську. Когда он прозрачным видением проявился в середине бака, я сосредоточил внимание на его хвостике и вообразил его длиннее. Никаких изменений не последовало. Это было что-то не то. Я так и подумал с досадой: «Не то...» — и тут в кролике все начало меняться! Контуры тела заколебались в медленном ритме: тело,

уши, лапы и хвост кроля то удлинялись и утолщались, то укорачивались и худели; органы внутри пульсировали в том же ритме. Даже цвет крови стал меняться от темно-вишневого до светло-красного и обратно.

Я вскочил со стула. Кролика продолжало «трясти». Формы его все более искачались, окарикатуривались; дрожание становилось все более частым и размашистым. Наконец альбинос расплылся в серо-лиловую туманность и растворился.

Сначала я напугался: картина напоминала давний «брёд» машины! Вот только ритм. Все колебания размеров и оттенков были удивительно согласованы...

И тут я все понял. Сам понял, черт побери! — желаю это отметить.

Первоначальную информацию о кролике машина получила конкретную и однозначную. Она комбинировала все информационные детали, искала точный вариант; но там ищи не ищи — что записано, то и воспроизведешь. Из деталей мотоцикла не соберешь пылесос.

И вдруг в машину поступает сигнал «Не то» — не отрижение и не утверждение — сигнал сомнения. Он нарушает информационную устойчивость процесса синтеза кролика; грубо говоря, сбивает машину с толку. И она начинает искать: что же «то» — простым методом проб (чуть больше, чуть меньше), чтобы не нарушить систему... Но машина не знает, что «то», и не получает подтверждений от меня. Тогда происходит полное расстройство системы и растворение: не то — значит не то...

И тогда (вот чем хороша работа исследователя: напал на жилю и в течение дня при помощи одной-двух идей можешь сделать работу, которую иначе не осилишь и за годы!) я снова надел «шапку Мономаха» и скомандовал машине «Можно!». Теперь я знал, что буду делать с дублем кролика. Он образовался. Я сосредоточил внимание на его хвосте (цепь связи: биоимпульсы от сетчатки моих глаз с изображением кроличьего хвоста ушли в мозг — в «шапку Мономаха» — в машину, а там — сравнение и отбор информации — машина зафиксировала мое внимание) и даже поморщился, чтобы выразительней вышло: «Не то!» В машину пошел мощный разбалансирующий импульс информации.

И хвостик стал укорачиваться. Чуть-чуть...

«Не то!»

Хвостик дрогнул, чуть удлинился...

«Вот-вот! То!»

Хвост замер. «Не то!» Еще удлинился...

«То!» Замер. «Не то! То! Не то! То!» — и дело пошло. Самым трудным было уловить колебание в нужную сторону — и подтолкнуть. Дальше я транслировал в «машину-матку» уже не элементарные команды «то — не то», а просто молчаливое поощрение. Хвост удлинялся; в нем выросла цепочка мелких позвонков, они покрылись волокнами мышц, розовой кожей, белой шерстью... Через десять минут дубль-Васька стегал себя по бокам мокрым белым хвостом, как разъяренный тигр.

А я сидел на стуле в «шапке Мономаха», и в голове творилась невообразимая толчая из «Н-ну!..», «Вот это да!..», «Елки-палки!..», «Уфф...» — как всегда, когда еще не можешь выразить все словами, но чувствуешь: понял, теперь не уйдет! И лицо мое, наверно, выражало ту крайнюю степень блаженства, какая бывает только у пускающего слону идиота.

Все. Никакой мистики. «Машина-матка» работает по той же системе «да — нет», что и обычные вычислительные машины...»

— Правильно, — кивнул аспирант. — Но... это довольно грубое управление. Впрочем, для машины... да чего там, молодец!

«...Но, черт, как все-таки здорово! По моей команде «да», «не то», «нет» машина формирует клетки, ткани, кости... Это могут лишь живые организмы, да и то гораздо медленнее.

Ну, голубушка, теперь я выжму из тебя все!»

«15 июля. Теперь мы, что называется, сработались с машиной. Точнее, она научилась принимать, расшифровывать и исполнять не разбитые на последовательность «то» и «не то» приказы моего мозга. Суть обратной связи и содержание команд осталось прежним — просто все происходило очень быстро. Я воображаю: что и как надо изменить в возникающем дубле-кролике. Ну, все равно как если бы я рисовал или лепил этот кроличий образ.

Машина теперь — мои электронно-биохимические руки. Как это роскошно, великолепно: усилием мысли лепить разнообразных кроличьих уродцев! С шестью ногами, с тремя хвостами, двухголовых, без ушей или, наоборот, с отвислыми мохнатыми ушами дворняг. Что там доктор Моро с его скальпелем и карболкой! Единственное орудие

труда — «шапка Мономаха»; не надо даже ручки вертеть.

Самое занятное, что эти уродцы живут: чешутся четырьмя лапами и наворачивают морковку в две пасти...»

— Легкая работенка, — с завистью пробормотал аспирант. — Просто как в кино: сиди, посматривай... Ничего не болит, нечего бояться. Никаких тебе сильных страстей — инженерная работа...

Он вздохнул, вспоминая свои переживания. К болям при различных автовивисекциях он привык сравнительно просто: когда знаешь, что болезнь пройдет, рана заастет, боль становится обычным раздражителем, вроде яркого света или громкого звука — неприятно, но не страшно. Когда знаешь... В своих продуманных опытах он это знал. Любое новое изменение он начинал тоже с малых проб — проверял ими, как выдерживает изменение организм; на крайний случай под рукой всегда были лекарства, амуллы нейтрализаторов и антибиотиков, телефон, по которому можно вызвать «Скорую помощь». Но был у него один непродуманный опыт, в котором он едва не погиб... Собственно, это был даже не опыт.

...Шел факультативный практикум по радиobiологии. Студенты-третьякурсанты обступили бассейн учебного уранового реактора, с уважением смотрели на темный ячеистый цилиндр в глубине — от него рассеивался в воде зеленый спокойный свет, на тросики, никелированные штанги, рычаги и штурвальчики управления над ним.

— Это красивое, цвета молодой травы сияние вокруг тела реактора, — сочным баритоном говорил профессор Валерно, — называется «черенковским свечением». Оно возникает от движения в воде сверхбыстрых электронов, кои, в свою очередь, возникают при делении ядер урана-235...

Кривошеин ассистировал, то есть просто сидел в сторонке, скучал и ждал, когда профессор пригласит его произвести демонстрационный опыт. Собственно, Валерно за милую душу мог бы произвести этот «опыт» сам или попросить студента, но ему при его научном чине полагался квалифицированный ассистент. «Вот и сиди...» — уныло размышлял Кривошеин. Потом ему пришло в голову, что он не испытывал еще на себе лучевую болезнь. Он встрепенулся, стал обдумывать, как это сделать. «Взять колбу воды из реактора и для начала устроить себе легкий радиационный ожог... Дело-то серьезное!»

— ..Наличие интенсивного черенковского свечения в воде свидетельствует о наличии интенсивной радиации в окрестности тела реактора, — нудно объяснял Валерно, — что и не удивительно: цепная реакция. Возрастание яркости свечения свидетельствует о возрастании интенсивности радиации, уменьшение яркости — соответственно о противоположном. Вот, прошу смотреть, — он повернул штурвальчик на щитке вправо и влево. Зеленый свет в бассейне мигнул.

— А если крутануть совсем вправо, взрыв будет? — опасливо осведомился рыжий веснушчатый юноша в очках.

— Нет, — еле сдерживая зевок, ответил профессор (такой вопрос задавали на каждом занятии). — Там ограничитель. И, помимо него, в реакторе предусмотрена автоблокировка. Как только интенсивность цепной реакции превзойдет дозволенные пределы, автомат сбрасывает в тело реактора дополнительные графитовые стержни... вон те, видите? Они поглощают нейтроны и гасят реакцию... А теперь познакомимся с действием радиоактивного излучения на живой организм. Валентин Васильевич, прошу вас!

Кривошеин подкатил к бассейну тележку с аквариумом, в котором извивался черным, отороченным баухом плавников телом и скалил мелкие зубы полуметровый угорь.

— Вот угорь речной, *Anguilla*, — не новорачивая головы, объявил Валерно, — самая живучая из речных рыб. Когда Валентин Васильевич выплеснет его в бассейн, угорь, повинуясь инстинкту, тотчас уйдет в глубину... м-м... что лично я на его месте не делал бы, поскольку самые удачливые экземпляры через две-три минуты возвращаются оттуда к поверхности вверх брюхом. Впрочем, смотрите сами. Прошу засечь время. Валентин Васильевич, действуйте!

Кривошеин перевернул аквариум над бассейном, щелкнул секундомером. Студенты склонились над барьера. Черная молния метнулась к вымощенному серым кафелем дну бассейна, описала круг, другой, перечеркнула зеленое зарево над цилиндром. Видимо, ослепнув там, угорь ударился о противоположную стенку, шарахнулся назад...

Вдруг свечение в бассейне сделалось ярче — и в этом зеленом свете Кривошеин увидел такое, что у него похолодела脊椎: угорь запутался в тросиках, на которых висели графитовые стержни, регуляторы реакции, и бился

среди них! Один стержень выскочил из ячейки, отлетел зеленою налочкой в сторону. Свечение стало еще ярче.

— Все назад! — быстро оценив ситуацию, скомандовал побледневший Валерно. Баритон его как-то сразу сел. — Прошу уходить!

Дернулся по первым аварийным звонкам. Защелкали контакторы автомата блокировки. Свет в воде замигал, будто в бассейне вели электросварку, и стал еще ярче. Студенты, прикрывая лица, отхлынули к выходу из зала. В дверях возникла давка.

— Прошу не волноваться, товарищи! — совсем уж фальцетом закричал потерявшай голову Валерно. — Концентрация урана-235 в тепловыделяющих элементах реактора недостаточна для атомного взрыва! Будет лишь тепловой взрыв, как в паровом котле!

— О господи! — воскликнул кто-то.

Затрещали двери. Какая-то девушкишка завизжала дурным голосом. Кто-то выругался. Веснушчатый студент-очкарик, не растерявшийся, схватил со стола двухпудовый синхроноскоп С1-8, высадил им оконную раму и вслед за нею ринулся вниз... В несколько секунд зал опустел.

В первый миг паники Кривошеин метнулся за всеми, но остановил себя, подошел к реактору. От цилиндра поднимались частые крупные бульбы, клубилась вода — вместо спокойного свечения в бассейне теперь полыхал зеленый костер. Угорь больше не беспновался, но выбитые им графитовые стержни перекосились и заклинились в гнездах.

«Закипит вода — и облако радиоактивного пара на всю окрестность, — лихорадочно соображал Кривошеин. — Это не хуже атомного взрыва... Ну, могу? Боюсь... Ну же! На кой черт все мои опыты, если я боюсь? А если как угорь?.. Э, черт!»

(Даже сейчас аспиранту Кривошеину стало не по себе: как он мог решиться? Возомнил, что ему уже все ни почем? Или сработала психика мотоциклиста, представилось, будто проскакиваешь между двумя встречными грузовиками: главное — не раздумывать, вперед!.. Пьянящий миг опасности, рев машин, и с колотящимся сердцем вырываешься на асфальтовый простор! Но ведь здесь был не «миг» — вполне мог остаться в бассейне в компании с дохлым угрем.)

Порыв мотоциклетной отваги охватил его. Обрывая пуговицы, он сбросил одежду, перекинул ногу через

барьер, но — «Стоп! Спокойно, Валька!» — прыгнул от бассейна к препараторскому столу, надел резиновые перчатки, герметичные очки («Эх, акваланг бы сейчас!..» — мелькнула мысль). Набрал в легкие воздух и плюхнулся в бассейн.

Даже поодаль от реактора вода была теплая. «Тысяча один, тысяча два...» — Кривошеин, инстинктивно отворачивая лицо, шагнул по скользким плиткам к центру бассейна. «Тысяча шесть...» — стал нашаривать в бурлящей воде. Резиновые перчатки касались непонятно чего, пришлось все-таки взглянуть: угорь, свившись в петлю между тросов, висел чуть ниже. «Тысяча десять, тысяча одиннадцать...» — осторожно, чтобы ненароком не выдернуть, стержни, потянул обмякшее тело рыбы. «Тысяча шестнадцать...» Рукам стало горячо, хотел отдернуть, но сдержался и медленно выводил угря из пучиницы тросов. Очки оказались не такими уж герметичными, струйки радиоактивной воды просочились к векам. Прищурился. «Тысяча двадцать, тысяча двадцать один...» — вывел! Зеленое сияние замерцало, стержни беззвучно скользнули в цилиндр. В бассейне сразу стало темно.

«Тысяча двадцать пять!» Резким толчком Кривошеин отпрянул к стенке, выпрыгнул до пояса из воды, ухватился за барьер, вылез. «Тысяча тридцать...»

Хватило ума попрыгать, чтобы стряхнуть с себя лишнюю губительную влагу, даже покататься по полу. Насухо вытер штанами лицо, глаза. «Только бы не ослепнуть раньше, чем добегу». Оделся кое-как, бросился прочь из зала.

Хрипло взревел на проходной сигнализатор облучения. Высунулись, преграждая путь, скобы автотурникета. Он перепрыгнул турникет, побежал прямо по свежевскончанному газону к общежитию.

«Тысяча семьдесят, тысяча семьдесят один...» — машинально отсчитывал время мозг. Сумерки помогли не встретить знакомых; только у ограды зоны «Б» кто-то крикнул вслед: «Эй, Валя, ты куда спешишь?» — кажется, аспирант Нечипоров со смежной кафедры. «Тысяча восемьдесят, восемьдесят один...» Кожа зудела, чесалась, потом ее начали колоть миллионы игл: это утонченная в прежних опытах первая система извещала, что протоны и гамма-кванты из распавшихся ядер расстреливают молекулы белка в клетках эпителия, в окончаниях кожных нервов, пробивают стенки кровеносных сосудов, ранят бе-

лые и красные тельца крови. «Тысяча сто... тысяча сто пять...» Теперь покалывание перекинулось в мышцы, в живот, под череп; в легких засаднило, будто от затяжки крепчайшего самосада-вергугна. Это кровь разнесла взорванные атомы и раздробленные белки по всему телу.

«Тысяча двести пять... двести восемь... идиот, что же я наделал?! Двести двенадцать...» — уже не было замысла, не было порыва. Был страх. Хотелось жить. Живот стали подергивать тошнотворные спазмы, рот переполнила слюна с медным привкусом. Задев на бегу массивную входную дверь так, что она загудела, Кристоффер понял: кружится голова. Потемнело в глазах. «Двести сорок один... не побегу?» Надо было подняться на четвертый этаж. Он наотмашь хлестнул себя по щекам — в голове прояснилось.

В темноту комнаты вместе с ним ворвалось сумеречное сияние. Первые секунды Кристоффер бессмысленно и рас slabленно кружил по комнате. Страх, тот неподвластный сознанию биологический страх, который гонит раненого зверя в нору, едва не погубил его: он забыл, что нужно делать. Стало ужасно жаль себя. Тело наполнила звенящая слабость, сознание уходило. «Ну и пропадай, дурак», — безразлично подумал он и почувствовал прилив небывалой злобы на себя. Она-то и выручила его.

Одежда в зеленых, как лишии на деревьях, пятнах полетела на пол; в комнате стало еще светлее: светились ноги, на руках были видны волосы и рисунок вен. Кристоффер бросился в душевую, повернул рукоятку крана. Свистнула холодная вода, потекла, отрезвляя, по голове, по телу, образовала на резиновом коврике переливающуюся изумрудными тонами лужу и на необходимые, чтобы собрать в кулак мысли и волю, мгновения взводила его.

Теперь он, как стратег, командовал разыгравшейся в теле битвой за жизнь. Кровь, кровь, кровь бурлила во всех жилах! Лихорадочный стук сердца отдавался в висках. Мириады капилляров вымывали из каждой клетки мышц желез, высасывали из лимфы поврежденные молекулы и частицы; белые тельца стремительно и мягко обволакивали их, разлагали на простейшие вещества, уносили в селезенку, в легкие, в печень, почки, кишечник, выбрасывали к потовым железам... «Перекрыть костные сосуды!» — мысленными ощущениями приказывал он первым, вовремя вспомнив, что радиоактивность может осесть в костном, творящем кровяные тельца мозгу.

Прошло несколько минут. Теперь он выдыхал радиоактивный воздух со слабо светящимися парами воды; отплевывал священную слюну, в которой накапливались разрушенные радиоактивные клетки мозга и мышц головы; смывал с кожи зеленоватые капли пота, то и дело мочился красивой изумрудной струей. Через час выделения перестали светиться, но тело еще покалывало.

Так он провел в душевой три часа: глотал воду, обмывался и выбрасывал из организма все поврежденное радиацией. Вышел в комнату за полночь, шатаясь от слабости и физического истощения. Отпихнул подальше в угол светящиеся тряпки одежды, повалился на койку — спать!..

На следующий день ему все время хотелось пить. Он зашел в радиометрическую лабораторию, поводил вокруг себя щупом счетчика Гейгера — прибор потрескивал по-обычному, отмечая лишь редкие космические частицы.

— Елки-палки, когда ты успел так похудеть?! — изумился, встретив его у лекционной аудитории, аспирант Нечипоров...

«Да, по результатам этого, конечно, был знатный опыт, — усмехнулся аспирант. — Одолел сверхсмертельную дозу облучения! Но по исполнению... пст, с такими «опытами» баловаться пакладио. Лучше вот как он».

«27 июля. Дублей и уродцев развелось у меня великое множество, — продолжал аспирант чтение дневника. — Нормальных кроликов выпускаю в парк, уродцев по одному выношу в спортивном чемоданчике с территории, увозжу в Червонный Гай за Днепр.

Ну, все. Наслаждение повизгкой открытия пропало. Мне это падругательство над природой уже противно: хоть и кролик, но ведь живая тварь. Эти недоуменно косящие друг на друга глаза у двух голов па одной шее... бр-р! Впрочем, какого черта? Я напел способ управления биологическим синтезом, испытывал и отрабатывал его. Наука в конечном счете создает способы — не конструкции, не вещества, не предметы обихода, а именно способы: как все это сделать. И никакой исследователь не упустит случая выжать из своего способа все возможное.

Между прочим, вчера в институтской столовой появилось блюдо «Кролик жареный с картошкой молодой, цена 45 коп.». «Гм?! Будем считать, это совпадением.

Но возможно и такое применение открытия: разводить на мясо кролей, коров, улучшать породу... при промышленной постановке дела окажется паверняка выгоднее обычного животноводства...

Завтра я возвращаюсь к опытам по синтезу человека. Методика ясна, нечего тянуть. И все равно при одной мысли об этом у меня начинает сосать под ложечкой. Возвратиться к синтезу человека... Одно дело, когда мой дубль возник сам по себе, почти нечаянно, как оно и в жизни бывает; другое дело изготавливать человека сознательно, как кролика. В сущности, мне предстоит не «возвратиться», а начать...

Что это за существо такое — человек, что я не могу работать с ним так же спокойно, как с кроликами?!

Восстановим масштабы. Плавает в черном пространстве звездная туча Метагалактика. В ней чечевицеобразная пылинка из звезд — наша Млечный Путь. На окраине его Солнце, вокруг — планеты. На одной из них — ни самой большой, ни самой маленькой — живут люди. Три с половиной миллиарда, не так и много. Если выстроить всех людей в каре, то человечество можно оглядеть с Эйфелевой башни. Если сложить их, то получится куб со стороной в километр, только и всего. Кубический километр живой и мыслящей материи, молекула в масштабе Вселенной... И что?

А то, что я сам человек. Один из них. Ни самый пизкий, ни самый высокий. Ни самый умный, ни самый глупый. Ни первый, ни последний. А кажется, что самый. И чувствуешь себя в ответе за все...»

Глава десятая

В заботе о ближнем главное — не перестасть.

К. Прутков-инженер, мысль № 33

«29 июля. Сижу в информационной камере в окружении датчиков, на голове «шапка Мономаха». Веду дневник, потому что больше заняться решительно нечем. Этую неделю мне и ночевать предстоит в камере, на раскладушке.

Сижу, стало быть, и мудрствую.

Итак, человек. Высшая форма живой материи.

Каркас из трубчатых косточек, податливые комочки белков, в которых заключено то, что ученые и инженеры стараются проанализировать и воспроизвести в логических схемах и электронных моделях, — Жизнь, сложная, непрерывно действующая и непрерывно меняющаяся система. Миллионы бит информации ежесекундно проникают в нас через первые окончания глаз, ушей, кожи, носа, языка и превращаются в электрические импульсы. Если усилить их, то в динамике можно услышать характерные «дрр-р... др-р...» — бионики мне однажды демонстрировали. Пулеметные очереди импульсов разветвляются по первым, усиливаются или подавляются друг друга, суммируются, застревают в молекулярных ячейках памяти. Огромный коммутатор — мозг — сортирует их, сравнивает с химическими записями внутренней программы, в которой есть все: мечты и желания, долг и цель, инстинкт самосохранения и голод, любовь и ненависть, привычки и знания, суеверия и любопытство, — составляет команды для исполнительных органов. И люди говорят, бегут, целуются, пишут стихи и доносы, летят в космос, чешут в затылке, стреляют, нажимают кнопки, воспитывают детей, задумываются...

Что же главное?

У меня вырисовывается способ управляемого синтеза человека. Можно вводить дополнительную информацию и тем изменять форму и содержание человека. Это будет — к тому идет. Но какую информацию вводить? Какие исправления делать? Вот, скажем, я. Допустим, это меня будет синтезировать машина (тем более что это так и есть): что я хотел бы в себе исправить?

Так сразу и не скажешь. Я к себе привык. Меня гораздо больше занимают окружающие, чем своя личность... Во-во, все мы так — хорошо знаем, чего хотим от окружающих: чтобы они не отравляли нам жизнь. Но что мы хотим от самих себя?

Вчера у меня был такой разговор:

— Скажи, Лен, какого бы ты хотела иметь сына?

— А... что?

— Ну, каким бы ты хотела видеть его, например, уже взрослым человеком?

— Красивым, здоровым, умным, талантливым даже... честным и добрым. Пусть будет твоего роста примерно...

нет, лучше повыше! Пусть бы он стал скрипачом, а я ходила бы слушать его концерты. Пусть будет похож на..., да, господи, чего ты заговорил об этом? Ой, понимаю: ты решил сделать мне предложение! Да? Как интересно! Начинай по всем правилам, не исключено, что я соглашусь. Ну!

— М-м... да нет, я так, вообще...
— Ах, вообще! Сын в абстракте, да?
— Именно.

— Тогда тебе надо обсуждать этот вопрос с некой абстрактной женщиной, а не со мной!

Женщины все воспринимают удивительно конкретно. Впрочем, из того, что она сказала, можно выделить одно качество — быть умным. Это то, в чем я разбираюсь.

Логическое мышление у людей действует гораздо хуже, чем у электронных систем. Скорость переработки информации мизерная: 15—20 бит в секунду, — поэтому то и дело приходится включать «линии задержки». Спроси у человека внезапно что-нибудь посложнее, чем «Который час?» — и услышишь в ответ: «А?» или «Чего?» Это не значит, что собеседник тут па ухо — просто за время, пока ты повторяешь вопрос, он лихорадочно соображает, что ответить. Иногда и этого времени недостаточно, тогда раздается: «Мм-м... видите ли... э-э... как бы это вам получше объяснить... дело в том, что...»

Перекур. А то засиделся. На волю!

Утро похоже на мелодию скрипки. Зелень свежа, небо сине, воздух чист...

Вон шагает по парку в институтский гараж Паша Пушкин — слесарь, запивоха и плут; он мужественно несет на покатых плечах проклятие своей фамилии. Сейчас я на нем проверю!

— Скажи, Паша, что ты хочешь от жизни в такое утро?

— Валентин Васильевич! — Слесарь будто ждал этого вопроса, смотрит на меня восторженно и проникновенно. — Вам я скажу, как родному: десять рублей до получки! Ей-богу, отдам!

От растерянности я вынимаю десятку, даю и лишь потом соображаю, что Паша никому и никогда долгов не отдавал, не было такого факта.

— Спасибо, Валентин Васильевич, век не забуду! — Пушкин торопливо прячет деньги. Припухлое лицо его

выражает сожаление, что он не попросил больше. — А что вы хотите от жизни в такое утро?

— М-м... собственно... видишь ли... ну-у... хотя бы получить деньги обратно.

— За мой не пропадет! — и Паша шествует дальше.

М-да... как же это я? Выходит, и у меня с логическим мышлением слабина? Странно: моя нервная сеть каждую секунду перерабатывает целую Ниагару информации, с помощью ее я совершаю сложнейшие, не доступные никаким машинам движения (пишу, например), а вот чтобы вовремя сообразить... Словом, следует подготовить для ввода в «машину-матку» информацию о том, как быть умным, хорошо соображать. Если мне бог не дал, надо хоть для нового дубля порадеть. Пусть будет умнее меня, авось не подсидит».

«3 августа. Да, по чтобы ввести в машину информацию, надо же ее иметь! А ее нет.

Сейчас я делю время между информационной камерой и библиотекой. Переbral не меньше тонны всякой литературы — и ничего.

Можно было бы увеличить объем мозга дубля — это нетрудно: я вижу, как возникает мозг. Но связи между весом мозга и умом человека нет: мозг Анатоля Франса весил килограмм, мозг Тургенева — два кило, а у одного кретина мозг потянул почти три килограмма: 2 килограмма 850 граммов.

Можно бы увеличить поверхность коры мозга, число извилин; это столь же не трудно. Но связи между числом извилин и интеллектом тоже нет: у дрозда гораздо больше извилин, чем у нашего ближайшего родича орапутанга. Вот тебе и птички мозги!

Я знаю, с чем связан ум человека: с быстродействием наших первых ячеек. Это совершенно ясно, для электронных машин быстродействие имеет самое важное значение. Не успела машина решить задачу за то короткое время, пока в стартующей ракете сгорает топливо, — и ракета, вместо того чтобы выйти на орбиту, кувырком летит на землю.

Большинство глупостей делаются нами аналогичным образом: мы не успеваем за требуемый отрезок времени решить задачу, не успеваем сообразить. Задачи в жизни — не проще задач вывода ракеты на орбиту. А времени всегда в обрез. Страшно подумать, какое количество глупостей совершаются в мире из-за того, что мы

можем переработать за секунду лишь два десятка бит логической информации, а не две сотни бит!

И что же? Огромное количество статей, отчетов, монографий по усовершенствованию логики и ускорению работы вычислительных машин (хотя их быстродействие приближается уже к 10 миллионам операций в секунду) — и ничего об улучшении логики и быстродействия человеческого мышления. Сапожник ходит без сапог.

Словом, как ни грустно, но этот замысел придется отставить до лучших времен...

Аспирант Кривошеин задумчиво потер шею. «Да, действительно...» Он не думал над этой проблемой, как-то не пришло — может быть, потому, что с аспирантской стипендии не очень-то одолжишь? Единственно, чем он занимался, это усовершенствованием своей памяти, да и оно пришло само собой: слишком много требовалось помнить одновременно для преобразования себя. А когда опыт колчался, пещурная информация мешала новой работе. Так ему пришлось освоить химию направленного забывания: «стирать» в коре мозга те мелкие подробности новых знаний, которые проще заново додумать, чем помнить.

Но это совсем другое дело. А о логическом быстродействии мозга он не думал. Аспиранту стало неловко: так влез в биологию, даже забыл, что пришел в нее как инженер-системолог изыскивать новые возможности в человеке... Выходит, не он вел работу, а работа увела его? Делал то, что в руки давалось. «Человечество может погибнуть из-за того, что каждый делает лишь то, что в руки дается», — сказал Андросиашвили. И очень просто.

«Но к этой проблеме не легко подступиться: в человеке информацию переносят ионы, от них не добьешься такого быстродействия, как от быстрых и легких электронов вычислительных машин... Э, я, кажется, оправдываю себя! Человек умеет очень быстро решать сложные задачи: двигаться, работать, говорить, а по части логики у него просто мало биологического опыта. Животным в процессе эволюции не требовалось думать, им надо было во всех ситуациях «принимать меры»: укусить, завыть, прыгнуть, подползти — и чем быстрей, тем лучше. Вот если бы животным для успеха в борьбе за существование требовалось решать системы уравнений, вести дип-

ломатические переговоры, торговать и осмысливать мир... будь здоров, какая у них развилась бы логика! Здесь надо подумать, поискать...»

«4 августа. Мерцание лампочек на пульте ЦВМ-12 успокоилось. Это значит, что вся информация обо мне запечатлена в «машине-матке». Где они сейчас, мои мечты, недостатки характера, строение кишечника, мысли и позаурядная внешность — в кубах «магнитной памяти»? В ячейках кристаллоблока? Или растворились в золотистой жидкости бака? Не знаю, да это и неважно.

Завтра пробное воспроизведение. Только проба, и ничего больше».

«5 августа. 14 часов 5 минут — «Можно!». В баке из солнечного цвета жидкости начал возникать новый прозрачный «я». Картина такая же, как и при возникновении кролика, только одновременно с кровеносной системой в верхней части бака образуется расплывчатый сероватый сгусток; из него потом формируется мозг. Мозг, для которого у меня нет улучшающей информации. Видит око, да зуб неимет...

К четырем часам пополудни новый дубль овеществился до непрозрачной стадии; на нем наметились трусы и майка...

...Если бы полгода назад кто-нибудь мне сказал, что в методику моих опытов войдут вопросы жизни и смерти, морали и уголовного законодательства, я вряд ли смог бы достойно оценить такую остроту. А сегодня я стоял возле бака и думал: «Вот сейчас он оживет, вынырнет из жидкости... Зачем? Что я с ним буду делать?»

— Я существовал и до появления в машине, — сказал мне первый дубль. — Я был ты.

И он был недоволен своим положением. И с этим у нас тоже начнутся прелести совместной жизни: разогласия из-за Лены, опасения, что застукают, проблема тахты и раскладушки... И главное: это не то, чего я ждал от нового опыта. Я хочу вести управляемый синтез человека, а это только проба. Проба удалась: машина воспроизводит меня. Надо идти дальше.

Но если растворить его командой «Нет!» — это же смерть? Но, простите, чья смерть? Моя? Нет, я живу. Дубля в баке? Но он ведь еще не существует...

Не подсудное ли дело — мои эксперименты? А с другой стороны, если я в каждом опыте буду плодить своих дублей, не есть ли это злоупотребление служебным положе-

жением? Дубль-аспирант прав: это действительно «та работа!»

Все это, пожалуй, от слабости души. В современном мире люди во имя идей и политических целей идут сами и посыпают других людей убивать и умирать. Есть идеи и цели, которые оправдывают такое. У меня тоже большая идея и большая цель: создать способ, улучшающий человека и человеческое общество; ради нее я, если понадобится, и себя не пожалею. Так почему же я боюсь в интересах своей работы скомандовать «Нет!»? Надо быть жестче, раз уж взялся за такое дело.

Тем более что это все-таки не смерть. Смерть есть исчезновение информации о человеке, но в «машине-матке» информация не исчезает и лишь переходит из одной формы (электрические импульсы и потенциалы) в другую, в человека. Всегда по первому требованию я могу выдать нового дубля...

Я раздумывал, пока шланги, расходившиеся от бака, не начали ритмично сокращаться, отсасывать лишнюю жидкость. Тогда я надел «шапку», приказал машине «Нет!».

Очень неприятно видеть: был человек — и растворился. И сейчас не по себе... Ничего, парень, не спеши. Я тебя сработаю так, что любо-дорого. Правда, я не могу прибавить тебе ума сверх того, что имею сам, но внешность я тебе сделаю такую — закачаешься. Ведь в тебе, как и во мне, множество изъянов: кривоватые ноги, слишком широкие и толстые бедра, сутулая спина, туловище как обрубок бревна, масса лишних волос на ногах, на груди и на спине. А оттопыренные уши, а челюсть, которая придает моему лицу вид исполнительного турицы, а лоб, а нос... нет, будем самокритичны: такая внешность ни к черту не годится!»

«6 августа. Проба вторая — час от часу не легче! Сегодня я вознамерился одним махом исправить внешность нового дубля и оконфузился так, что вспоминать неприятно.

Я начал опыт, точно зная, что «не то» в моей внешности (собственно, все не то, если могу изменить). Но что «то»? В опытах с кроликами критерием «то» было все, что мне заблагорассудится. Но человек не кролик; хоть и говорят: одна голова хорошо, а две лучше, но никто и никогда не понимал это в биологическом смысле.

Когда после команды «Можно!» возник образ нового двойника и полупрозрачные сиреневые мышцы живота стали покрываться желтым налетом жира, я дал сигнал «не то!». Машина, подчиняясь моему воображению, растворила жировую ткань там, где я ее видел: на животе и около шеи. А на спине и на боках жир остался...

Я это не сразу заметил, потому что взялся исправлять лицо. Воображением придал лбу дубля благородные очертания, а когда взглянул сбоку, пришел в ужас: череп сплюснулся с затылка! Да и форма лба явно противоречила остальной части лица.

Словом, я растерялся. Машина справедливо восприняла это как сплошное «Не то!» и растворила дубля.

Я стал в тупик. «То» — безусловно, красота человеческого тела. Классические образцы есть. Но... в течение двух часов синтеза превратить дубля в приятного мужчину с античными формами — такая задача не под силу не то что неподготовленному мне, но и самому квалифицированному ваятелю Союза художников СССР! Единственная надежда, что машина запоминает все вносимые в дубля изменения.

Тогда я еще раз скомандовал «Можно!». Да, «машина-матка» все запоминает: в дубле сохранились мои бездарные поправки. Это уже легче, можно работать столько сеансов, сколько понадобится.

В этот сеанс я окончательно снял линии жир с тела дубля. У него исчезло брюшко, даже наметилась талия, шея приобрела четкие очертания... Для начала хватит. «Нет!» Все растворилось, я побежал в городскую библиотеку.

Сейчас листаю Атлас пластической анатомии профессора Г. Гицеску (в запасе еще четыре богато иллюстрированные книги об искусстве эпохи Возрождения), вникаю в пропорции человеческого тела, подбираю дублю внешности, как костюм. Каноны Леонардо да Винчи, каноны Дюрера, пропорции Шмидга-Фрича... Оказывается, у пропорционально сложенного мужчины ягодицы расположены как раз на половине роста. Кто бы мог подумать!

Боже, чем бедному инженеру приходится заниматься!

Беру за основу Геркулеса Фарнезского, благо он показан в атласе со всех сторон».

«14 августа. Двенадцать проб — и все не то. Аляповато, вульгарно. То одна нога получается короче другой,

то руки разные. Вот что: лучше проектировать дубля по пропорциям дюреровского Адама».

«20 августа. Пропорции есть. А с лицом хоть илач. Безглазый мертвый слепок с чертами Кривошеина. Крупные мраморные завитки рыжего цвета вместо волос. Словом, сегодня было двадцать первое «Нет!».

Кто-то осторожный и недоверчивый во мне все спрашивает: «А это то? Способ, который ты разрабатываешь сейчас, это тот способ?»

По-моему, да. Во всяком случае, это шаг в том направлении. Пока я ввожу для синтеза человека лишь высококачественную информацию о его теле. Но таким же образом можно (со временем мы придумаем, как это сделать) вводить в «машину-матку» любую накопленную человечеством информацию о наилучших человеческих качествах и создавать не только внешне красивых и физически сильных людей, но и красивых и сильных по своим умственным и душевным качествам. Обычно в людях хорошее перемешано с плохим: тот умен, да слаб духом, другой имеет сильную волю, но по глупости или невежеству употребляет ее по пустякам, а третий и умен, и тверд, и добр, да здоровьем слаб... А по этому способу можно будет отбросить все плохое и синтезировать в человека только самые лучшие качества людей.

«Синтетический рыцарь без страха и упрека» — это, наверно, ужасно звучит. Но в конце концов какая разница: синтетические или естественные? Лишь бы их было побольше. Ведь их очень мало, таких «рыцарей», — лично я знаком с ними только по книгам да по кино. А они очень нужны в жизни: каждому найдется и место и работа. И каждый из них может повлиять, чтобы дела в мире шли лучше».

«28 августа. Получается! Эх, мазилы несчастные, пытающиеся кистью или молотком запечатлеть в мертвом материале красоту и силу живого человека! Вот она, моя «кисть»: электронно-химическая машина, продолжение моего мозга, моего воображения. И я — инженер, не художник! — не прикладывая рук, усилием мысли воспроизвожу красу живого в живом.

Изящные и точные пропорции дюреровского Адама и рельефная геркулесовая мускулатура. И лицо приятное... Еще две-три доводки — и все».

«1 сентября, первый день календаря! Сейчас я иду в лабораторию. Брюки для него есть, рубашка есть, туфли

есть. В чемоданчик! Да, не забыть кинокамеру — буду снимать возникновение великолепного дубля. Предвкушаю заранее, какое потрясение умов произведет когда-нибудь демонстрация этого любительского фильма!

Сейчас я приду, надену «шапку Мономаха» и мысленно скомандую... нет, скажу, произнесу, черт побери, сильным и красивым голосом, каким когда-то в подобной ситуации говорил бог Саваоф:

— Можно! Явись на свет, дубль Адам-Геркулес-Кривошеин!

«И увидел бог, что вышло хорошо...»

Конечно, я не бог. Я месяц создавал человека, а он управился за сокращенный рабочий день, субботу. Но разве ж то была работа?

Глава одиннадцатая

Человек всегда считал себя умным — даже когда ходил на четвереньках и закручивал хвост в виде ручки чайника. Чтобы стать умным, ему надо хоть раз основательно почувствовать себя дураком.

К. Прутков-инженер, мысль № 59

Следующая запись в дневнике поразила аспиранта Кривошеина неровным, будто даже изменившимся почерком.

«6 сентября. Но ведь я не хотел... не хотел и не хотел я такого! Мне сейчас в пору закричать: не хотел я этого! Я старался, чтобы получилось хорошо... без халтуры и ошибок. Даже почками не спал, лежал с закрытыми глазами, представлял во всех подробностях тело Геркулеса, потом Адама, намечал, какие надо внести в дубля изменения.

И я не мог уложиться в один сеанс. Никак не мог, поэтому и растворял... Не выпускать же калеку с ногами и руками разной длины. И я знать не знал, что в каждое растворение я убиваю его. Откуда я мог это знать?!

...Как только жидкость обнажила его голову и плечи, дубль ухватился своими могучими руками за край бака, выпрыгнул — а я как раз водил кинокамерой, запечатлевал исторический миг появления человека из машины —

и упал передо мной на линолеум, захлебываясь от хрипкого воющего плача. Я кинулся к нему:

— Что с тобой?

Он обнимал липкими руками мои ноги, терся о них головой, целовал мои руки, когда я пытался его поднять:

— Не убивай меня! Не убивай меня больше! За что ты меня, оооо! Не надо! Двадцать пять раз... двадцать пять раз ты меня убивал, о-о-о!

Но я же не знал. Я не мог знать, что его сознание ожидало в каждую пробу! Он понимал, что я перекраиваю его тело, изгаяясь перед ним как хочу, и ничего не мог поделать. И от моей команды «Нет!» сначала растворялось его тело, а потом угасало сознание... Что же тот идиот искусственный молчал, что сознание начинает работать раньше тела?!

— Ах, черт! — растерявшись пробормотал аспирант. — Ведь в самом деле — мозг и выключиться должен последним... Постой, когда это было? — Он перевернулся страницы, посмотрел даты и вздохнул с некоторым даже облегчением: нет, он не виноват. В августе и сентябре он ничего не мог сообщить, сам еще не понимал. Веди он этот опыт — ошибся бы точно так же.

«...И получился человек с классическим телосложением, приятной внешностью и сломленной психикой забитого раба. «Рыцарь без страха и упрека»...

Виляй теперь, ищи виноватых, подопок: не знал, старался! Только ли старался? Разве не было самолюбования, разве не ощущал ты себя богом, восседающим на облаках в номенклатурном кожаном кресле? Богом, от колебаний мысли и настроения которого зависело, возникнуть или раствориться человеку, быть ему или не быть. Разве не испытывал ты такого интеллектуального сладострастия, когда снова и снова отдавал «машине-матке» команды «Можно!», «Не то!», «Нет!»?

...Он сразу же попытался выбраться из лаборатории, убежать. Я еле уговорил его помыться и одеться. Он весь дрожал. О том, чтобы он работал вместе со мной в лаборатории, не могло быть и речи.

Пять дней он жил у меня, страшные пять дней. Я все надеялся: опомнится, отойдет... Где там! Нет, он

здоров телом, все знает, все помнит — «машина-матка» добросовестно вложила в него мою информацию, мои знания, мою память... Но над всем этим не подвластный ни его воле, ни мыслям страх пережитого. Волосы его в первый же день поседели от воспоминаний.

Ко мне он испытывал неодолимый ужас. Когда я возвращался домой, он сразу вскакивал, становился в пригнувшуюся позу: его гладиаторская спина сутулилась, руки с могучими буграми мышц расслабленно обвисали — он будто старался стать меньше. А глаза... о, эти глаза! Они смотрели на меня с мольбой, с затравленной готовностью умилистировать непонятно чем. Мне становилось страшно и неловко. Никогда не видел, чтобы человек так смотрел.

А сегодня ночью, где-то в четвертом часу... сам не знаю, почему я проснулся. На потолке был серый мертвый свет от газосветных фонарей с улицы. Дубль Адам стоял надо мной, заносил над моей головой гантель. Я отчетливо видел, как напряглись мышцы правой руки для удара. Несколько секунд мы в оцепенении глядели друг на друга. Потом он перво захихикал, отошел — босые ноги шаркали по паркету.

Я сел на тахте, включил верхний свет. Он скорчился на полу возле шкафа, уткнул голову в колени. Плечи и гантель в руке тряслись.

— Что же ты? — зло спросил я. — Надо было бить, раз нацелился. Все, глядишь, полегчало бы на душе.

— Не могу забыть, — бормотал он сквозь судорожные всхлипывания гулким баритоном, — понимаешь, не могу забыть, как ты меня убивал... двадцать пять раз!

Я раскрыл стол, выложил свой паспорт, инженерный диплом, деньги, какие были, потряс его за илличи:

— Встань! Одевайся и уходи. Уезжай куданибудь, устраивайся, работай, живи. Вместе у нас ничего не получится: ни тебе покоя, ни мне... Я не виноват! Черт побери, ты можешь понять, что я не знал?! Я делал то, чего никто еще не делал, — мог же я что-то не знать?! Человек может родиться уродом или душевнобольным, может сделаться им после болезни, после аварии, но там некого винить, некому раскроить череп гантелью. Okажись ты на моем месте, получилось бы то же самое, ибо ты — это я, понимаешь?!

Он пятился к стене, трясясь. Это меня отрезвило.

— Извини. Бери мои документы, я здесь как-нибудь

обойдусь. Вот смотри, — я раскрыл паспорт, — на фотокарточке ты даже больше похож на меня, чем я сам... Фотограф, наверно, тоже стремился усовершенствовать мою физиономию. Бери деньги, чемодан, одежду — и дуй на волю. Поживешь сам, поработаешь — может, отойдешь.

Два часа назад он ушел. Условились, что напишет мне с места, где устроится. Не напишет...

Все-таки хорошо, что он покушался меня убить. Значит, не раб — обиду чувствует. Может, у него все и восстановится?

А я сижу... ни одной мысли в голове. Надо начинать сначала... О природа, какая ты все-таки стерва! Как тебе нравится смеяться над нашими замыслами! Поманишь, а потом...

Брось! Брось, виноватых ищешь — природа здесь ни при чем, она в твоей работе участвует только на элементарном уровне. А дальше все твое, нечего вилять.

Зазвенел будильник: четверть восьмого — время вставать, умываться, бриться, иди на работу... Мутное солнце над домами, небо в дымах, грязное, как застиранная занавеска. Ветер поднимает пыль, полощет деревья, дует в балконную дверь. Внизу у дома троллейбус слизывает людей с остановки. Они накапливаются снова, у всех одинаковое выражение лиц: как бы не опоздать на работу!

И мне надо на работу. Сейчас приду в лабораторию, запишу в журнальчик результат неудачного эксперимента, утешу себя прописями: «на ошибках учатся», «в науке нет проторенных дорог...» Возьмусь за следующий опыт. И снова буду ошибаться, калечить не образцы — людей?.. Самовлюбленный мечтательный кретин, вооруженный новейшей техникой!

Ветер полощет деревья... Все было: дни поисков и открытий, вечера размышлений, ночи мечтаний. Вот ты и наступило, ясное холодное утро, которое вечера мудреней. Беспощадное утро! Наверно, именно в такое трезвое время дня женщины, промечтав ночь о ребенке, идут делать аборт. И у меня получился аборт, выкидыши... Я мечтал, я хотел людям счастья, а создал уже двоих несчастных. Не одолеть мне такую работу. Я слаб, ничтожен и глуп. Надо браться за что-нибудь посредственное, чтоб по плечу — для статьи, для диссертации. И все будет благополучно.

Ветер полощет деревья. Ветер полощет деревья...

На соседнем балконе проигрыватель исполняет «Реквием» Моцарта. Мой сосед доцент Прищепа настраивает себя с утра на математический лад. «Rekvi... rekviem...» — чисто и непреложно отрещают кого-то от жизни голоса. Под такую музыку хорошо бы застрелиться — никто не обратил бы внимания на выстрел.

Ветер полощет деревья...

Что же я наделал? А ведь были сомнения, потом и не сомнения — знание: знал, что любое внесенное мною изменение остается в нем, что «машина-матка» все помнит. Не придал значения? Почему?

...Была мысль, не выраженная даже словами, чтоб не так стыдно было, или чувство благонолучной безопасности, что ли: это же не я. Это происходит не со мной... И еще — чувство безнаказанности: что захочу, то и сделаю, ничего мне не будет...

Не застrelишься, падло! Ничего ты с собой не сделаешь — доживешь до пенсионного возраста и еще будешь ставить свою жизнь в пример другим...

Ветер полощет деревья. Троллейбус слизывает людей с остановки...

Я не хочу идти на работу».

«20 сентября. Серый асфальт. Серые тучи. Мотоцикл глотает километры, как лапшу. Застыл у дороги пацан, и по его позе понятно, что он сейчас пампертво решил: вырасту большим — буду мотоциклистом на красном мотоцикле. Становясь мотоциклистом, пацан, не становясь только исследователем...

Все прибавляю газ. Стрелка спидометра перевалила за девяносто. Ветер наотмашь хлещет по лицу. Показался встречный самосвал — прет, конечно, по самой середине дороги, даже с захватом левой стороны. Эти сволочи, водители самосвалов, мотоциклистов за людей не считают, норовят согнать на обочину. Ну, этому я не уступлю!

Нет, я не врезался. Жив. Вот записываю, как мчал сегодня с остекленевшими глазами неизвестно куда и зачем. Надо же что-то записывать... Самосвал в последнюю секунду вильнул вправо. В зеркальце заднего вида я наблюдал, как водитель выскоил на дорогу, махал мне вслед кулаками.

Собственно, если бы я и разбился, какая разница? Есть запасной Кривошеин в Москве... Сил нет, какое у меня сейчас отвращение ко всему. И к себе.

...Как он дрожал, как обнимал мои ноги — сильный, красивый «не я»! А ведь мог я понять и предотвратить, мог! Но решил: сойдет и так, чего там! Ведь он — не я.

А все было так интересно, хорошо, красиво: мы мечтали и разглагольствовали, заботились о благе людей, принимали клятву... стыд-то какой! А в работе пренебрег тем, что создаю человека. Обо всем думал: об изящных формах, об интеллектуальном содержании, а то, что ему может быть больно и страшно, как-то и в голову не пришло. Сварганил на скорую руку «обоснование», что информационной смерти в опыте нет, — и ладно. А была смерть как акт насилия над ним.

Как же так получилось? Как получилось?

Белые столбики вдоль шоссе отражают звук мотора: чак-чак-чак-как получилось? Чак-чак-чак-как получилось? Спидометр показывает сто десять, мелькают сероватые полосы из земли и деревьев. На такой скорости я мог бы уйти от погони, спасти кого-нибудь, приехав вовремя! Но мне не от кого убегать и некого спасать. Мне было кого спасать, но там требовалось честно думать, а не выжимать ручку газа. Честно думать...

Я могу преодолевать различные высоты, стихии, — и усилием мысли и усилием мышц — чего там! Со стихиями ясно, преодолеть их можно. А вот как преодолеть себя?

Сейчас я перелистал дневник — и даже страшно стало: до чего же подла и угодлива моя мысль! Вот я рассуждаю о том, что беды людей происходят от их беспричинности, от того, что считают «свою хату с краю», а через несколько страниц я ловко обосновываю расположение своей «хаты с краю»: не надо заводиться с Гарри Хилобоком, пусть делает свою докторскую диссертацию... Вот я размышляю о том, как сделать, чтобы из открытия получилось «хорошо», а вот я призываю себя к жестокости со ссылками на убийства в мире... Вот я (или мы с дублем-аспирантом, все равно) принижаю себя до уровня заурядного инженера, которому трудно и непривычно вести такую работу — моральная перестраховочка на случай, если не выйдет; а вот, когда стало получаться, я равняю себя с богом... И все это я писал искренне, не замечал никаких противоречий.

Не замечал? Не хотел замечать! Так было приятно и удобно: красоваться, лгать самому себе от чистого сердца, приспособливать идеи и факты к своему душевному ком-

форту. Выходит, думал-то я в основном не о человечестве, а о самом себе? Выходит, эта работа, если оценить ее не с научной, а с моральной стороны, была просто незаурядным пижонством? Конечно, где уж тут заботиться о каких-то экспериментальных образцах!

Что же ты за человек, Кривошеин?»

«22 сентября. Не работаю. Нельзя мне сейчас работать... Сегодня съездил на мотоцикле в Бердичев иено-нитно зачем и, кстати, понял смысл таинственной фразы, что когда-то выдали печатающие автоматы. Двадцать шесть копеек — это цена заправки: пять литров бензина, двести граммов масла — ее как раз хватает от Бердичева до Днепровска... Раскрыл еще одну «тайну»!

Где-то сейчас дубль Адам, куда уехал?

...И это существо, которое машина пыталась выдать сразу после первого дубля: полу-Лена, полу-я... Оно наверно, тоже пережило ужас смерти, когда мы приказали «машине-матке» растворить его? И батя... О черт! Зачем я думаю об этом?

Батя... последний казак из рода Кривошеиных. По семейному преданию, праотцы мои происходят из Запорожской Сечи. Жил когда-то казак лихой, повредили ему шею в бою — вот и пошли Кривошеины. Когда императрица Катенька разогнала Сечь, они переселились в Заволжье. Дед мой Карп Васильевич избил попа и станового пристава, когда те решили упразднить в селе земскую школу, а вместо нее завести церковноприходскую.. Я понятия не имею, какая между ними разница, но помер дед на каторге.

Батя участвовал на всех революциях, в гражданскую воевал у Чапаева ротным.

Последнюю войну он воевал стариком, лишь первые два года. Отступал по Украине, вывел свой батальон из окружения под Харьковом. Потом по причине ранения и нестроевого возраста его перевели в тыл, в Зауралье военкомом. Там, в станице, он, солдат и крестьянин, учил меня ездить верхом, обхаживать и запрягать лошадей, пахать, косить, стрелять из винтовки и пистолета, копать землю, рубить тальник осоавиахимовской саблей; заставлял и кур резать и свинью колоть плоским штыком под правую лопатку, чтоб крови не боялся. «В жизни пригодится, сынок!»

...Незадолго до его кончины «ездили мы с ним на его родину в Мироновку, к двоюродному брату Егору Степа-

новичу Кривошенну. Когда сидели в избе, выпивали по слуху встречи, примчался внучонок деда Егора:

— Деда, а в Овчьеи балке, где плотишу ставят, шкилет из глины вырыли!

— В Овчьеи? — переспросил батя. Старики переглянулись. — А ну пошли посмотрим...

Толпа рабочих и любопытствующих расступилась, давая дорогу двум грузно шагавшим дедам. Серые трухлявые кости были сложены кучей. Отец потыкал палкой череп — тот перевернулся, показал дыру над правым виском.

— Моя! — батя победно поглядел на Егора Степановича. — А ты, значит, промазал, руки тряслись?

— Почем ты знаешь, что твоя?! — оскорбленно за-драл бороду тот.

— Ну, разве забыл? Он ведь в село возвращался. Я по правую сторону дороги лежал, ты — по левую... — и батя для убедительности вычертил палкой на глине схему.

— Это чьи же останки, старики? — строго спросил моложавый прораб в щегольском комбинезоне.

— Есаула, — сощурившись, объяснил батя. — В первую революцию уральские казаки в нашем селе квартировали — так это ихний есаул. Ты уж милицию не тревожь, сынок. Замнем за давностью лет.

...Как это было славно: лежать в ночной степи за селом с отцовской берданкой, поджидать есаула — как за идею, так и за то, что он, сволочь, мужиков нагайкой порол, девок на гумно возил! Или лететь на коне, чувствуя тяжесть шашки в руке, примериваться: рубануть вон того, бородатого, от погона наискось!

А я последний раз дрался лет восемнадцать назад, да и то не до победы, а до звонка на урок. И на коне не скакал с Зауральских времен. Всей моей удали — обгоня на мотоцикле при встречном транспорте.

Не боюсь я, батя, ни крови, ни смерти. Только не пригодилась мне твоя простая наука. Теперь революция продолжается другими средствами, открытия и изобретения — оружие посеребренной сабель. И боюсь я, батя, ошибиться...

Врешь! Врешь! Снова красуешься перед собой, пижон, подонок! Неистребимое стремление к пижонству... Ах, как красиво написано: «Боюсь я, батя, ошибиться» и про революцию. Не смей об этом!

Ты намеревался синтезировать в людях (да, в людях, а не в искусственных дублях!) благородство души, которого в тебе нет; красоту, которой у тебя нет; решительность поступков, которой ты не обладаешь; самоотверженность, о которой ты понятия не имеешь...

Ты из хорошей семьи; твои предки умели и работать и отстаивать правое дело, быть гадов: когда кулаком, когда из берданки, спуску не давали... А что есть ты? Выступал ли ты за справедливость? Ах, не было подходящего случая? А не избегал ли ты — умненько и осторожно — таких случаев? Что, неохота вспоминать?

То-то и есть, что я всего боюсь: жизни, людей. Даже Лену я люблю как-то трусливо: боюсь приблизить — боюсь и потерять. И, боже упаси, чтобы не было детей. Дети усложняют жизнь...

А то, что я таюсь со своим открытием, — разве не из боязни, что я не смогу отстоять правильное развитие его? И ведь верно: не смогу... Я слабак. Из породы тех умных слабаков, которым лучше не быть умными. Поэтому что ум им дан только для того, чтобы понимать свое падение и бессилие...

Аспирант Кривошенин закурил, стал нервно ходить по комнате. Читать эти записи было тяжело — ведь написано было и о нем. Он вздохнул, вернулся к столу.

«...Спокойно, Кривошенин. Спокойно. Так можно договориться до истерических поступков. А работа все-таки на тебе... Не все еще потеряно, не такой уж ты сукин сын, что следует немедленно удавиться.

Могу даже представить себя в выгодном свете. Я не использовал это открытие для личного успеха и не буду использовать. Я работал на полную силу, не волынил. Теперь я разбираюсь в сути дела. Так что я не хуже других. Ошибся. А кто не ошибался?

Да, но в этой работе сравнения по относительной шкале — хуже или лучше я других — неприменимы. Другие занимаются себе исследованием кристаллов, разработкой машин; они знают свое дело туго — и этого достаточно. Вздорные черты их характера отправляют жизнь только им самим, сотрудникам по лаборатории и ближайшим родственникам. А у меня не та специфика. Для того чтобы делать Человека, мало знать, мало иметь исследовательскую хватку, умело «рукоятки вертеть» — надо самому быть Человеком; не лучше или хуже других, а в абсолютном смысле: рыцарем без страха и

упрека. Я бы и не прорыч, только не знаю как. Нет у меня такой информации...

Выходит, мне эта работа не по зубам?»

«8 октября. В нашем парке желто-красная осень, а я не могу работать. Полно сухой листвы, самый пустяковый дождик поднимает на ней странный шум, а после распространяется кофейный запах прели. А я не могу работать...

Может, ничего этого и не надо? Хорошая наследственность, качественное трудовое воспитание, гигиенические условия жизни... Пусть умные люди сами воспроизведут себя: заводят побольше детей с хорошей наследственностью. Прокормить смогут, заработка хватит — они ведь умные люди... И воспитать смогут — они же умные люди... И не потребуется никаких машин...

Сегодня звонил Гарри Хилобок. В институте организуется постоянно действующая выставка «Успехи советской системологии», и, понятное дело, он ее попечитель.

— Не дадите ли что-нибудь, Валентин Васильевич?
— Нет.

— Что ж вы так? Вот отдел Ипполита Илларионовича Вольтампернова три экспоната выставляет, другие отделы и лаборатории многое дают. Надо бы хоть один экспонат по вашей теме, неужели до сих пор ничего нет?

— Нет. Как дела с системой биодатчиков, Гарри Харитонович?

— Э, Валентин Васильевич, что значит одна система в сравнении со всей системологией, хе-хе! Будем делать, а как же, но пока, сами понимаете, все бросили на борьбу за оформление выставочных стендов, макетов, демонстрационных табло, трафаретные надписи на трех языках составляем, а как же, голова кругом, и лаборатория перегружена и мастерские, но если у вас, Валентин Васильевич, появится что-то для выставки, устроим, это у нас зеленой улицей идет...

Я чуть было не сказал ему, что именно система биодатчиков нужна мне, чтобы осчастливить выставку своим экспонатом (пусть делает, а там посмотрим), но сдержался. Все бы тебе ловчить, Кривошеин!

Разбрелись мои экспонаты по белу свету. Один грызет гранит биологической науки в Москве, другие — травку и капусту на огородах. Один и вовсе забежал неизвестно куда...

Выставить, что ли, «машину-матку» для потрясения академической общественности? Производить для демонстрации двухголовых и шестилапых кролей — по две штуки в час... То-то будет шума.

Нет, брат. Это устройство делает человека. И от этого никуда не денешься».

Глава двенадцатая

Любое действие обязывает. Бездействие не обязывает ни к чему.

К. Прутков-инженер

«11 октября. Повторяю опыты по управляемому синтезу кроликов — просто так, чтобы механизмы не простиали. Снимаю все на пленку. Будет кинодокумент. Граждане, предъявите кинодокументы!»

«13 октября. Изобрел способ, как надежно и быстро уничтожить биологическую информацию в «машине-матке». Можно назвать его «электрический ластик»; подаю на входы кристаллблока и ЦВМ-12 напряжение от генератора шумов, и через 15—20 минут машина забывает все о кроликах. Будь у меня этот способ раньше вместо команды «Нет!», я каждый раз уничтожал бы дубля Адама необратимо и основательно.

Не знаю только, было бы это ему приятнее...

Время осипает листья, холодит небо. А дело стоит. Не могу я снова браться за серьезные опыты, духу не хватает. Растирался я...

Ну, вот что, Кривошеин! Можно считать доказанным, что ты не бог и не царь Земли. А раз так, то следует искать помощи у других. Надо идти к Аркадию Аркадьевичу...

— Эге! — нахмурился аспирант Кривошеин.

«...Следует поступать в установленном порядке. Он — мой начальник. Впрочем, дело не в этом: он — умный, знающий и влиятельный человек. И великолепный методист, умеет четко формулировать любые задачи. А «сформулированная задача, — как написано в его «Введение в системологию», — есть записанное в неявной форме решение данной задачи». Этого мне как раз не хватает.

И тему мою он поддержал на ученом совете. Правда, он не в меру величествен и честолюбив, но столкнемся. Ведь он умный человек, поймет, что в этой работе слава — не главное.

Э, погоди! Благие намерения само собой, а разумная осторожность не помешает. Выдавать Азарову за здорово живешь святая святых открытия — что «машина-матка» может синтезировать живые системы — нельзя. Нужно начать с чего-нибудь попроще. «А там посмотрим», как он сам любит выражаться.

Нужно синтезировать в машине электронные схемы. Это то, на что нападал старик Вольтампернов, и это, кстати сказать, моя официальная тема на ближайшие полтора года.

«Надо, Валентин Васильевич, надо!»

Прикинем схему опыта. Вводим в жидкость шесть проводов: два — питание, два — контрольный осциллограф и два — генератор импульсов. Задаю машине через «шапку Мономаха» параметры типовых схем, примерные размеры. Здесь я точно знаю, что «то», что «не то» — дело знакомое».

«15 октября. В баке возникают закругленные квадратики коричневого цвета, похожие на гетинакс. На них оседают металлические линии проводников схемы, прослойки изоляторов, накладываются друг на друга пленочки конденсаторов, рядом пристраиваются полоски сопротивлений, пятна диодов и транзисторов... Это похоже на пленочную технологию, которая сейчас развивается в микрэлектронике, только без вакуума, электрических разрядов и прочей пиротехники.

И до чего же приятно после всех головоломных кошмаров щелкать переключателями, подстраивать рукоятками резкость и яркость луча на экране осциллографа, отсчитывать по меткам микросекундные импульсы! Все точно, ясно, доступно. Будто домой вернулся из дальних краев... Черт меня занес в эти края, в темные джунгли под названием «человек» без проводника и компаса. Но кто проводник? И что компас?

Ладно. Параметры схем соответствуют, тема 154 на половину выполнена; то-то Ипполит Илларионович будет рад!

Иду к Азарову. Покажу образцы, объясню кое-что и буду намекать на дальнейшие перспективы. Приду завтра и скажу:

— Аркадий Аркадьевич, я пришел к вам как умный человек к умному человеку...

«16 октября. Сходил... разлетелся на распостертье объятия!

Итак, утром я основательно продумал разговор, прихватил образцы и направился к старому корпусу. Осеннее солнце озаряло стены с архитектурными излишествами, гранитные ступени и меня, который поднимался по ним.

Подавление моей психики началось от дверей. О эти государственные трехметровые двери из резного дуба, с витыми аршинными ручками и тугими пневмопружинами! Они будто специально созданы для саженных мордатых молодцов-бюрократов с ручицами, широкими, как сковородки на дюжину лиц: молодцы открывают двери легким рывком и идут ворочать большими нужными делами. Проникнув сквозь двери, я стал думать, что разговор с Азаровым не следует начинать с шокирующей фразы («Я пришел к вам как умный к умному...»), а наоборот субординацию: он академик, я инженер.

А когда поднимался по мраморным лестничным маршам в коврах, пришпиленных никелированными штангами, с перилами необъятной ширины, в моей душе возникла почтительная готовность согласиться со всем, что академик скажет и порекомендует... Словом, если к гранитной лестнице упругой походкой подходил Кривошеин-первооткрыватель, то в директорскую приемную вошел, шаркая ногами, Кривошеин-проситель: с сутулой спиной и виноватой мордой.

Секретарша Ниночка бросилась наперерез мне со стремительностью, которой позавидовал бы вратарь Лев Яшин.

— Нет-нет-нет, товарищ Кривошеин, нельзя, Аркадий Аркадьевич собирается на конгресс в Новую Зеландию, вы же знаете, как мне влетает, когда я пускаю! Никого не принимает, видите?

В приемной действительно было много сотрудников и командированных. Все они недружелюбно посмотрели на меня. Я остался ждать — без особых надежд на удачу, просто: другие ждут и я буду. Чтоб не отрываться от коллектива. Тупая ситуация.

Народ прибывал. Лица у всех были угрюмые, некрасивые. Никто ни с кем не разговаривал.

Чем больше становилось людей в приемной, тем мель-

че мне казалось мое дело. Мне пришло в голову, что образцы мои только измерены, но не испытаны, что Азаров, чего доброго, станет доказывать, что технологические работы по электронике не наш профиль. «И вообще чего я лезу? До конца темы еще год с лишним. Чтобы опять Хилобок пускал пикантные изречения?»

Легкий на помине Хилобок с устремленным видом возник в дверях; я вовремя занял выгодную позицию и вслед за ним юркнул в кабинет.

— Аркадий Аркадьевич, мне бы...

— Нет-нет, Валентин... э-э... Васильевич, — принимая от Гарри какие-то бумаги, поморщился в мою сторону Азаров. — Не могу! Никак не могу. С визой задержка, доклад вот надо после машинистки вычитать... Обратитесь с вашим вопросом к Ипполиту Илларионовичу, он будет замещать меня этот месяц, или к Гарри Харитоповичу. Не один же я на свете в конце концов!

Вот так. Человек летит в Новую Зеландию, о чем разговор! На конгресс и для ознакомления. И чего это мне пришло в голову хватать его за полу? Смешно. Работай себе, пока не потребуют отчета.

Когда-нибудь из-за этой работы будут прерывать заседания правительства... Да, но почему это должно быть когда-нибудь?

Не будут прерывать заседание, не волнуйся. Тебя будут выслушивать второстепенные чиновники, которые никогда не отважатся что-то предпринять на свою ответственность, — такие же слабаки, как и ты сам.

Слабак. Слабак, и все! Надо было поговорить, раз уж решился. Не смог. Извинился противным голосом и ушел из кабинета. Да, склонить к своей работе спешащего за океан Азарова — это не «маниной-маткой» командовать.

Но все-таки это что-то не то...»

«25 октября. А вот это, кажется, то! Наш город посетил видный специалист в области микроэлектроники, кандидат технических наук, будущий доктор тех же наук Валерий Иванов. Он звонил мне сегодня. Встреча состоится завтра в восемь часов в ресторане «Динамо». Форма одежды соответствующая. Присутствие дам не исключено.

Валерка Иванов, с которым мы коротали лекции по организации производства за игрой в «балду» и в «слова», жили в одной комнате общежития, вместе ездили

на практику и на вечера в библиотечный институт! Валерка Иванов, мой бывший начальник и соавтор по двум изобретениям, спорщик и человек отважных идей! Валерка Иванов, с которым мы пять лет работали душа в душу! Я рад.

«Слушай, Валерка, — скажу я ему, — бросай свою микроэлектронику, перебирайся обратно. Тут такое дело!»

Пусть даже заведует лабораторией, раз кандидат. Я согласен. Он работать может.

Ну, поглядим, каким он стал за истекший год».

«26 октября, ночь. Ничто в жизни не проходит даром.

С первого взгляда на Иванова я понял, что прежнего созвучия душ не будет. И дело не в годе разлуки. Между нами вкрадась та Гаррина подłość. Ни он, ни я в ней не повинны, но мы оказались как бы по разные стороны. Он, гордо подавший в отставку, хлопнувший дверью, как-то больше прав, чем я, который остался и не разделил с ним эту горькую гордость. Поэтому весь вечер между нами была тонкая, но непреодолимая неловкость и горечь, что не смогли мы тогда эту подłość одолеть. Мы теперь как-то меньше верили друг в друга и друг другу... Хорошо, что я взял с собой Лену, хоть она украстила нашу встречу.

Впрочем, разговор был интересный. Он заслуживает того, чтобы его описать.

Встреча началась в 20.00. Передо мной сидел петербуржец. Импортный пиджак в мелкую серую клетку и без отворотов, белая накрахмаленная рубашка, шестигранные очки на прямом носу, корректный ершик черных волос. Даже втянутые щеки вызвали у меня воспоминание о блокаде.

Лена тоже не подкачала. Когда проходили по залу, на нее все оборачивались. Одни я пришел вахлак вахлаком: клетчатая рубаха и не очень измятые серые брюки; два дубля ощутимо уменьшили мой гардероб.

В ожидании, пока принесут заказ, мы с удовольствием рассматривали друг друга.

— Ну, — нарушил молчание петербуржец Иванов, — хрюкни что-нибудь.

— Я смотрю, морда у тебя какая-то асимметричная...

— Асимметрия — признак современности. Это от зубов, — он озабоченно потрогал щеку, — продуло в поезде.

— Давай вдарю — пройдет.

— Спасибо. Я лучше коньчиком...

Обычная наша разминочка перед хорошим разговором.

Принесли коньак и вино для дамы. Мы выпили, утолили первый аппетит заливной осетриной и снова с ожиданием уставились друг на друга. Окрест нас пировали. Корпусный мужчина за сдвинутыми столами произносил тост «за науку-маму» (видно, смачивали чью-то диссертацию). Подвыпивший одинокий человек за соседним столиком грозил пальцем графинчику с водкой, бормотал:

— Я молчу... Я молчу! — Его распирала какая-то тайна.

— Слушай, Валька!..

— Слушай, Валерка!..

Мы задаченно посмотрели друг на друга.

— Ну, давай ты первый, — кивнул я.

— Слушай, Валька, — у Иванова завлекательно сверкнули глаза за очками, — бросай-ка ты этот свой... эту свою системологию, перебираясь к нам. Перевод я тебе устрою. Мы сейчас такое дело разворачиваем! Микроэлектронный комплекс: машина, делающая машины, — чувствуешь?

— Твердые схемы?

— А, что твердые схемы — поделки, пройденный этап! Электронный и плазменный лучи плюс электрофотография плюс катодное напыление пленок плюс... Словом, идея такая: схема электронной машины развертывается пучками электронов и ионов, как изображение на экране телевизора, — и все. Она готова, может работать. Плотность элементов как в мозгу человека, чувствуешь?

— И это уже есть?

— Ну, видишь ли... — он поднял брови. — Если бы было, зачем бы я тебя звал? Сделаем в установленные сроки.

(Ну, конечно же, мне нужно бросить системологию и идти за ним! Не ему же за мнай, у меня на поводу... Разумеется! Так всегда было.)

— А у американцев?

— Они тоже стараются. Вопрос в том, кто раньше. Работаем вовсю, я уже двенадцать заявок подал — чувствуешь?

— Ну, а цель?

— Очень простая: довести производство вычислительных машин до массовости и дешевизны газет. Знаешь, какой шифр я дал теме? «Поэма». И это действительно технологическая поэма! — От вышивки у Валерки залоснился нос. Он старался вовсю и, наверно, не сомневался в успехе: меня всегда было нетрудно уговорить. — Завод вычислительных машин размерами чуть побольше телевизора, представляешь? Машина- завод! Она получает по телетайпу технические задания на новые машины, пересчитывает ТЗ в схемы, кодирует расчет электрическими импульсами, а они гоняют лучи по экрану, печатают схему. Двадцать секунд — и машина готова. Это листок, на котором вмещается та же электронная схема, что сейчас занимает целый зал, представляешь? Листок в конверте посыпают заказчику, он вставляет его в исполнительное устройство... Ну, там в командный пульт химзавода, в систему управления городскими светофорами, в автомобиль, куда угодно — и все, что раньше медленно, неуклюже, с ошибками выполнял человек, теперь с электронной точностью делает умный микроэлектронный листик! Чувствуешь?

Лена смотрела на Валерку с восхищением. Действительно, картина вырисовывалась настолько роскошная, что я не сразу понял: речь идет о тех же пленоочных схемах, которые я недавно осуществил в баке «машины-матки». Правда, они попроще, но в принципе можно делать и «умные» листики-машины.

— А почему вакуум да разные лучи? Почему не химия... наверно, тоже можно?

— Химия... Лично я с тех пор, как доцент Варфоломеев устраивал пам «варфоломеевские зачеты», химию не очень люблю. (Это было сказано для Лены. Она оцепнила и рассмеялась.) Но если у тебя есть идеи по химической микроэлектронике — давай. Я — за. Будешь вести это направление. В конце концов неважно, как сделать, главное — сделать. А тогда... тогда можно развернуть такое! — Он мечтательно откинулся на стуле. — Суди сам, зачем машине-заводу давать задания на схемы? Это лишняя работа. Ей нужно сообщать просто информацию о проблемах. Ведь теперь в производстве, в быту, на транспорте, в обороне — всюду работают машины. Зачем превращать их импульсы в человеческую речь, если потом ее снова придется превращать в импульсы!

Представляешь: машины- заводы получают по радио информацию от дочерних машин из сферы производства, планирования, сбыта продукции, перевозок... отовсюду — даже о погоде, видах на урожай, о потребностях людей. Сами перерабатывают все в нужные схемы и рассылают...

— Микроэлектронные рекомендации?

— Директивы, милый! Какие там рекомендации: математически обоснованные электронные схемы управления, так сказать, рефлексы производства. С математикой не спорят!

Мы вышли.

— Ну, Валера, — сказал я, — если ты сделаешь эту идею, то прославишься так, что твои портреты будут печатать даже на туалетной бумаге!

— И твои тоже, — великодушно добавил он. — Вместе будем красоваться.

— Но, Валерий, — сказала Лена, — ведь получается, что в вашем комплексе нет места человеку. Как же так?

— Лена, вы же инженер... — снисходительно шевельнул бровями Иванов. — Давайте смотреть на этот предмет, на человека то есть, по-инженерному: зачем ему там место? Может человек воспринимать радиосигналы, ультра- и инфразвуки, тепловые, ультрафиолетовые и рентгеновы лучи, радиацию? Выдерживает он вакуум, давление газов в сотни атмосфер, ядовитую среду, перегрузки в сотни земных тяготений, резонансные колебания, термоудары от минус ста двадцати по Цельсию до плюс ста двадцати с часовой выдержкой при каждой температуре, холода жидкого гелия? Может он летать со скоростью спирали, погружаться на дно океана или в расплавленный металл? Может он за доли секунды разобраться во взаимодействии десяти — хотя бы десяти! — факторов? Нет.

— Он все это может с помощью машин, — отставала человечество Ленка.

— Да, но машины-то это могут и без его помощи! Вот и остается ему в наш суровый атомно-электронный век только кнопки нажимать. Но как раз эти-то операции автоматизировать проще простого. Вы же знаете: в современной технике человек — самое ненадежное звено. Недаром всюду ставят предохранители, блокировки и прочую «защиту от дурака».

— Я молчу! — угрожающе возгласил пьяный.

— Но ведь человека, наверно, можно усовершенствовать, — заикнулся я.

— Усовершенствовать? Меня душит смех! Да это все равно, что усовершенствовать паровозы — вместо того чтобы заменять их тепловозами или электровозами. Порочен сам физический принцип, заложенный в человеке: ионные реакции в растворах, процесс обмена веществ. Ты оглянись, — он широко повел рукой по залу, — все силы отнимает у людей проклятый процесс!

Я огляделся. За сдвинутыми столиками пирующие размашисто целовали новоиспеченного кандидата: лысого юношу, изможденного трудами и волнениями. Рядом сияла жена. По соседству с ними чинно шатались двенадцать интуристов. Дым и галдеж стояли над столиками. На эстраде саксофонист, непристойно скособочившись и выпятив живот, вел соло с вариациями; под сурдину синкопировали трубы, неистово колотил ударник — оркестр исполнял стилизованную под твист «Из-за острова на стрекень...». Возле эстрады, не сходя с места, волновались всеми частями тела пары. «Я молчу!» — возглашал наш сосед, уставясь в пустой графин.

— Собственно, единственное достоинство человека — универсальность, — снисходительно заметил Иванов. — Он хоть плохо, но многое может делать. По универсальности — продукт сложности, а сложность — фактор количественный. Научимся делать электронно-ионными пучками машины сложностью в десятки миллиардов элементов — и все. Песенка людей снета.

— Как это спета? — тревожно спросила Лена.

— Никаких ужасов не произойдет, не надо пугаться. Просто тихо, благопристойно и незаметно наступит ситуация, когда машины смогут обойтись без людей. Конечно, машины, уважая память своих создателей, будут благосклонны и ко всем прочим. Будут удовлетворять их нехитрые запросы по части обмена веществ. Большинство людей это, наверно, устроит — они в своей неистребимой самовлюбленности даже будут считать, что машины служат им. А для машин это будет что-то вроде второстепенного безусловного рефлекса, наследственной привычки. А возможно, и не останется у машин таких привычек: ведь основа машины — рациональность... Зачем им это надо?

— Между прочим, рациональные машины сейчас слу-

жат нам! — горячо перебила его Лена. — Они удовлетворяют наши потребности, разве нет?

Я помалкивал. Валерка засмеялся.

— А это как смотреть, Леночка! У машин не меньше оснований считать, что люди удовлетворяют их потребности. Если бы я был, скажем, электронной машиной «Урал-4», то не имел бы к людям никаких претензий: живешь в светлой комнате с кондиционированием, постоянным и переменным током — эквивалент горячей и холодной воды, так сказать. Да еще прислуга в белых халатах суетится вокруг каждого твоего кабинета, в газетах о тебе пишут. А работа не пыльная: переключай себе токи, пропускай импульсы... Чем не жизнь!

— Я молчу! — в последний раз произнес сосед, потом распрямился и заголосил на весь зал что-то похабное.

К нему тотчас бросились метрдотель и дружинники.

— Ну и что, если я пьяный! — скандалил дядя, когда его под руки волокли к выходу. — Я на свои пью, на заработанные. Воровать — тоже работа...

— Вот он, предмет ваших забот, во всей красе! — скривил тонкие губы Валерка. — Достойный потомок того тунеядца, что кричал на подпитии: «Человек — это звучит гордо!» Уже не звучит... Ну так как, Валька? — повернулся он ко мне. — Перебираясь, включайся в тему, тогда и от тебя в будущем что-то останется. Разумные машины- заводы, деятельные и всесильные электронные мозги — и в них твои идеи, твое творчество, лучшее, что в нас есть... чувствуешь? Человек-творец — это пока еще звучит гордо. И это лучшее останется и будет развиваться даже тогда, когда малограмматная баба Природа окончательно опростоволосится со своим «хомо сапиенс»!

— Но ведь это страшно — что вы говорите! — возмущенно сказала Ленка. — Вы... как робот! Вы просто не любите людей!

Иванов взглянул на нее мягко и покровительственно:

— Мы ведь не спорим, Лена. Я просто объясняю вам, что к чему.

Это уже было слишком. Ленка психанула и замолчала. Я тоже ничего не ответил. Молчание становилось неловким. Я позвал официанта, расплатился. Мы вышли на проспект Маркса, на самый «днепровский Бродвей». Гуляющие дефилировали.

Вдруг Валерка больно схватил меня за руку.

— Валька, слышишь? Видишь?!

Сначала я не понял, что надо слышать и видеть.

Мимо нас прошли парень с девицей, оба в толстых свитерах и с одинаковыми прическами. У парня на шее джазил транзисторный приемник в желтой перламутровой коробочке, перечерченной силуэтом ракеты. Чистые звуки саксофона и отчетливые синкопы труб самоутверждающие разносились вокруг... Я узнал бы звучание этого транзистора среди сотен марок приемников и радиол, как мать узнает голос своего ребенка в галдящем детсадике. «Малоумяющий широкополосный усилитель», который стоит в нем, — наше с Валеркой изобретение.

— Значит, в серию пустили, — заключил я. — Можно требовать с завода авторские... Эй, юноша, сколько отвалил за транзистор?

— Пятьдесят долларов, — гордо сообщил чухак.

— Вот видишь: пятьдесят долларов, они же сорок пять тугrikов. Явная наценка за качество звучания. Радоваться должен!

— Радоваться?! Радуйся сам! Вот ты говоришь: страшное... (собственно, ему это говорила Лена, а не я). Пусть лучше страшное, чем такое!

М-да... Когда-то мы вникали в квантовую физику, поражались непостижимой двойственности «волны-частицы» электрона; изучали теорию и технологию полупроводников, осваивали тощайшие приемы лабораторной техники. Полупроводниковые приборы тогда были будущими электрониками: о них писали популяризаторы и мечтали инженеры. Многое было в этих мечтаниях — одно сбылось, другое отброшено техникой. Но вот мечты о том, что транзисторы украсят туалеты прыщеватых пижончиков с проспекта, не было.

А как мы с Валеркой бились над проблемой шумов! Дело в том, что электроны распространяются в полупроводниковом кристалле, как частицы краски в воде — то же хаотичное бестолковое «броуново движение». В наушниках или в динамике из-за этого слышится шум, похожий одновременно на шипение патефонной иглы и на отдаленный шорох морского прибоя. Словом, там целая история... У меня это было первое изобретение — и какой торжественной музыкой звучала для меня официальная фраза заявления в Комитет по делам изобретений СССР: «Прилагая при сем нижеперечисленные документы

ты, просим выдать нам авторское свидетельство на изобретение под названием...»!

Ну, хорошо: кто-то там переживал радость познания, горел в творческом поиске, испытывал свою инженерную удачу, а какое дело до этого бедному чуваку? Ему-то от этих радостей ничего не перепало. Вот и остается: отвали кровные туники, нажми кнопку, поверни рукоятку — и ходи как дурак с помытой шеей...

Мы проводили Валерку до гостиницы.

— Так как? — спросил он, подавая мне руку.

— Подумать надо, Валер.

— Подумать?! — Ленка гневно смотрела на меня. — Ты еще будешь думать?!

Все-таки невыдержаный она человек. Нет бы промолчать...

Самое занятное, что Валерка даже не спросил, чем я занимаюсь, — настолько очевидно было для него, что в Институте системологии ничего хорошего быть не может и нужно перебираться к нему.

Что ж, стоит подумать...»

«27 октября. Звонил Иванов:

— Надумал?

— Нет еще.

— Ах эти женщины! Я тебя, конечно, понимаю... Решайся, Валька, вместе работать будем. Я тебе завтра перед отъездом позвоню, лады?

...Если бы тогда, в марте, когда мой комплекс только начал проектировать и строить себя, я остановил опыт и стал анализировать возможные пути развития — все повернулось бы в направлении синтеза микроэлектронных блоков. Потому что это было то, что я понимал. Сейчас я был бы уже впереди Валерки. Работа покатилась бы по другим рельсам — и ни мне, ни кому другому и в голову не пришло бы, что здесь упущен способ синтеза живых организмов.

Но он не упущен, этот способ...

Как приятно было усилием инженерной мысли строить в баке эти пластиночки с микросхемами: триггерами, инверторами, дешифраторами! Эта его «Поэма», если к ней присовокупить мою «машину-матку», — дело верное. Собственно, «машина-матка» уже есть его «машина- завод». И в этом деле я на высоте. Еще не поздно повернуть...

И такие работы действительно могут привести к со-

зданию независимого от людей мира (или общества) машин; не роботов, а именно взаимно дополняющих друг друга разнообразных машин. Может быть, это в самом деле естественное продолжение эволюции? Если глядеть со стороны, ничего ужасного: ну, были на Земле белковые (ионно-химические) системы — на их информационной основе развились электронно-кристаллические системы. Эволюция продолжается...

Да, но если глядеть со стороны, то и при мировой термоядерной катастрофе ничего страшного не произойдет. Ну, что-то там такое вспыхнуло, возрос радиоактивный фон атмосферы. Но вращается Земля вокруг оси? Вращается. Вокруг Солнца? Вращается. Значит, устойчивость солнечной системы не нарушилась, все в порядке.

«Вы не любите людей!» — сказала Лена Иванову. Что есть, то есть: хилобоковская вонь, уход из института, вчерашняя встреча с нашим изобретением — все это ступеньки на лестнице человеконенавистничества. Мало ли их, таких ступенек, в жизни каждого деятельного человека! Сопоставишь свой житейский опыт с инженерным и действительно можешь прийти к убеждению, что проще развивать машины, в которых все рационально и ясно.

Ну, хорошо, а я-то люблю людей? Именно от этого зависит, чем мне дальше заниматься.

Никогда над этим не задумывался... Ну, я люблю себя, как это ни ужасно. Любил отца. Люблю (допустим) Лену. Если когда-нибудь обзаведусь детьми, наверно, буду любить и их. Валерку не то что люблю, но уважаю. Но чтобы всех людей, которые ходят по улице, попадаются мне на работе, в присутственных местах, о которых читаешь в газетах и слышишь разговоры... что мне до них? Что им до меня? Мне нравятся красивые женщины, умные веселые мужчины, но я презираю дураков и пьяниц, терпеть не могу автоинспекторов, холоден к старикам. А в утренней транспортной давке на меня иногда находят приступы ТТБ — трамвайно-троллейбусного бешенства, когда хочется всех бить по головам и скорее выбраться наружу... Словом, к людям я испытываю самые разнообразные чувства.

Ага, в этом что-то есть. К людям мы испытываем чувства уважения, любви, презрения, стыда, страха, гордости, симпатии, унижения и так далее. А к машинам?

Нет, они тоже вызывают эмоции: с хорошей машиной приятно работать, если попусту испортили машину или прибор — жалко; а уж как, бывает, изматерившись, пока найдешь неисправность... Но это совсем другое. Это, собственно, чувства не к машинам, а к людям, которые их делали и использовали. Или могут использовать. Даже боязнь атомных бомб — лишь отражение нашего страха перед людьми, которые их сделали и намереваются пустить в ход. И намерения людей строить машины, которые оттеснят человека на второй план, тоже вызывают страх.

Я люблю жизнь, люблю чувствовать все — это уж точно. Ну, а какая же жизнь без людей? Смешно... Конечно же, надо гипотетической «машине-заводу» Иванова противопоставить «машину-матку»!

Ясно, я выбираю людей!

А умный и сильный парень Валера еще слабее меня. Не он выбирает работу, а работа выбирает его...

(Ну, а по-честному, Кривошеин? Совсем-совсем по-честному: если бы ты не имел сейчас на руках способа сделать человека, разве не исповедовал бы ты взгляды в пользу электронных машин? Каждый из нас, специалистов, стремится подвести под свою работу идейную базу — не признаваться же, в самом деле, что занимаешься ею лишь потому, что ничего другого не умеешь делать! Для творческого работника такое признание равносильно банкротству.

Кстати, а умею ли я делать то, за что берусь?..)

Ну, хватит! Конечно, это очень интеллигентно и мило: оплевать себя, плакаться над своим несовершенством, мучиться раздвоенностью мечтаний и поступков... Но где он, тот рыцарь духа с высшим образованием и стажем работы по требуемой специальности, которому я могу спокойно сдать тему? Иванов? Нет. Азаров? Не удалось установить. А работа стоит.

Поэтому, какой я ни есть, пусть мой палец пока полежит на этой кнопке.

«28 октября. Звонок в лабораторию.

— Ну, Валя, решился? (Как тонко поставлен вопрос!)

— Нет, Валер.

— Жаль. Мы бы с тобой славно поработали. Впрочем, я тебя понимаю. Привет ей. Очень милая женщина, рад за тебя.

— Спасибо. Передам.

— Ну, пока. Будешь в Ленинграде, навести.

— Непременно! Счастливо долететь, Валера.

Ни хрена ты, Валерка, не понимаешь... Ну да ладно. Все! Я, кажется, почувствовал злость к работе. Спасибо тебе, Валерка, хоть за это!»

Глава тринадцатая

Никогда не знаешь, что хорошо, что плохо. Так, стенография возникла из дурного почерка, теория надежности — из поломок и отказов машин.

К. Прутков-инженер, мысль № 100

«1 ноября. Итак, я, сам того не желая, доказал, что, управляя синтезом, можно на основе информации о... скажем, заурядном человеке создать психопата и раба. Получилось так потому, что при введении дополнительной информации было совершено грубое насилие (ох, по укладывается этот «результат» в академические фразы!). Теперь мне как минимум необходимо доказать противоположную возможность.

Подожительное в опыте с дублем Адамом то, что он оказался жив и телесно здоров. И внешность получилась такая, как я задумал. И еще: теперь у меня есть опыт по преобразованиям форм человеческого тела... Отрицательное: «удобный» способ многократных преобразований и растворений категорически отпадает; все надо сделать за один раз. И способ корректировки «то — не то» надо применять лишь в тех случаях, когда я твердо знаю, что «то», и могу контролировать изменения, попросту говоря, исправлять только мелкие внешние изъяны.

Словом, и в третий раз приходится начинать на голом месте...

Я хочу создать улучшенный вариант себя: более красивый и более умный. Единственный возможный способ — записать в машину вместе со своей информацией и свои пожелания. Она может их воспринять, может не воспринять; в крайнем случае получится такой же Кривошеин — и все. Лишь бы не хуже.

С внешностью более-менее ясно: надену «шапку Мон-

номаха» и буду до галлюцинаций зиромо представлять себя стройным, без дефектов физиономии (долой веснушки, рубец над бровью, исправить нос, уменьшить чешую и т. д.) и тела (убрать жир, срастить коленную связку). И волосы чтобы были потемнее...

А вот усилить умственные способности... Как? Просто пожелать, чтобы мой новый двойник был умнее меня? «Машина-матка» оставит это без внимания, она воспринимает только конструктивную информацию... Надо подумать».

«2 ноября. Есть идея. Примитивная, как лапоть, но идея. Я не одинаково умен в разное время дня. После обеда, как известно, тупеешь — этому даже есть какое-то биологическое обоснование (кровь отливает от головы). Следовательно, информацию о себе записывать в машину только натощак. И не накуриваться до обалдения.

И еще одно качество своего мышления стоит учесть: чем ближе к ночи, трезвые мысли и рассуждения вытесняются у меня мечтами, игрой воображения и чувств. Это тоже ни к чему, мечтательность уже подвела меня под монастырь. Следовательно, как вечер — долой из камеры. Пусть мой новый дубль будет трезв, смыщен и уравновешен!»

«17 ноября. Третья неделя пошла, как я натащукаю «машину-матку» на усовершенствование себя. Так и подымывает отдать через «шапку Мономаха» приказ «Можно!», поглядеть, что получится. Но нет: там человек! Пусть машина впитывает все мои мысли, представления, желания. Пусть поймет, чего я хочу».

«25 ноября, вечер. Снег сыплет на белые трубки фонарей, сыплет и сыплет, будто норму перевыполняет... Вот опять мимо нашего дома идет эта девочка на костылях — возвращается из школы. Наверно, у нее был полиомиелит, отнялись ноги.

Каждый раз, когда я вижу ее — с большим ранцем за острыми плечами, как она неумело загребает костылями, вкривь и вкось виснет между ними, — мне стыдно. Стыдно, что сам я здоров, хоть об дорогу бей; стыдно, что я, умный и знающий человек, ничем не могу ей помочь. Стыдно от ощущения какой-то огромной бессмыслинности, существующей в жизни.

Дети не должны ходить на костылях. Чего стоит вся наука и техника на свете, если дети ходят на костылях!

Неужели я и сейчас делаю что-то не то? Не то, что нужно людям? Ведь девочке этот мой способ никак не поможет.

...Скоро месяц, как я, предварительно составив программу, о чем думать, вхожу в информационную камеру, укрепляю на теле датчик, надеваю «шапку Мономаха», думаю, разговариваю вслух. Иногда меня охватывают сомнения: а вдруг в «машине-матке» снова что-то получается не так? Нет контроля, черт побери! И я трушу; так трушу, что боюсь, как бы это не отразилось на характере будущего дубля...»

Следующая запись в дневнике была сделана карандашом.

«4 декабря. Ну вот... По идее, мне следует сейчас ликовать: получилось. Но нечем, нет ни сил, ни мыслей, ни эмоций. Устал. Ох, как я устал! Лень даже поискать свою авторучку.

Машина в основном учла мои пожелания о внешности. Кое-что я подправил в процессе синтеза. Никакой опыт не пропадает; когда дубль возникал, мне не требовалось прикидывать, примеряться — памятанный глаз сразу отмечал «не то» в его строении и контролировал, как машина исправляет эти «не то».

К баку я подставил трап, помог ему выбраться. Он стоял передо мной: голый, стройный, мускулистый, красивый, темноволосый — чем-то похожий и уже не похожий на меня. Около его ступней растекались лужи жидкости.

— Ну как? — голос у меня почему-то был сиплый.

— Все в порядке, — он улыбнулся.

А потом... потом у меня трясились губы, тряслось лицо, ходили ходуном руки. Я даже не мог закурить. Он зажег мне сигарету, налил полмизурики спирта, приговаривал: «Пу-пу... все в порядке, чего там», — словом, успокаивал. Смешно...

Попробую сейчас уснуть».

«5 декабря. Сегодня я проверял логические способности дубля-3.

Первый тур (игра в «балду»): 5 : 3 в его пользу. Второй тур (игра в «слова»): из слова «аббревиатура» за 10 минут он построил на 8 слов больше, чем я; из слова «перенапряжение» — на 12 слов больше. Третий тур — решали взапуски логические задачи из вузовского задачника по системологии Азарова, начиная от номера 223.

Я дошел только до № 235 за два часа работы, он — до № 240.

Ни о каком подыгрывании с моей стороны не может быть и речи — меня разобрал азарт. Получается, что он соображает быстрее меня на 25—30 процентов — и это от ерундового кустарного нововведения! А как можно было бы усилить способности человека по настоящей науке?

Но посмотрим, как он покажет себя в работе».

«7 декабря. Работа у нас пока не интеллектуальная: прибираем в лаборатории. Это не просто из-за переплетения проводов и живых шлангов. Вытираем и отсасываем пыль, очищаем колбы, приборы и панели от налета плесени.

— Скажи, как ты относишься к биологии?

— К биологии? — он с недоумением посмотрел на меня, вспомнил. — А, вон ты о чём! Знаешь, я его тоже не понимаю... По-моему, это у него был заскок от самоутверждения...»

— Фы-уть! — присвистнул аспирант Кривошеин и даже подпрыгнул на стуле от неожиданности. — Вот это да!

Как же так... ведь дубль-3 тоже был продолжением «машины-матки»! Выходит... выходит, машина уже научилась строить организм человека? Ну, конечно. Ведь он был первый, поэтому требовался сложный поиск. А теперь машина запомнила все пути поиска, выбрала из них те, что непосредственно ведут к цели, и построила себе программу синтеза человека.

Значит, его открытие внутренних преобразований действительно уникум. Его надо беречь... Лучше всего записать себя снова в «машину-матку»: уже не со смутной памятью поиска, а с точными и проверенными знаниями, как преобразовывать себя. Вот только зачем?

— Э, сколько можно об этом думать! — поморщился аспирант и снова уткнулся в дневник.

«18 декабря. Не помню: эти морозы называются крещенскими или те, что бывают в январе? Северо-восточный ветер пригнал к нам такую сибирскую зиму, что па-

ровое отопление еле справляется с холодом. В парке все бело, и в лаборатории стало светлее.

По библейскому ли графику, нет ли, но крещение нового дубля состоялось. И крестным папашей был Гарри Хилобок.

Состоялось оно так. В институт на годичную практику прибыли студенты Харьковского университета. Позавчера я зашел в общежитие молодых специалистов, куда их поселили, и позаимствовал «для психологических опытов» студбилет и направление на практику. Студенты смотрели на меня с робким почтением, в глазах их светилась готовность отдать для науки не только студбилеты, но и ботинки. Паспорт я одолжил у Папи Пукина.

Затем мы познакомили «машину-матку» с видом и содержанием этих документов: вертели перед объективами, шелестели листками... Когда паспорт, студенческий билет и бланк направления возникли в баке, я надел «шапку Мономаха» и методом «то — не то» откорректировал все записи, как требовалось.

Дубль-3 наречен Кравцом Виктором Витальевичем. Ему, стало быть, 23 года, он русский, военнообязанный, студент пятого курса физфака ХГУ, живет в Харькове, Холодная гора, 17... Очень приятно познакомиться!

Так ли уж приятно? Во время этой операции мы с новоявленным Кравцом разговаривали вполголоса и чувствовали себя фальшивомонетчиками, которых вот-вот накроют. Сказалось стойкое уважение интеллигентов к законности.

Когда на следующий день мы отправились к Хилобоку: Кравец — оформляясь, а я — просить, чтобы студента направили ко мне в лабораторию, — нам тоже было не по себе. Я, помимо прочего, опасался, что Гарри пошлют его в другую лабораторию. Но обошлось. Студентов в этом году навалило больше, чем снегу. Когда Хилобок услышала, что я обеспечу студенту Кравцу материал для дипломной работы, он попытался всучить мне еще двух.

Гарри, конечно, обратил внимание на наше сходство.

— Он не родственник вам будет, Валентин Васильевич?

— Да как вам сказать... слегка. Троюродный племянник.

— А-а, ну тогда понятно! Конечно, конечно... — лицо

его выражало понимание моих родственных чувств и схождение к ним. — И жить он будет у вас?

— Нет, зачем? Пусть в общежитии.

— Да-да, конечно, как же... — по лицу Гарри было ясно, что и мои отношения с Леной для него не тайна. — Понимаю вас, Валентин Васильевич, ах, как я вас понимаю!

Боже, до чего противно, когда Хилобок тебя «ах, как понимает»!

— А как у вас дела с докторской диссертацией, Гарри Харитонович? — спросил я, чтобы изменить тему разговора.

— С докторской? — Хилобок посмотрел на меня очень осторожно. — Да так... а почему вы заинтересовались, Валентин Васильевич? Вы же дискретник, аналоговая электроника не по вашей части.

— Я сейчас сам не знаю, что по моей, а что не по моей части, Гарри Харитонович, — чистосердечно признался я.

— Вот как? Что ж, это похвально... Но я еще не скоро представлю диссертацию к защите: дела все отвлекают, текучка, некогда творчески под заняться, вы сами быстрее меня защитите, Валентин Васильевич, и кандидатскую и докторскую, хе-хе...

Мы возвращались в лабораторию в скверном настроении. Какая-то сомнительная двойственность в нашей работе: в лаборатории мы боги, а когда приходится вступать в контакт с окружающей нас средой, начинаем политковать, жулиль, осторожничать. Что это — специфика исследований? Или специфика действительности? Или, может быть, специфика наших характеров?

— В конце концов не я придумал систему квитанций на человека: паспорта, прописки, анкеты, пропуска, справки, — сказал я. — Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек.

Виктор Кравец промолчал.

«20 декабря. Ну, начинается совместная работа!

— Тебе не кажется, что мы крупно дали маху с нашей клятвой?

— ?!

— Ну, не со всей клятвой, а с тем сакральным пунктом...

— «...использовать открытие на пользу людям с абсолютной надежностью»?

— Именно. Мы осуществили четыре способа: синтез информации о человеке в человека, синтез кроликов с исправлениями и без, синтез электронных схем и синтез человека с исправлениями. Дает ли хоть один из них абсолютную гарантию пользы?

— М-м... нет. Но последний способ в принципе позволяет...

— ...делать «рыцарей без страха и упрека», георгиевских кавалеров и пламенных борцов?

— Скажем проще: хороших людей. Ты против?

— Мы пока еще не голосуем, а обсуждаем. И мне кажется, что идея эта основана — извини, конечно, — на очень телячьих представлениях о так называемых «хороших людях». Не существует абстрактно «хороших» и абстрактно «плохих» — каждый человек для кого-то хорош и для кого-то плох. Объективных критериев здесь нет. Поэтому-то у настоящих рыцарей без страха и упрека было гораздо больше врагов, чем у кого-либо другого. Хорош для всех только умный и подловатый эгоист, который для достижения своих целей стремится со всеми ладить. Существует, правда, «квазиобъективный» критерий: хорош тот, кого поддерживает большинство. Согласен ли ты в основу данного способа положить такой критерий?

— М-м... дай подумать.

— Стоит ли, если я уже подумал, ведь к тому же придется... (Нет, каков!) Этот критерий не годится: испокон веку кого только не поддерживало большинство... Есть еще два критерия: «хорошо то, что я считаю хорошим» (или тот, кого я считаю хорошим), и «хорошо то, что хорошо для меня». Мы, как и подавляющее большинство людей, профессионально заботящихся о благе человечества, руководствовались обоями критериями — только по простоте своей думали, что руководствуемся первым, да еще считали его объективным...

— Ну, это ты уж хватил через край!

— Ничуть не через край! Я не буду напоминать о злосчастном дубле Адаме; но ведь даже когда ты синтезировал меня, то заботился о том, чтобы было мне хорошо (точнее, по твоему мнению «хорошо»), и о том, чтобы было хорошо тебе самому. Разве не так? Но этот критерий субъективен, и другие люди...

— ...с помощью этого способа будут стряпать то, что хорошо по их мнению и для них?

- Именно.
- М-да... Ну, допустим. Значит, надо искать еще способы синтеза и преобразования информации в человеке.
- Какие же именно?
- Не знаю.
- Я тебе скажу, какой нужен способ. Надо превратить нашу «машину-матку» в устройство по непрерывной выработке «добра» с производительностью... скажем, полтора миллиона добрых поступков в секунду. А заодно сделать ее и поглотителем дурных поступков такой же производительности. Впрочем, полтора миллиона — это капля в море: на Земле живет три с половиной миллиарда людей, и каждый совершает в день несколько десятков поступков, из которых ни один не бывает нейтральным. Да еще нужно придумать способ равномерного распределения этой — гм! — продукции по поверхности земной сушки. Словом, должно получиться что-то вроде силосоуборочного боронователя на магнетронах из неотожженного кирпича...
- Издеваешься, да?
- Да. Топчу ногами нежную мечту — иначе она черт те куда нас заведет.
- Ты считаешь, что я?..
- Нет. Я не считаю, что ты работал неправильно. Странно выглядело бы, если бы я так считал. Но понимаешь: субъективно ты и мечтал и замышлял, а объективно делал только то, что определяли *возможности открытия*. И в этом-то все дело! Надо соразмерять свои замыслы с возможностями своей работы. А ты вознамерился противопоставить какую-то машинишку ежедневным ста миллиардам разнообразных поступков человечества. Ведь именно они, эти сто миллиардов плюс несчитанные миллиарды прошлых поступков, определяют социальные процессы на Земле, их добро и их зло. Вся наука не в силах противостоять этим могучим процессам, этой лавине поступков и дел: во-первых, потому что научные дела составляют лишь малую часть дел в мире, а во-вторых, это ей не по специальности. Наука не вырабатывает ни добро, ни зло — она вырабатывает новую информацию и дает новые возможности. И все. А применение этой информации и использование возможностей определяют упомянутые социальные процессы и социальные силы. И мы даем людям всего лишь новые возможности по производству себе подобных, а уж они вольны использовать эти возможности себе во вред или на благо или вовсе не использовать.
- Что же, ты считаешь, надо опубликовать открытие и умыть руки?! Ну, знаешь! Если нам наплевать, что от него получится в жизни, то остальным и подавно.
- Не кипятись. Я не считаю, что надо опубликовать и наплевать. Надо работать дальше, исследовать возможности — так все делают. Но и в исследованиях, и в замыслах, и даже в мечтах по теме № 154 надо учитывать: то, что получится от этой темы в жизни, зависит прежде всего от самой жизни, или, выражаясь культурно, от социально-политической обстановки в мире. Если обстановка будет развиваться в благоприятную сторону, можно опубликовать. Если нет — придержать или даже совсем уничтожить работу, как это предусмотрено той же клятвой. Не в наших силах спасти человечество, но в наших силах не нанести ему вреда.
- Гм... что-то очень уж скромно. По-моему, ты недооцениваешь возможности современной науки. Сейчас существует способ нажатием кнопки — или нескольких кнопок — уничтожить человечество. Почему бы не возникнуть альтернативному способу: нажатием кнопки спасти человечество или уберечь его? И почему бы, черт побери, этому способу не лежать на нашем направлении поиска?
- Не лежит он здесь. Наше направление созидательное. Мост несравненно труднее построить, чем взорвать.
- Согласен. Но мосты строят.
- Но никто еще не построил такой мост, который было бы нельзя взорвать.
- Здесь мы зашли с ним в некий схоластический туник.
- Но каков, а? Ведь, по сути, он ясно и толково изложил мне все мои смутные сомнения; они меня давно одолевали... Не знаю даже, огорчаться мне или радоваться».
- «28 декабря. Итак, прошел год с тех пор, как я сидел посреди вновь образованной лаборатории на нераспакованном импульсном генераторе и замышлял неопределенный опыт. Только год? Нет, все-таки время изменяется событиями, а не вращением Земли: мне кажется, что прошло лет десять. И не только потому, что много сделано — много пережито. Я стал больше думать о жизни, лучше понимать людей и себя, даже немного изменился — дай бог, чтобы в лучшую сторону.

И все равно: какая-то неудовлетворенность — от излишней мечтательности, наверно? Все, что я задумывал, получалось, но получалось как-то не так: с трудностями, с ужасными осложнениями, с разочарованиями... Так оно и бывает в жизни: человек никогда не мечтает, в чем бы ему разочароваться или где бы шлепнуться лицом в грязь, это приходит само собой. Умом я это превосходно понимаю, а смириться все равно никак не могу.

...Когда я синтезировал дубля-З (в миру — Кравца), то туманно надеялся: что-то щелкнет в «машине-матке» — и получится именно рыцарь без страха и упрека! Ничего не щелкнуло. Он хороший, ничего не скажешь, но не рыцарь: трезв, рассудочен и осторожен. Да и откуда взяться рыцарю — от меня, что ли?

Дурень, мечтательный дурены! Ты все рассчитываешь, что природа вывезет, сама вложит в твои руки «абсолютно надежный способ», — ничего она не вывезет и ничего она не вложит. Нет у нее такой информации.

Черт, но неужели нельзя? Неужели прав усовершенствованный мною Кривошеин-Кравец?

...Есть один способ спасти мир нажатием кнопки; он применим в случае термоядерной войны. Упрятать в глубокую шахту несколько «машин-маток», в которые записана информация о людях (мужчинах и женщинах) и большой запас реактивов. И если на испепеленной поверхности Земли не останется людей, машины сберегут и возродят человечество. Все какой-то выход из положения.

Но ведь снова все получится не так. Швырнуть в мир такой способ, он нарушит установившееся равновесие и, чего доброго, толкнет человечество в ядерную войну. «Люди останутся живы, атомные бомбы не страшны — ну-ка всыплем им! — рассудит какой-нибудь дошлый политикан. — Проблема Ближнего Востока? Нет Ближнего Востока! Проблема Вьетнама? Нет Вьетнама! Покупайте персональные атомоубежища для души!»

Выходит, и это «не то». Что же «то»? И есть ли «то»?»



Глава первая

Сон — лучший способ борьбы с сонливостью.

**К. Прутков-инженер.
«Набросок энциклопедии»**

Быстроетча июньская ночь: давно ли угас на юго-западе лиловый закат, а вот на юго-востоке, за Днепром, уж снова светлеет небо. Но и короткая ночь — ночь; она оказывает на людей свое обычное действие. Спят жители затененной части планеты. Спят граждане города Днепровска. Спят многие участники описываемых событий.

Беспокойно спит Матвей Аполлонович Оникимов. Ему долго не удавалось уснуть: курил, ворочался в постели, беспокоя жену, — размышиля о происшедшем. Задремал, утомившись, — и перевозбужденная психика поднесла ему безобразный сон: будто в трех городских парках обнаружили три трупа убитых из огнестрельного оружия. Судмедэксперт Зубато, ленясь исследовать каждое убийство в отдельности, придумал версию: все трое убиты одним выстрелом — навылет; и для доказательства своей правоты усадил трупы в обнимку на мраморной скамье секционного зала так, чтобы пулевые отверстия совпадали.

И Матвей Аполлонович, которому обычно виделись только черно-белые и мутные, как заношенная кинолента, сны, воспринимал эту картину объемно, в красках и с запахами: сидят трое Кривошеиных — огромные, голые, розовые и пахнущие мясом, — смотрят на него, фотогенично улыбаясь... Оникимов проснулся из чувства протеста. Но (сон в руку!) в голове его стала вырисовываться правдоподобная версия: они там, в лаборатории, варили труп умерщвленного Кривошеина! Ведь труп — всегда главная улика, а спрятать или зарыть опасно, неизвестно, могут обнаружить и опознать. Вот они и варили или разлагали труп в специальном составе, а поскольку дело это не простое, что-то не рассчитали, опрокинули бак. Поэтому и теплым оказался труп, когда техник Прахов обнаружил его в баке! Поэтому так скоро и разложились пропитанные ихней химией мягкие ткани трупа, остался скелет. Лаборанта пришибло баком, а второй соучастник — этот, который вчера кривлялся перед ним (мистификатор,

циркач, надувные маски или тренировки мимики — они ловкачи, это ясно!), убежал. И организовал себе алиби — своими масками и мимотехникой он мог и московского профессора ввести в заблуждение. А документы его — хорошо сделанная липа.

Матвей Аполлонович закурил еще одну папиросу. И все-таки это дело отдает не обычной уголовщиной. Если преступники работают и в Москве и здесь и мотивов корысти, личных счетов и секса нет, то... наверно, Кривошein действительно сделал серьезное изобретение или открытие. Нет, завтра он будет настаивать перед Алексеем Игнатьевичем, чтобы к этому делу подключили органы безопасности! (Хотя Онисимов никогда не узнает, как обстояло дело, нельзя не отдать должное его следовательской хватке. В самом деле: ничего не понимать в сути дела, а только на основе внешних случайных фактов построить логически непротиворечивую версию — это не каждый может!)

Подумав так, Матвей Аполлонович успокоенно уснул. Сейчас ему снится приятное: что его повысили за раскрытие такого дела... Но сны еще менее подвластны нашим мечтаниям, чем реальная действительность, — и вот следователь раздосадованно мычит, а пробудившаяся жена озабоченно спрашивает: «Матюша, что с тобой?» Онисимову привиделось, что в городеле произошел пожар и сгорело новое штатное расписание...

Аркадий Аркадьевич Азаров уснул совсем недавно, да и то после двух таблеток снотворного: утром проснется с неврастенией. Его тоже одолевали мысли о происшествии в лаборатории новых систем... Уже звонили из горкома партии: «У вас опять авария, Аркадий Аркадьевич? С человеческими жертвами?» — и откуда они так быстро узнают! Теперь пойдет: вызовы, комиссии, объяснения... Что ж на то ты и директор, много денег получаешь, чтобы тебя дергали всюду! Вот из-за таких вещей, в которых он не повинен и не может быть повинен, ставится под сомнение его честная положительная работа! Аркадий Аркадьевич чувствовал себя одиноким и несчастным.

«...Не надо было организовывать эту лабораторию «случайного поиска». Не послушал себя. Ведь идея, что путем случайных проб и произвольных комбинаций можно достичь истины и верных решений в науке, была глубоко

противна твоему мышлению. И противна сейчас. Метод Монте-Карло... одно название чего стоит! Вера в случай — что может быть ужасней для исследователя? Вместо того чтобы, логически анализируя проблему, уверенно и неторопливо приближаться к ее решению — испытывать, пусть даже с помощью приборов и машин, свое игорное счастье! Конечно, и таким путем можно строить научообразные системы и алгоритмы, но не похожи ли они на те «системы», с помощью которых игроки в рулетку, надеясь выиграть, просаживают свои состояния... Подумаешь, изменил название лаборатории. Но суть-то осталась. Пустил на самотек, рассудил: такое направление в мировой системологии есть — пусть разовьется и у нас... Вот и «развилось»!»

Тогда Аркадий Аркадьевич не высказал Кривошeinу своих сомнений, чтобы не убить его энтузиазм, только спросил: «Что же вы намереваетесь достичь... э-э... случайным поиском?» — «Прежде всего освоить методику», — ответил Кривошein, и это понравилось Азарову больше, чем если бы он начал фонтанировать идеи.

«Нет, он не только осваивал методику, — Аркадий Аркадьевич вспомнил лабораторию, установку, похожую на осьминога, обилие приборов и колб. — Развернул какую-то большую экспериментальную работу... Неужели у него получалось то, о чем он докладывал на учепом совете? Но все кончилось труном. Труном, обратившимся в скелет! — Азаров почувствовал отвращение и ярость. — Надо сворачивать экспериментальные работы, вечно в них что-нибудь случается! Непременно! Системология по сути своей наука умозрительная, анализ и синтез любых систем надо вести математически — и нечего... Теорию нужно двигать! А хочется работать с машинами — пожалуйста, программируйте свои задачи и идите в машинный зал... Да и вообще эти эксперименты, — академик усмехнулся, успокаиваясь, — никогда не знаешь, что ты сделал: глупость или открытие!»

...Аркадий Аркадьевич имел давние счеты с экспериментальной наукой, суждения его о ней были тверды и окончательны. Тридцать с лишним лет назад молодой физик Азаров изучал процесс скрежетания гелия. Однажды он сунул в дюар несколько стеклянных соломинок-капилляров, и охлажденная до двух градусов по абсолютной шкале жидкость необыкновенно быстро испарилась. Два литра драгоценного в то время гелия пропали, экспери-

мент был сорван! Аркадий сгоряча обвинил лабораторного стеклодува, что тот подсунул дефектный дюар; стеклодува наказали... А два года спустя сокурсник Азарова по университету Петр Капица в аналогичном опыте (капилляры погрузить в сосуд) открыл явление сверхтекучести гелия!

С той поры Аркадий Аркадьевич разочаровался в экспериментальной физике, полюбил надежный и строгий мир математики и ни разу не пожалел об этом. Именно математика вознесла его — математический подход к решению нематематических проблем. В тридцатых годах он применил свои методы к проблемам общей теории относительности, которая тогда владела умами ученых; позже его изыскания помогли решить важные задачи по теории цепных реакций в уране и плутонии; затем он приложил свои методы к проблемам химического катализа полимеров; и теперь он возглавил направление дискретных систем в системологии.

«Э, я все не о том! — подсаживал на себя Азаров. — Что же все-таки случилось в лаборатории Кривошеина? Помнится, прошлой осенью он приходил ко мне, хотел о чем-то поговорить... О чём? О работе, разумеется. Отмахнулся, было некогда... Всегда считаешь главным неотложное! А следовало поговорить, теперь знал бы, в чем дело. Больше Кривошеин ко мне не обращался. Ну, конечно, такие люди горды и застенчивы... Постой, какие люди? Какой Кривошеин? Что ты о нем знаешь? Несколько докладов на семинарах, выступление на ученым совете, несколько рецензий и вопросов к другим докладчикам да еще раскланивались при встречах. Можно ли по этому судить о нем? Можно, не так уж слабо ты разбираешься в людях, Аркадий... Он был деятельный и творческий человек; вот что. Таких узнаешь и по вопросу и по фразе — по повадке. У таких видна непрерывная работа мысли — не каждому видна, но ты ведь сам такой, можешь заметить... Человек ест, ходит на работу, здоровается со знакомыми, смотрит кино, ссорится с сослуживцами, одолживает деньги, загорает на пляже — все это делает полноценно, не для порядка — и думает, думает. Над одним. Над идеей, которая не связана ни с его поступками, ни с бытовыми заботами, но его с этой мыслью ничто не событ. Она главное в нем: из нее рождается новое... И Кривошеин был такой. И это очень жаль, что был, — со смертью каждого такого человека что-то очень

нужное уходит из жизни. И чувствуешь себя более одиноким... Э, полно, что это я?!. — спохватился Аркадий Аркадьевич. — Спать, спать!»

Гарри Харитонович Хилобок тоже долго не мог уснуть в эту ночь: все смотрел на светящиеся в доме напротив окна квартиры Кривошеина и гадал: кто же там есть? В одиннадцатом часу из подъезда быстро вышла Лена Коломиец (Гарри Харитонович узнал ее по фигуре и походке, подумал рассеянно: «Надо бы теперь с ней поближе познакомиться, есть чем заинтересовать»), но свет продолжал гореть. Хилобок погасил свет в своей квартире, пристроился на подоконнике с театральным биноклем, но ракурс был невыгодный — он увидел только часть книжного шкафа и трафарет из олимпийских колец на стене. «Забыла она погасить лампу, что ли? Или там кто-то еще? Позвонить в милицию? Да ну их, сами пусть разбираются, — Гарри Харитонович сладко зевнул. — Может, кто-то из ихних там обыскивает...»

Он вернулся в комнату, зажег почник — фигурку обнаженной женщины из искусственного мрамора с лампочкой внутри. Мягкий свет освещил медвежью шкуру на полу, синие стены в золотистых обоях аистах, полированные грани письменного стола, шкаф для книг, шкаф для одежды, телевизорную тумбу, стеганую розовую кушетку, темно-красный ковер со сценой античного пиршества — все вокруг располагало к полнокровной неге. Гарри Харитонович разделся, подошел к зеркалу шкафа, стал рассматривать себя. Он любил свое лицо: прямой крупный нос, гладкие, но не полные щеки, темные усы — в нем что-то есть от Ги де Монассана... Не так давно он перед этим зеркалом примерял к своему лицу выражение для доктора технических наук. «Что ему надо было, этому Кривошеину? — Гарри Харитонович почувствовал склокотание внутри от яростной ненависти. — Что я ему такого сделал? И за тему его голосовал, и родственника помог в лабораторию устроить... Сам не защищается, так другим завидует! Или это он за то, что я не сделал для него заказ по СЭД-2? Ну, да все равно — нету больше Кривошеина. Спокся. Вот так-то. В жизни в конечном счете выигрывает тот, кто переживает противника».

Хилобока порадовало нечаянное остроумие этой мыс-

ли. «Хм... Надо запомнить и пустить». Вообще следует заметить, что Гарри Харитонович был не так глуп, как могло показаться по его поведению. Просто в основу своего преуспевания в жизни он положил правило: с дурака меньше спрос. От него никто никогда не ждал ни дальних мыслей, ни знаний; поэтому в тех редких случаях, когда он обнаруживал знания или выдавал хоть скучненькие, но мысли, это казалось таким приятным сюрпризом, что сотрудники начинали думать: «Недооценяем мы все-таки Гарри Харитоновича...» и стремились своим расположением исправить недооценку. Так проходили в сборник «Вопросы системологии» его статьи, от которых редакторы наперед не ждали ничего хорошего и вдруг обнаруживали в них крупицы смысла. Так же Гарри Харитонович сдавал темы заранее деморализованным его поведением и разговорами заказчикам. Вот только с докторской диссертацией вышла осечка... Ну ничего, он свое возьмет!

Гарри Харитоновича убаюкали приятные мысли и радужные надежды. Сейчас он спал крепко и без сновидений, как спали, наверно, еще в каменном веке.

Спал и счастливо улыбался во сне вернувшийся с ночного дежурства в городе милиционер Гаевой.

Поплакав от обиды на Кривошеина и на себя, уснула Лена.

Но не все спят... Успешно борется с дремой старшина милиции Головорезов, охраняющий лабораторию новых систем; он сидит на крыльце флигеля, курит, смотрит на звезды над деревьями. Вот в траве неподалеку что-то зашуршало. Он посветил фонариком: из лопухов на него смотрел красноглазый кролик-альбинос. Старшина кинул — кролик прыгнул в темноту. Головорезов не знал, какой это кролик.

Виктор Кравец все ворочался на жесткой откидной койке в одиночной камере дома предварительного заключения под суконным одеялом, от которого пахло дезин-

фекцией. Он находился в том состоянии нервного возбуждения, когда невозможно уснуть.

«Как же теперь будет? Как будет? Выкрутится аспирант Кривошеин, или лаборатория и работа погибнут? И что я еще смогу сделать? Отпираться? Сознаваться? В чем? Гражданин следователь, я виноват в благих намерениях — в благих намерениях, которые ничему не помогли... Что ж, наверно, это жестокая вина, если так получилось. Все гнали: скорей-скорей! — овладеть открытием полностью, добраться до способа «с абсолютной надежностью». Я тоже, хоть и не сознавался себе в этом, ждал, что мы откроем такой способ... Эволюция каждую новую информацию вводила в человека постепенно, методом малых проб и малых отклонений, проверяла полезность ее в бесчисленных экспериментах. А мы — все в один опыт!

Надо было с самого начала выбросить из головы мысли о возможных социальных последствиях, работать открыто и спокойно, как все. В конце концов, люди не маленькие, должны сами понимать, что к чему. До всего мы дошли: что человек — сверхсложная белковая квантово-молекулярная система, что он — продукт естественной эволюции, что он — информация, записанная в растворе. Одно только упустили из виду: человек — это человек. Свободное существо. Хозяин своей жизни и своих поступков. И свобода его началась задолго до всех бунтов и революций, в тот далекий день, когда человекообразная обезьяна задумалась: можно залезть на дерево и сорвать плод, но можно и попробовать сбить его палкой, зажатой в лапе. Как лучше? Она неспроста задумалась, эта обезьяна: она видела, как в бурю обломившаяся ветка сбила плоды... Свобода — это возможность выбирать варианты своего поведения, ее исток — знание. С тех пор каждое открытие, каждое изобретение давало людям новые возможности, делало их все более свободными.

Правда, были и открытия (их немного), которые говорили людям: нельзя! Нельзя построить вечные двигатели первого и второго рода, нельзя превзойти скорость света, нельзя одновременно точно измерить скорость и положение электрона... Но наше-то открытие ничего не запрещает и ничего не отменяет, оно говорит: можно!

Свобода... Это не просто: осознать свою свободу в современном мире, умно и трезво выбирать варианты своего поведения. Над человеком тяготеют миллионы лет про-

шлого, когда биологические законы однозначно определяли поведение его животных предков и все было просто. И сейчас он норовит свалить свои ошибки и глупости на силу обстоятельств, на злой рок, возложить надежды на бога, на сильную личность, на удачу — лишь бы не на себя. А когда надежды рушатся, ищут и находят козла отпущения; сами же люди, возложившие надежды, ни при чем! В сущности, люди, идущие по линии наименьшего сопротивления, не знают свободы...»

Кружочек на двери камеры отклонился, пропустил лучик света; его заслонило лицо дежурного. Наверно, проверяет, не замыслил ли новый побег беспокойный подследственный? Виктор Кравец неслышно рассмеялся: что и говорить, кутузка — самое подходящее место для размышлений о свободе! Он с удовлетворением осознал, что, несмотря на все передряги, чувство юмора его еще не покинуло...

Дубль Адам-Геркулес сидел на скамье у троллейбусной остановки на опустевшей улице и вспоминал. Вчера, когда он шел с вокзала, размышлял о воздействии трех потоков информации (науки, жизни, искусства) на человека, возникала у него смутная, но очень важная идея. Перебили эти трое со своей дурацкой проверкой документов, чтоб им... Осталось ощущение, что приблизился к цепонной догадке — лучше бы его не было, этого ощущения, теперь не успокоишься!

«Попробуем еще раз. Я обдумывал: какой информацией и как можно облагородить человека? Была у Кривошеина идея синтезировать рыцаря «без страха и упрека» — она перешла ко мне, отрекаться от нее нельзя... Я отбраковал информацию от среды и информацию от науки, потому что воздействие их на человека в равной мере может быть и положительное и отрицательное... Остался способ «чувства добрые лирой пробуждать» — Искусство. Верно, оно пробуждает. Только несовершенный инструмент лира: пока тренякает, человек облагорожен, а отзвучала — все проходит. Что-то остается, конечно, но мало, поверхностная память об увиденном спектакле или прочитанной книге... Ну хорошо, а если вводить в «машину-матку» эту информацию при синтезе какого-то человека: скажем, записать в нее содержание многих книг, показать отличные фильмы? То же самое будет,

отложится содержание в поверхностной памяти — и все. Ведь книга-то не о нем!

Ага, об этом тоже я думал: между источником информации Искусства и приемником ее — конкретным человеком — есть какая-то прозрачная стенка. Что же это за стенка? Черт побери, неужели жизненный опыт всегда будет главным фактором в формировании личности человека? Нужно самому страдать, чтобы понять страдания других? Ошибаться, чтобы научиться правильно поступать? Как ребенку — надо обжечься, чтобы не тянуть пальцы к огню... Но ведь это очень тяжелая наука — жизненный опыт, и не каждый может ее одолеть. Жизнь может облагородить, но может и озлобить, оподлить; может сделать человека мудрым, но может и оболванить...»

Он закурил и принялся расхаживать около скамейки по тротуару.

«Информация Искусства не перерабатывается человеком до конца, до решения на ее основе своих задач в жизни. Постой! Информация не перерабатывается до решения задачи... это уже было. Когда было? Да в начале опыта: первоначальный комплекс «датчики — кристаллоблок — ЦВМ-12» не усваивал информацию от меня... от Кривошеина — все равно! И тогда я применил обратную связь!»

Теперь Адам уже не ходил, а бегал по заплеванному тротуару от урны до фонарного столба.

«Обратная связь, будь она неладна! Обратная связь, которая увеличивает эффективность информационных систем в тысячи раз... Вот почему «стенка», вот почему мала эффективность Искусства — нет обратной связи между источником и приемником информации. Есть, правда, кое-что: отзывы, читательские конференции, критические нахлобучки, но это не то. Должна быть непосредственная техническая обратная связь, чтобы изменять вводимую в человека информацию Искусства применительно к его индивидуальности, характеру, памяти, способностям, даже внешности и анкетным данным. Таким способом можно проигрывать в процессе синтеза его поведение в критических ситуациях (пусть сам ошибается, учится на ошибках, ищет верные решения!), раскрыть перед ним его — а не выдуманного героя — душевный мир, способности, достоинства и недостатки, помочь ему понять и найти себя... И тогда эта великая информация станет его жизненным опытом наравне с житейской, ста-

нет для него обобщенной истиной наравне с научной. Это будет уже какое-то иное Искусство — не писательское, не актерское, не музыкальное, — а все вместе, выраженное в биопотенциалах и химических реакциях. Искусство Синтеза Человека!»

Внезапно он остановился. «Да, но как это осуществить в «машине-матке»? Как наладить в ней такую обратную связь? Не просто... Ну, да — опыты, опыты, опыты — сделаем! Смогли же мы построить обратную связь между блоками комплекса. Главное — есть идея!..»

Вано Александрович Андросиашвили тоже не спал на своей подмосковной даче. Он стоял на веранде, слушал шорох ночного дождика... Сегодня на заседании кафедры обсуждали итоги работы аспирантов. В наименее выгодном свете предстал аспирант Кривошеин: за год он не сдал ни одного кандидатского экзамена, лекции и лаборатории посещал последнее время очень редко, тему для кандидатской диссертации еще не выбрал. Профессор Владимир Вениаминович Валерно высказал мнение, что человек напрасно занимает аспирантское место, получает стипендию и что недурно освободить вакансию для более прилежного аспиранта. Вано Александрович решил было отмолчаться, но не сдержался и наговорил Владимиру Вениаминовичу много резких и горячих слов о косности в оценке работ молодых исследователей, о пренебрежении... Валерно был ошеломлен, а сам Андросиашвили чувствовал сейчас себя неловко: Владимир Вениаминович, в общем, таких упреков не заслужил.

Вано Александрович не один вечер размышлял над фактом чудесного исцеления аспиранта после удара пулевой сосулькой, припоминал разговор с ним об управлении обменом веществ в организме и пришел к выводу, что Кривошеин открыл и привил себе свойство быстрой регенерации тканей, присущее в природе только простейшим кишечно-полостным. Его мучило, что он не в силах понять, как тот сделал такое. Он ждал, что Кривошеин все-таки придет и расскажет; Вано Александрович готов был забыть обиду, дать обет молчания, если понадобится, только бы узнать! Но Кривошеин молчал.

Сейчас Андросиашвили досадовал на себя, что вчера во время вызова к милиционеру телевидеофону не разузнал, почему и за что задержали аспиранта. «Он что-то

натворил? Но когда он успел: еще утром он заходил на кафедру сообщить, что улетит на несколько дней в Днепровск! Вторая тайна Кривошеина...» — профессор усмехнулся. Но беспокойство не проходило. Хорошо, если вышло недоразумение, а если там что-то серьезное? Что ни говори, а Кривошеин — автор и носитель важного открытия о человеке. Это открытие не должно пропасть.

«Мне надо вылететь в Днепровск», — неожиданно возникла в голове мысль. Гордая кровь горца и членакорреспондента вскипела: он, Вано Андросиашвили, помчится выручать попавшего в сомнительную переделку аспиранта! Аспиранта, которого он из милости взял на кафедру и который глубоко оскорбил его своим недоверием!

«Цхэ, помчится! — Вано Александрович тряхнул головой, смиряя себя. — Во-первых, ты, Вано, не веришь, что Кривошеин совершил какое-то преступление — не такой он человек. Там либо беда, либо недоразумение. Надо выручать. Во-вторых, ты мечтал о случае завоевать его доверие, сблизиться с ним. Это именно тот случай. Возможно, у него есть серьезные основания таиться. Но пусть не думает, что Андросиашвили человек, на которого нельзя положиться, который отшатнется из мелких побуждений. Нет! Конечно, я и в Днепровске не стану выспрашивать его — захочет, сам расскажет. Но это открытие надо беречь. Оно выше моего самолюбия».

Вано Александровичу стало легко и покойно на душе оттого, что он преодолел себя и принял мудрое решение...

Аспирант Кривошеин тоже не спал. Он продолжал читать дневник.

Глава вторая

По учению Будды, чтобы избавиться от страданий, следует избавиться от привязанностей. Пусть мне укажут, от каких привязанностей надо избавиться, чтобы перестал болеть глазной зуб. И скорее!!!

К. Прутков-инженер,
мысль без номера

«5 января. Вот и я оказался в положении человека-черновика для более совершенной копии. И хоть я сам создатель копии — приятного мало.

— А интересный у тебя племянник, — сказала мне Лена, после того как я познакомил их на новогоднем вечере. — Симпатичный.

Вернувшись домой, я целый час рассматривал себя в зеркало: картина унылая... И разговаривать он ловок, куда мне до него.

Нет, Кравец Виктор ведет себя с Леной по-джентльменски. То ли прежние воспоминания действуют, то ли чувствует свои возможности по части покорения сердец, но внешне он к ней равнодушен. А если бы постарался — не видать мне Ленки.

...Когда мы с ним идем по Академгородку или по институтскому парку, встречные девушки, которые раньше еле кивали мне, громко и радостно здороваются:

— Здрасте, Валентин Васильевич! — а сами проникновенно косятся на незнакомого парня рядом со мной.

А как он ходит на лыжах! Вчера мы втроем отправились за город, так он и Лена оставили меня далеко позади.

А как он танцевал на новогоднем балу!

Даже секретарша Ниночка, которая раньше и дорогуто к флигелю не знала, теперь нет-нет да и занесет мне какую-нибудь бумагу из приемной.

— Здрасте, Валентин Васильевич! Здравствуйте, Витя... Ой, как у вас здесь интересно, одни трубки!

Словом, теперь я ежедневно наблюдаю не только себя, какой я есть, но и себя, каким я мог бы быть, если бы не... если бы не что? Не голодовки во время войны и после, не фамильное сходство с не весьма красивым — увы! — родителем («Весь в батю, мордастенький!» — умилялись, бывало, родственники), не ухабы на жизненном пути, не столь нездоровий образ жизни: лаборатория, библиотека, комната, разговоры, размышления, миазмы реактивов — и никакой физической нагрузки. Право же, я не стремился стать некрасивым, толстым, сутулым тугодумом — так получилось.

По идее, я должен гордиться: переплюнул природу! Но что-то мешает...

Нет, все-таки эта идея ущербна. Допустим, мы доведем способ управляемого синтеза до кондиции. Будут получаться великолепные люди: сильные, красивые, одаренные, энергичные, знающие — ну, такие хозяева жизни с плаката «Вклад в сберкассе мы хранили — гарнитур себе купили!». А те, с которых их будут воспроизводить, — выходит, черновики, набросанные жизнью?

За что же их-то унижать? Хороша «награда за жизнь»: сожаление о своем несовершенстве, мысли, что никогда не станешь совершенным потому, что вместо налаженного производства тебя произвела на свет обыкновенная мама! Выходит, что наш способ синтеза человека все-таки противостоит людям? И не только скверным — всем, ибо каждый из нас в чем-нибудь несовершен. Выходит, и хорошим, но обыкновенным (не искусственным) людям придется потесниться в жизни?

(Во! Вот такой ты, Кривошеин, и есть — толстошкурый... Пока самого за живое не возьмет, ничего не доходит: «Хоть кол на голове теша», — как говорил батя. Ну ладно: неважно, как дошло, — главное, что дошло.)

Есть над чем задуматься... Пожалуй, все человеческие изъяны имеют общую природу — это перегибы. Взять, например, хорошее, приятное в общежитии качество характера: простодушие. Оно заложено в нас с детства. Но не дотянула природа, подгадило воспитание, жизненная обстановка не так сложилась — и вместо простодушия получилась дремучая глупость. Вместо разумной осторожности таким же манером получается трусость, вместо необходимой в жизни уверенности в себе — ложная самоуверенность, вместо прямоты и здорового скептицизма — цинизм, вместо трезвой дерзости — наглость, беспробудное хамство, вместо ума — хитрость.

За многими словами прячем мы свое бессилие перед несовершенством людей: за шутливыми («медведь на ухо наступил», «нянька уронила»), за научообразными («анемия», «деградация личности», «комплекс неполноценности»), за житейскими («это ему не дано», «этим он одарен»)... Раньше считали: «дар божий», в наш материалистический век «дар природный», а в сущности, один черт, все равно человек не властен. У одних есть, у других нет.

А можно догадаться, почему «не дано». В первобытной жизни и в прочих общественных формациях совершенство человека было не обязательно. Живешь, работать и размножаться можешь, ловчить умеешь — и ладно! Только сейчас, когда в наши представления вошла не утопическая, а конструктивная идея коммунизма — вырабатываются настоящие требования к Человеку. Мы примеряем людей к этой прекрасной идее — и больно стало замечать то, на что раньше не обращали внимания...»

«8 января. Изложил свои мысли Кравцу.

— Хочешь применить способ синтеза к обычным людям? — сделал быстрый вывод смышленный дубль-3.

— Да. Но как? — я поглядел на него с надеждой: а вдруг он и это знает?

Он понял мой взгляд и рассмеялся.

— Не забывай, что я — это ты. По уровню знаний, во всяком случае.

— Но, может, ты лучше знаешь, что это за жидкость? — я показал на бак. — Ведь ты вышел из нее, как... как Афродита из морской пены. Ее состав и прочее?

— В двух словах?

— Можно в трех.

— Пожалуйста. Эта жидкость — человек. Ее состав — состав человеческого тела. Кроме того, эта жидкость — квантово-молекулярная биохимическая вычислительная машина с самообучением и огромной памятью, в каждой молекуле жидкости есть некая своя информация... То есть, как ни верти, жидкость «машины-матки» — это просто человек в жидкой фазе. Можешь делать из этого факта научные, практические и организационные выводы.

Чувствовалось, что новая проблема занимает его не столь живо, как меня. Я попытался подогреть его воображение.

— Витек, а что, если этот способ будет именно «то»? Ведь он для обычных людей, а не...

— Иди ты к...! (Ай-ай, а еще искусственный человек!) Я решительно отказываюсь рассматривать нашу работу с позиций «то — не то» и приверженности к клятве, которую я не давал! В наше время надо спокойней относиться к клятвам! (Ну, если это называется спокойное отношение...) Ты хочешь применить открытие к преобразованию людей?

— В ангелов... — наподдал я еще.

— К чертям собачьим ангелов! Информационные преобразования «хомо сапиенс» — и все! В таком академическом плане и давай рассматривать проблему!

Я впервые наблюдал, как он вышел из себя... в меня. Как ни стараися, а кривошенинская натура себя оказывает. Но главное: он завелся. Это самое необходимо, когда начинаешь новое исследование — завестись, почувствовать злость к работе.

В результате шестичасового разговора с перерывом

на обед мы сделали четыре шага в осмыслении новой проблемы.

Шаг первый. Искусственные и естественные люди, судя по всему (ну, хотя бы по тому, что обычная пища не яд для дублей), биологически однотипны. Следовательно, все, что делает «машина-матка» с дублями, можно в принципе (если отвлечься от трудностей технической реализации, как пишут в статьях) распространить на обычных людей.

Шаг второй. «Машина-матка» выполняет команды по преобразованию в баке без каких-либо механических приспособлений и контрольных устройств. Следовательно, сама жидкость есть и контрольно-управляющая схема и исполнительный биохимический механизм; она осуществляет в баке, как сказали бы биологи, управляемый обмен веществ...

— Ах, черти! — пробормотал аспирант и нервно закурил.

«...или точнее: преобразует внешнюю информацию в структурные записи в веществе: органические молекулы, клетки, тельца, ткани...

Шаг третий. Как в принципе можно преобразовать человека в «машину-матку»? Искусственный дубль зарождается в ней как продолжение и развитие машинной схемы. На прозрачной стадии он уже ощущает и осознает себя как человек, но активно действовать не может (опыт с Адамом и подтверждение Кравца). Затем дубль овеществляется до непрозрачной стадии, отключается от жидкой схемы «машины-матки» (или схема от него), овладевает собой и вылезает из... нет-нет, надо академически! — отделяется от машины. С обычным человеком следует, видимо, поступать в обратном порядке, то есть прежде всего «включить» его в схему машины. Технически: погрузить человека в жидкость.

Шаг четвертый. Но включится ли человек в схему «машины-матки»? Ведь требуется ни мало ни много, как — я все-таки достаточно знаком с нейрофизиологией, Эшби читал — полный контакт всей нервной сети человека с жидкостью; а наши проводники-нервы уже изолированы от внешней среды кожей, тканями, костями черепа. Чтобы добраться до них, жидкость-схема должна проникнуть внутрь человека...

Мы рассудили, что она может проникнуть. Ведь человек — это раствор. Только не водный раствор (иначе

бы люди растворялись в воде); свободной воды в человеке не так много. Это количественный анализ затуманивает все дело, проклятый гипноз чисел, когда, разложив живую ткань, мы получаем убедительные цифры: воды 75 процентов, белков 20 процентов, жиров 2 процента, солей 1 процент и так далее. Человек — биологический раствор, все составляющие существуют в нем в единстве и взаимосвязи. Есть в теле «жидкие жидкости»: слюна, моча, плазма крови, лимфа, желудочный сок — их можно налить в пробирку. Другие жидкости наполняют клеточные ткани: мышцы, нервы, мозг — каждая клетка сама по себе пробирка. Биологические жидкости даже кости пропитывает, как губку... Так что, несмотря на отсутствие подходящей посуды, у человека гораздо больше оснований считать себя жидкостью, чем, скажем, у сорока процентного раствора едкого натра.

Если быть более точным: человек — это информация, записанная в биологический раствор... Начиная с момента зачатия, в этом растворе происходят превращения, формируются мышцы, внутренности, нервы, мозг, кожа. То же самое — только быстро и по-иному — делается в биологической жидкости «машине-матке». Так что, с какой стороны ни взгляни, эти две жидкости очень родственны, и взаимопроникновение их вполне возможно...

Как нам ни хотелось каждую мысль и каждую догадку немедленно проверить в «машине-матке», но мы превозмогли себя и весь день занимались теорией. Хватит играть со случаем, надо все продумать наперед.

Итак, прежде всего включиться».

«1 февраля. Ах, как хороши были теории, которые мы подводили под то, что уже сделано! Игра в кубики, арифметика «то — не то» — приятно вспомнить, как все гладко получалось... Построить теорию, с помощью которой можно достичь новых результатов, куда сложнее.

Пока что теоретически осмысленная жидкость (жидкая схема) в баке ведет себя как вульгарная вода. Только что погуще.

Надо ли писать, что на следующий день мы прибежали в лабораторию с утра пораньше, что, замирая и предвкушая, сунули в бак кончики указательных пальцев — «включились». И ничего. Жидкость была ни теплой, ни холодной. Простояли так около часа: никаких ощущений, никаких изменений.

Надо ли описывать, как мы купали в жидкости послед-

них двух кроликов, пытаясь включить их в машину? «Машина-матка» не подчинялась даже команде «Нет!» и не растворяла их. Кончилось тем, что кроли нахлебались, а откачать их мы не смогли.

Надо ли упоминать, что мы опускали в жидкость проводники и смотрели на осциллографе колебания плавающих потенциалов? Колеблются потенциалы, кривая похожа на зубчатую электроэнцефалограмму. И что?

Вот так всегда... Будь я новичком, я бы уже спасовал».

«6 февраля. Опыт: я опустил в жидкость палец, Кравец надел «шапку Мономаха» и стал своим пальцем касаться разных предметов. Я чувствовал, какую поверхность он трогает! Вот что-то теплое (батарея отопления), вот холодное и мокре (он сунул палец под кран)...

Значит, палец-то мой включился?! Машина через него передает мне внешнюю информацию ощущений... Да, но это не те ощущения. Мне нужны сигналы (пусть в ощущениях) работы жидкой схемы в баке!»

«10 февраля. Если долго держать руку в жидкости и сосредоточиться, то чувствуешь очень слабое зудение и покалывание в коже... Может, это самовспышение? Очень уж неуловимо слабо».

«15 февраля. Маленький, невинный, пустяковый результатик. По масштабам он уступает даже изготовлению кроликов. Просто я сегодня порезал мякоть левой ладони и залечил порез.

— Понимаешь, — задумчиво сказал утром Кравец, — чтобы было ощущение работы (жидкой схемы), она должна работать. А над чем ей, простите, работать? Зачем ей «включаться» в тебя, в меня, в кроликов? Все в нас уже сделано, все находится в информационном равновесии.

...Не знаю, действительно ли я сообразил быстрее его, что надо делать дальше (льцу себя этим), или ему просто не захотелось делать себе больно. Но опыт начал я: нарушил информационное равновесие в своем организме.

Скальпель был острый, по неопытности я распахал себе мясо до самой кости. Кровь залила руку. Опустил ладонь в бак: жидкость вокруг начала густо багроветь. Боль не исчезала.

— Шапку надень, шапку! — закричал Кравец.

— Какую шапку, зачем? — от боли и вида крови я не очень хорошо соображал.

Тогда он нацелил мне на голову «шапку Мономаха»,

защелкал тумблерами — и боль сразу исчезла; через несколько секунд жидкость очистилась от крови. Кисть охватило какое-то сладкое зудение — и началось чудо: на моих глазах кисть становилась прозрачной!

Сначала показались красные жгуты мышц. Через минуту они расплылись, сквозь красноватое желе стали просвечивать белые костяшки пальцев. Возле сухожилий запястья быстро утолщался и опадал, проталкивая кровь, сиреневый сосуд.

Мне стало страшно, я выдернул руку из бака. Сразу — боль. Кисть была цела, только блестела, как смазанная; с прозрачных пальцев стекали тяжелые капли. Я попробовал пошевелить пальцами — они не слушались. И вдруг я заметил, что кончики пальцев каплевидно утолщаются... Это было совсем страшно.

— Опусти обратно, руку потеряешь! — заорал Кравец.

Я опустил, сосредоточил все внимание на порезе. Сладко ныло именно там. «Да, машина... то...то...» — поопрят я. Зудение постепенно ослабевало — и кисть снова становилась непрозрачной! Я, с облегчением выдохнув воздух, вытащил ее: пореза уже не было, лишь на его месте вздулся красно-синий шрам. В трещинах выступили прозрачные капельки сукровицы. Шрам нестерпимо саднил и чесался. Наверно, это было еще не все. Я снова опустил руку в жидкость... Снова — прозрачность, зудение, «то, машина... то...». Наконец зудение исчезло, кисть стала непрозрачной.

Весь опыт длился двадцать минут. Сейчас я и сам не смог бы указать место, где полоснул себя скальпелем.

Надо разобраться... Самое интересное, что мне не понадобилось внушать «машине-матке» специальную информацию: как залечивать порез — да я и не мог ее вспомнить. Возможно, и мои поощрения «то... то...» были излишни: ощущение боли и без того породило в моем мозгу довольно красноречивые биотоки.

Выходит, «машину-матку» включает в человека сигнал о нарушении информационного равновесия в системе. Но таким сигналом может стать не только боль: волевая команда изменить что-то в себе, неудовлетворенность («не то»). А далее можно управлять ощущениями.

Пустяковый, неэффективный опыт в сравнении со всем прочим. Ведь порез можно было залить йодом, перебинтовать — зажило бы и так...

Самый главный опыт из всего, что достигли за год

работы! Теперь открытие может быть применено не только для синтеза и усовершенствования искусственных дублей, а для преобразования сложной информационной системы, заключенной в сложнейший биологический раствор, которую мы упрощенно называем «человек». Преобразование любого человека!»

«20 февраля. Да, жидккая схема включается в организм человека и по волевой команде. Сегодня я таким способом снял с левой руки волосянную растительность по самый локоть. Погрузил руку в бак, надел «шапку». Команда «Не то!», сосредоточенная на волосах. Покалывание и зудение усилились. Кожа стала прозрачной. Через минуту волосы растворились.

Кравец по этой методе за пять минут отрастил на мизинце и указательном пальце ногти длиной в два сантиметра. Окупнул в жидкость обе ладони и превратил обычный узор кожи на подушечках пальцев в нечто похожее на «елочку» протектора автомобильной шины. Потом он попробовал восстановить прежний узор, но позабыл, какой у него был раньше.

Теперь понятно, почему у нас не получилось с кроликами — ведь у них нет сознания, нет воли, нет неудовлетворенности собой. Этот способ для человека. И только для человека!»

Далее аспирант Кривошеин читал бегло, для запоминания. Он листал страницы дневника и будто фотографировал их своей памятью. Ему все было ясно: Кривошеин и Кравец другим путем пришли к тому же, что и он, — к управлению обменом веществ в человеке. Только при помощи машины.

И это очень важно, что при помощи машины: теперь его открытие по уникум, не вид уродства, а знание, как преобразовать себя. Мало иметь способ преобразования — надо располагать полной информацией о человеческом организме. У них ее нет и не могло быть. А его «знание в ощущениях» теперь можно записать в «машину-матку» и через нее передать всем. Каждому человеку. И каждый человек потом приобретет неслыханное могущество.

Аспирант мечтательно смыгнул глаза, откинулся на стул... Уж что там: борьба с болезнями — о них скоро забудут! Человеку станут и без машин подвластны все стихии.

...Синие глубины океанов, куда не опуститься без водолазного костюма, без батискафа. И человек-дельфин,

отрастиивший себе жабры и плавники, сможет наслаждаться водной стихией, жить в ней, работать, путешествовать.

...Потянет в воздух — можно вырастить себе крылья, летать, парить орлом в теплых воздушных потоках.

...Враждебные чужие планеты: с ядовитой атмосферой из хлорных газов, раскаленные зноем солнца и жаром неостывшей магмы или замороженные космическим холодом, зараженные смертоносными бациллами. И человек сможет жить тамвольно, как на Земле, без скафандра и биологической защиты: ему понадобится лишь перестроить свой организм на окисление хлором вместо кислорода или, может быть, заменить обычный белок в теле кремнийорганическим.

Ведь в человеке не главное, что он дышит кислородом. И руки-ноги — не главное. Можно завести жабры, крылья, плавники, дышать фтором, заменить белок кремнийорганикой — и остаться человеком. А можно иметь нормальные конечности, белую кожу, голову и документы — и не быть им!

— Да, но... — Кривошеин в задумчивости облокотился о стол. Взгляд его снова упал на записи своего оригинала.

«...— Исчезнут болезни и уродства, не страшны раны, отравления. Каждый сможет стать сильным, смелым, красивым, сможет мобилизовать ресурсы организма, чтобы выполнить работу, которая раньше казалась непосильной. Люди будут как боги!.. Ну, что ты улыбаешься мудрой улыбкой? Это ведь в самом деле *тот* способ безграничного совершенствования человека!

— Мудрый я, вот и улыбаюсь, — ответствовал ходяко Кравец. — Ты опять залетаешь. Не только такое может быть.

— Да брось ты! Разве каждый человек не стремится стать лучше, совершеннее?

— Стремится, — в меру своих представлений о хорошем и совершенном. Могут, например, из данного способа возникнуть «косметические ванны Кривошеина».

— Какие еще ванны?

— Ну, такие... по пять рублей за сеанс. Приходит гражданичка, разоблачается за ширмой, погружается в биологический раствор. Оператор — какой-нибудь там Жора Шерверпупа, бывший парикмахер, — водружает на себя «шапку Мономаха», склоняется: «Чего изволите?» — «Таперечка я хочу под Бриджит Бардо, — за-

казывает клиентка. — Только чтоб трошки пышнее и чернявая. Мой Вася уважает, когда чернявая...» Что кричишься? Еще и на чай Жора даст. А клиенты мужеска пола будут трансформироваться под супермужчину Жана Маре или северных красавцев Олегов Стриженовых. А в следующем сезоне пойдет мода на Поллобриджид и Виталиев Зубковых, как нынче на их открытки...

— Но можно же задать «машине-матке» какой-то нижний предел отбора информации... какой-то там фильтр по отбраковке пошлости и глупости. Или задать жесткую программу...

— ...которая одновременно с формулами втихивала бы в массового потребителя богатое внутреннее содержание? А если он не пожелает? Имеет он право не желать за свои деньги? «Что я — ненормальная какая, — заверещит та же дамочка, — что вы хотите меня исправлять? Сами вы придурики жизни!» Понимаешь, железобетонность позиции пошляка и обывателя в том и состоит, что они считают нормой именно свое поведение.

— Но можно сделать так, что оно не будет нормой для «машины-матки».

— Гм... Предлагаю произвести простой опыт. Сунь, будь добр, в жидкость палец.

— Какой?

— Кацой не жалко.

Я опустил в жидкость безымянный палец. Дубль надел «шапку», отошел к медицинскому шкафчику.

— Внимание!

— Ой, что ты делаешь?! — я выдернул палец. На нем был порез, из него сочилась кровь.

Кравец Виктор пососал свой безымянный, потом вытер кровь со скальпеля.

— Понял теперь? Для машины нет и не может быть нормы поведения. Ей на все наплевать, что прикажут, то и делает...

Мы залечили порезы.

Спустил меня Кравец с небес на землю — кувырком по ступенькам. Мечтательный мы народ, изобретатели. И Эдисон, наверно, думал, что по его телефону люди будут сообщать друг другу только приятные и пужные сведения, а уж никак не сплетничать, доносить анонимно или вызывать потехи ради «Скорую помощь» к абсолютно здоровым знакомым... Все мы так, мечтаем о хорошем, а когда жизнь выворачивает идею изобретения наизнанку,

хлопаем себя по бокам, как лесорубы на морозе: что ж это вы, люди, делаете?!

Проклятие науки в том, что она создает способы — и ничего более. Вот и у нас будет просто «способ преобразования информации в биологической системе». Можно обезьяну превратить в человека. Но и человека в обезьяну — тоже.

Но нельзя, нельзя, нельзя думать, что и после нашего открытия все будет как было! Не для науки — для жизни нельзя. Наше открытие именно для жизни: оно не стреляет, не убивает — оно создает. Возможно, мы не там ищем — не в свойствах машины дело, а в свойствах человека?»

Аспирант Кривошеин дочитывал дневник под внутренний аккомпанемент этих тревожных мыслей. Неужели напрасно надсаживались — их открытие пришло раньше времени и оно может выстрелить по людям? В Москве он мало задумывался над этим: открытие только в нем, ни к кому оно более не относится — знай исследуй да иомалкивай... Правда, после купания в бассейне реактора ему очень хотелось поделиться своими знаниями и переживаниями и с Андросиашвили, и с ребятами в общежитии: радиацию и лучевую болезнь можно преодолеть! Но это его знание относилось к войне...

«Из-за подонков! — Кривошеина охватила ярость. — Из-за подонков, которых, может, один на тысячу и для которых услужливая проститутка Наука готовит способы взрывать города и уничтожать народы! Всего лишь способы. Черт, начать искоренять этих гадов по-мокрому, что ли? Никто меня не поймает, не подстрелит... И сам пойду дорогой подонков? Нет. Это тоже «не то».

Аспирант закрыл тетрадь, поднял глаза. Настольная лампа горела, ничего не освещая. Было светло. За окном желтые одинаковые морды домов Академгородка среди зелени смотрели на невидимое солнце; казалось, стадо домов сейчас побредет за светилом. Часы показывали половину восьмого утра.

Кривошеин закурил, вышел на балкон. На остановке троллейбуса внизу накапливались люди. Широкоплечий мужчина в синем плаще все прохаживался под деревьями. «Ну и ну! — подивился его выносливости Кривошеин. — Ладно. Надо спасать то, что еще можно спасти».

Он вернулся в комнату, разделся, принял холодный душ. Вернулась бодрость. Потом раскрыл платяной шкаф,

критически переворошил небогатый запас одежды. Выбрал украинскую рубаху с вышитым воротником и тесемками, надел. С сомнением осмотрел поношенный синий костюм — вздохнул, надел и его.

Затем аспирант четверть часа потренировался перед зеркалом и вышел из квартиры.

Глава третья

— Эй, стойте! Не будьте ослом!
— Легко сказать... — пробормотал осел и пустился прочь.

Современная сказка

Человек в плаще заметил Кривошеина, повернулся к нему всем корпусом, посмотрел в упор.

«Господи, что за примитив-детектив! — возмутился Кривошеин. — Нет бы следить за моим отражением в витрине или прикрыться газетой — пялится, как испандералец на междугородний автобус! Инструкций у них нет, что ли? Читали бы хоть комиксы для повышения квалификации. Раскроешь с такими преступление, как же!»

Его разобрало зло. Он подошел вплотную к человеку.

— Послушайте, почему вас не сменяют? Разве на сыщиков не распространяется закон о семичасовом рабочем дне?

Тот удивленно поднял брови.

— Валя... — услышал аспирант мягкий баритон. — Валентин... разве ты меня не узнаешь?

— Гм... — Кривошеин заморгал, взгляделся и присвистнул. — Так это же... стало быть, вы дубль Адам-Геркулес? Вот оно что! А я-то думал...

— А... вы, выходит, не Кривошеин? То есть Кривошеин, но... из Москвы?

— Точно. Ну, здравствуйте... здравствуй, Валька-Адам, пропавшая душа!

— Здравствуй.

Они стиснули друг другу руки. Кривошеин рассматривал обветренное загорелое лицо Адама: черты его были грубы, но красивы. «Все-таки хорошо! Валька по-

старался, смотри-ка!» Только в светлых глазах за выгоревшими ресницами пряталась робость.

— Много теперь будет Кривошеиных Валентинов Васильевичей.

— Можешь звать меня Адамом. Я возьму себе это имя.

— Где же ты был, Адам?

— Во Владивостоке, господи... — тот усмехнулся, как бы сомневаясь в своем праве шутить. — Во Владивостоке и около.

— Ну? Здорово! — Кривошеин с завистью посмотрел на него. — Монтировал в портах оборудование?

— Не совсем. Взрывал подводные скалы. Вот... вернулся работать.

— А не страшно?

Адам прямо посмотрел на Кривошеина.

— Страшно, но... понимаешь, есть идея. Попробовать вместо синтеза искусственных людей преобразовывать в «машине-матке» обычных. Ну... погружаться в жидкость, воздействовать внешней информацией... наверно, можно, а?

Адам все-таки робел, понимал, что робеет, и досадовал, что из-за этого выношенная им идея выразилась так нескладно.

— Хорошая идея, — сказал аспирант. Он с новым любопытством поглядел на Адама. «В сущности, не такие мы и разные. Или это внутренняя логика открытия?» — Только уже было, Валь. Погружали они в нашу родную стихию различные части тела. Кажется, уже погружались и целиком.

— И получается?

— Получается... только с последним опытом еще не ясно.

— Так это же здорово! Понимаешь... ведь это... тогда можно устроить ввод информации Искусства в человека с отбором по принципу обратной связи... — И Адам, все так же сбиваясь и робея, изложил Кривошеину свои мысли об облагораживании человека искусством.

Но аспирант понял.

— «...Мы должны в своей работе исходить из того, что человек стремится к лучшему, — с улыбкой процитировал он запись из дневника Кривошеина, — из того, что никто или почти никто не хочет сознательно делать подлости и глупости, а происходят они от непонимания.

В жизни все сложно, не сразу разберешь, скверно ты поступаешь или нет; это я и по себе знаю. И если дать человеку ясную и применимую к его психике, к его делам и поступкам информацию — что хорошо, что скверно, что глупо — и ясное понимание того, что любая его подлость или глупость рано или поздно по закону большого счета обернется против него же, тогда ни его, ни за него можно не опасаться. Такую информацию можно вводить и в «машину-матку»...

— Как, и это уже было? — удивился Адам.

— Нет. Было лишь смутное понимание, что это нужно. Что без такой информации все остальное не имеет смысла... Так что твоя идея очень кстати. Она, как выражаются в академических кругах, заполняет пробел... Послушай! — вдруг взъярился Кривошеин. — И ты с такой идеей ходил за мной, как сыщик, слонялся под окнами! Не мог окликнуть или войти в квартиру?

— Понимаешь... — замялся Адам, — я ведь думал, что ты — это он. Проходишь мимо, не замечаешь, не признаешь. Подумал: не хочет видеть. У нас с ним тогда такое вышло... — Он опустил голову.

— Да... И в лаборатории не был?

— В лаборатории? Но ведь у меня нет пропуска. А документы — Кривошеина, там их знают.

— А через забор?

— Через забор... — Адам смущенно повел плечами: ему эта мысль и в голову не пришла.

— Человек вырабатывает небывалой дерзости замыслы и идеи, а в жизни... боже мой! — Кривошеин неодобрительно покачал головой. — Избавляться надо от этой гаденькой робости перед жизнью, перед людьми — иначе пропадем. И работа пропадет... Ну ладно, — он протянул ему ключи, — иди располагайся, отдыхай. Всю ночь во-круг да около бродил, надо же!

— А где... он?

— Хотел бы я сам знать: где он, что с ним? — Аспирант помрачнел. — Попробую выяснить все. Позже увидимся. Пока, — он улыбнулся. — Все-таки здорово, что ты приехал.

«Нет, человека не так просто сбить с пути! — мысленно приговаривал Кривошеин, направляясь к институту. — Великое дело, большая идея могут подчинить себе все, заставят забыть и об обидах, и о личных устремлениях,

и о несовершенстве... Человек стремится к лучшему, все правильно!»

Мимо мчались переполненные утренние троллейбусы и автобусы. В одном из них аспирант заметил Лену: она сидела у окна и рассеянно смотрела вперед. Он остановился на секунду, проводил ее взглядом. «Ах, Ленка, Ленка! Как ты могла?» Чтение дневника произвело на аспиранта действие, которое не произвело бы ни на кого другого: он будто прожил этот год в Днепровске. Сейчас он был просто Кривошеин — и сердце его защемило от воспоминания об обиде, которую ему (да, ему!) нанесла эта женщина.

«...Я знаю, к чему идут наши исследования, не будем прикидываться: мне лезть в бак. Мы с Кравцом производим мелкие поучительные опыты над своими конечностями, я недавно даже срастил себе жидкой смесью порванную давным-давно коленную связку и теперь не прихрамываю. Все это, конечно, чудо медицины, но мы-то замахнулись на большее — на преобразование всего человека! Здесь мельчить нельзя, так мы еще 20 лет протопчемся около бака. И лезть именно мне, обычному естественному человеку, — Кравцу в баке уже делать нечего.

В сущности, предстоит испытать не «машину-матку» — себя. Все наши знания и наши приемы слова доброго не стоят, если у человека не хватит воли и решимости подвергнуть себя информационным превращениям в жидкости.

Конечно, я не вернусь из этой купели преобразившимся. Во-первых, у нас нет необходимой информации для основательных переделок организма и интеллекта человека; а во-вторых, для начала этого и не надо: достаточно испытать полное включение в «машину-матку», доказать, что это, возможно, не опасно, — ну, и что-то в себе изменить. Так сказать, сделать первый виток вокруг Земли.

А это возможно? А это не опасно? Вернусь ли я из «купели», с орбиты, с испытаний — вернусь? Сложная штука «машина-матка» — сколько нового в ней открыли, а до конца ее не знаем... Что-то мне не по себе от блестящей перспективы наших исследований.

Мне сейчас самое время жениться, вот что. К черту

осторожные отношения с Ленкой! Она мне нужна. Хочу, чтобы она была со мной, чтобы заботилась, беспокоилась и ругала, когда поздно вернусь, но чтобы сначала дала поужинать. И (поскольку с синтезом дублей уже все ясно) пусть новые Кривошеины появляются на свет не из машины, а благодаря хорошим, высоконравственным взаимоотношениям родителей. И пусть осложняют нам жизнь — я «за»! Женюсь! Как мне это раньше в голову не пришло?

Правда, жениться сейчас, когда мы готовим этот эксперимент... Что ж, в крайнем случае останется самая прочная память обо мне: сын или дочь. Когда-то люди уходили на фронт, оставляя жен и детей, — почему мне нельзя поступить так сейчас?

Возможно, это не совсем благонамеренно: жениться, когда есть вероятность оставить вдову. Но пусть меня осудят те, кто шел или кому идти на такое. От них я приму».

«12 мая.

— Выходи за меня замуж, Ленка. Будем жить вместе. И пойдут у нас дети: красивые, как ты, и умные, как я. А?

— А ты действительно считаешь себя умным?

— А что?

— Был бы ты умный, не предложил бы такое.

— Не понимаю...

— Вот видишь. А еще рассчитываешь на умных детей.

— Нет, ты объясни: в чем дело? Почему ты не хочешь выйти за меня?

Она вонкнула в волосы последнюю спилюшку и повернулась от зеркала ко мне.

— Обожаю, когда у тебя так выпячиваются губы. Ах ты мой Валька! Ах ты мой рыжий! Значит, у тебя прорезались серьезные намерения? Ах ты моя прелест!

— Подожди! — я высвободился. — Ты согласна выйти за меня?

— Нет, мой родненький.

— Почему?

— Потому что разбираюсь в семейной жизни чуть больше тебя. Потому что знаю: ничего хорошего у нас не получится. Ты вспомни: мы хоть раз о чем-нибудь серьезном говорили? Так — встречались, проводили время... Вспомни: разве не бывало, что я прихожу к тебе,

а ты занят своими мыслями, делами и не рад, даже недоволен, что я пришла? Конечно, ты делаешь вид, стираешься вовсю, но ведь я чувствую... А что же будет, если мы все время будем вместе?

— Значит... значит, ты меня не любишь?

— Нет, Валечка, — она смотрела на меня ясно и печально. — И не полюблю. Не хочу полюбить. Раньше хотела... Я ведь, если по совести, с умыслом с тобой сблизилась. Думала: этот тихий да некрасивый будет любить и ценить... Ты не представляешь, Валя, как это мне было нужно: отогреться! Только не отогрелась я возле тебя. Ты ведь меня тоже не очень любишь... Ты не мой, я вижу. У тебя другая: Наука! — Она зло рассмеялась. — Тоже напридумывали себе игрушек: наука, техника, политика, война, а женщина так, между прочим. А я не хочу между прочим. Известно: мы, бабы, дуры — все принимаем всерьез, в любви меры не знаем и ничего с собой поделать не можем... — Ее голос задрожал, она отвернулась. — Я бы тебе это все равно сказала... Ошиблась ты снова, Ленка!

Впрочем, подробности ни к чему. Я ее выгнал. Вот сижу, отвожу душу с дневником.

Значит, все было по расчету. «Не люби красивенько-го, а люби паршивенького». Загорелось мне создать здоровую семью...

Холодно. Ох, как холодно!..

«А за что меня любить Фраските? У меня и франков...» Ну, ты брось! Ленка не такая. А какая? И в общем она верно сказала: разве я этого сам не понимал? Еще как! Но раньше меня устраивали такие легкие отношения с ней... «Вас устроит?» — как говорят в магазинах, предлагая маргарин вместо сливочного масла.

Ничто в жизни не проходит даром. Вот я и сам изменился, осознал, а она все долбает... Поддался книжной иллюзии, чудак. Захотел отогреться.

И это все. Ничего больше в моей жизни не будет. Такую, как Ленка, мне не найти. А на дешевые связи и не согласен.

Не захотела Лена стать моей здовой.

Холодно...

Мы утратили непосредственность, способность поступать по велению чувств: верить без оглядки — потому что верилось, любить — потому что любилось. Возможно, так вышло потому, что каждый не раз обжегся на этой

непосредственности, или потому, что в театре и в кино видим, как делаются все чувства, или от сложности жизни, в которой все обдумать и рассчитать надо, — не знаю. «Нежность душ, разложенная в ряд Тейлора...» Разложили...

Теперь нам надо заново разумом постигнуть, насколько важны цельные и сильные чувства в жизни человека. Что ж, может быть, и хорошо, что это требуется доказать. Это можно доказать. И это будет доказано. Тогда люди обретут новую, упрочненную рассудком естественность чувств и поступков, поймут, что иначе — не жизнь.

А пока — холодно...

Ах, Ленка, Ленка, бедная, запуганная жизнью девочка! Теперь я, кажется, в самом деле тебя люблю».

В половине девятого утра к лаборатории новых систем подошел следователь Онисимов. Дежурный старшина Головорезов сидел на самом солицепеке на крыльце флигеля, привалившись к дверям, — фуражка надвинута на глаза. Вокруг раскрытого рта и по щекам ползали мухи. Старшина подергивал мускулами лица, но не просыпался.

— Сгорите на работе, товарищ старшина, — строго произнес Онисимов.

Дежурный сразу проснулся, поправил фуражку, встал.

— Так что все спокойно, товарищ капитан, ночью никаких происшествий не было.

— Понятно. Ключи при вас?

— Так точно, — старшина вытащил из кармана ключи. — Как мне их вручили, так они и при мне.

— Никого не выпускайте.

Онисимов отпер дверь флигеля, захлопнул ее за собой. Легко ориентируясь в темном коридоре, заставленном ящиками и приборами, нашел дверь в лабораторию.

В лаборатории он внимательно огляделся. На полу застыли желеобразные лужи, подсохшие края их заворачивались внутрь. Шланги «машины-матки» вяло обвисали вокруг бутылей и колб. Лампочки на пульте электронной машины не горели. Рубильники электрощита торчали вбок. Онисимов с сомнением втянул в себя тухловой воздух, крутнул головой: «Эге!» Потом спял синий пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, закатал рукава рубашки и принялся за работу.

Прежде всего он промыл водой, поднял и поставил на место тефлоновый бак, свел в него отростки шлангов и концы проводов. Потом обследовал силовой кабель, нашел внизу, на стыке стены и пола, разъединенное кислотами и обгорелое место короткого замыкания; взял в вытяжном шкафу резиновые перчатки, добыл из слесарного стола инструменты, вернулся к кабелю и принялся зачищать, скручивать, забинтовывать изолентой оплавленные медные жилы.

Через несколько минут все было сделано. Онисимов, отдуваясь, разогнулся, врубил электроэнергию. Негромко загудели трансформаторы ЦВМ-12, зашуршили вентиляторы обдувки, взвыл, набирая обороты, мотор вытяжки. На пульте электронной машины беспорядочно замерцали зеленые, красные, синие и желтые лампочки.

Онисимов, покусывая от волнения нижнюю губу, набрал в большую колбу воды из дистиллятора, стал доливать ее во все бутыли; достал из стола Кривонеина лабораторный журнал и, справившись по записям, принялся досыпать в колбы и бутыли реактивы. Окончив все это, стал посреди комнаты в ожидании.

Трепещущий свет сигнальных лампочек перекидывался от края к краю пульта, снизу вверх и сверху вниз — метался, как на взбесившейся киноплёнке. Но постепенно бессистемные мерцания стали складываться в рисунок из ломаных линий. Зеленые прямые оттеняли синие и желтые. Мерцание красных лампочек замедлилось: вскоре они погасли совсем. Онисимов напряженно ждал, что вот-вот в верхней части пульта вспыхнет сигнал «Стоп!». Пять минут, десять, пятнадцать — сигнал не вспыхнул.

— Кажется, работает... — Онисимов крепко провел ладонью по лицу.

Теперь надо было ждать. Чтобы не томиться попусту, он налил в ведро воды, нашел в коридоре тряпки и вымыл пол. Потом обмотал изолентой оборванные концы проводов от «шапки Мономаха»; прочел записи в журнале, приготовил еще несколько растворов, долил в бутыли. Делать больше было нечего.

В коридоре послышались шаги. Онисимов резко повернулся к двери. Вошел старшина Головорезов.

— Товарищ капитан, там ученый секретарь Хилобок просится войти, говорит, что у него к вам разговор. Впустить?

— Нет. Пусть подождет. У меня к нему тоже разговор.

— Слушаюсь, — старшина ушел.

«Что ж, придется поговорить и с Гарри, — усмехнулся Онисимов. — Самое время напомнить ему недавние события».

«...17 мая. А ведь слукавил тогда Гарри Харитонович, что-де некогда ему диссертацию писать! Слукавил. Вчера, оказывается, состоялась предварительная защита его докторской на закрытом заседании нашего ученого совета. У нас, как и во многих других институтах, заведено: прежде чем выпускать докторантуру во внешние сферы, послушать его в своем кругу. На днях будет официальная защита в Ленкином КБ.

Ой, неспроста Гарри лукавит! Что-то в этом есть».

«18 мая. Сегодня я постучал в оконечко, возле которого некий институтский поэт, на всякий случай пожелавший остаться неизвестным, написал карандашом на стене:

Первой формы будь достоин.
Враг не дремлет!

Майор Пронин

Я как раз достоин. Поэтому Иогани Иогаппович впустил меня в закрытую читальную и выдал для ознакомления экземпляр диссертации к.т.н. Г. Х. Хилобока на соискание ученой степени доктора технических наук на тему... впрочем, об этом нельзя.

Ну, братцы... Во-первых, упомянутая тема вплотную примыкает к той разработке блоков памяти, которую когда-то вели мы с Валеркой, и получается, что Гарри был едва ли не автор и руководитель ее; прямо это не сказано, но догадаться можно. Во-вторых, он предалсявольной импровизации в части истолкования и домысливания полученных результатов и основательно заврался. В-третьих, у него даже давно известные факты, установленные зарубежными системотехниками и электронщиками, идут за фразой «Исследованиями установлено...». Как же наш ученый совет-то пропустил такое? Месяц май, половина людей в командировках и отпусках.

Нет, это ему так не пройдет».

«19 мая.

— Ты арифметику знаешь? — спросил Кравец, когда я изложил ему суть дела и свои намерения.

— Знаю, а что?

— Тогда считай: два дня на подготовку к участию в защите плюс день защиты... плюс месяц первотрепки после нее — ты ведь не маленький, знаешь, что такие штуки даром не проходят. Что больше весит: месяц наших исследований, результаты которых со временем повлияют на мир сильней всей нынешней техники, или халтурная диссертация, которая ни на что не повлияет? Одной больше, одной меньше — и все.

— М-да... а теперь я тебе расскажу другую арифметику. Вот мы с тобой одинаковые люди и одинаковые специалисты, кое в чем ты даже меня превосходишь. Но если я сейчас пойду к тому же ученому секретарю Хилобоку и, не особенно утруждая себя обоснованиями, заявлю ему, что практикант Кравец глуп, не разбирается в азах вычислительной техники (даже арифметику знает слабо), портит приборы и тайком пьет спирт... что будет с практикантом Кравцом? Вон из института и вон из общежития. И пропал практикант. Никому он ничего не докажет, потому что он всего лишь студент. Вот такую же силу по сравнению с нами наберет Хилобок, став доктором наук. Я тебя убедил?

Я его настолько убедил, что он тут же отправился в библиотеку подбирать выписки из открытых литературных источников.

Могу и еще обосновать: нам надо думать не только об исследованиях, но и о том, что когда-то придется защищать правильные применения открытия. А это мы не умеем. Этому надо учиться.

Да к черту осторожные обоснования! В конце концов живу я на свете или мне это только кажется?»

«22 мая. Все началось обыкновенно. В малом зале КБ собралась небольшая, но представительная аудитория. Гарри Харitonovich приколол к доске листы ватмана с разноцветными схемами и графиками, картинко стал возле и произнес положенную двадцатиминутную речь. Допущенные слушали, испытывая привычную неловкость. Одни совсем не понимали, о чем речь; другие кое-что понимали, кое-что нет; третий все понимали: и кто такой Гарри Хилобок, и что у него за работа, и почему он ее засекретил... Но каждый уныло думал, что нечего соваться в чужой огород, да и достаточно ли он

сам совершенен, чтобы критиковать других? Обычные сонные размышления, благодаря которым в науку прошмыгнула уже не одна тысяча бездарей и пройдох.

Гарри кончил. Председательствующий прочел отзывы. Приятные отзывы, ничего не скажешь (кто же станет неприятные представлять на защиту?). Для меня серьезной неожиданностью было лишь то, что и Аркадий Аркадьевич дал отзыв. Затем были выступления официальных оппонентов. Известно, что такое официальный оппонент: он, чтобы оправдать свое название, отмечает некоторые недоделки, некоторые несоответствия, «а в целом работа соответствует... автор заслуживает...». Впрочем, не буду грешить: оппонент из Москвы очень квалифицированно поиздевался над всеми положениями диссертации и дал понять, что ее можно раздолбать, но он сделал это настолько тонко и осторожно, что его вряд ли понял сам Гарри; «а в целом работа заслуживает...».

И наконец: «Кто желает выступить?» Обычно к этому времени все чувствуют отвращение к происходящему, никто ничего не желает, диссертант благодарит — все.

Завлабораторией В. Кривошеин сделал глубокий вдох и выдох (к этому времени я осознал, что скандал получится серьезный) и поднял руку. Гарри Харитонович был неприятно поражен. Я, как и он, говорил 20 минут и в развитие своих доводов передавал членам совета журналы, монографии, брошюры, в которых излагались без ссылок на Хилобока защищаемые им результаты; затем воспроизвел на доске его схему... неважно, чего именно, тем более что единственным достоинством ее была «оригинальность», и доказал, что поскольку... то схема на частотах требуемого диапазона работать не будет. В зале стало шумно.

Затем выступил кандидат наук В. Иванов, прилетевший (не без моего звонка) из Ленинграда. Он тоже уточнил приоритетные данные и разобрал «оригинальную» часть диссертации; речь Валерки была исполнена эрудиции и тонкого юмора. В зале стало еще бодрее — и ишло!

Мой старый знакомец Жалбек Балбекович Пшембаков стал уточнять у Гарри: как же в схеме № 2 осуществляется... (об этом тоже не стоит). Хилобок не знал как, но попытался отбиться порцией разжижающей мозги болтовни. За ним вступили в интересный разговор другие работники КБ. В заключение выступил главный

инженер КБ, профессор и лауреат... (его фамилию не рекомендовано упоминать всуе). «Мне с самого начала казалось, что здесь что-то не то», — начал он.

Словом, не помогла Хилобоку первая форма: раздолбали его диссертацию, как бог черепаху! На Гарри жалко было смотреть. Все расходились по своим делам, а он скальвал с доски роскошные ватманы — и упругие листы, свертываясь, били его по усам. Я подошел помочь.

— Спасибо уж, не надо, — пробурчал Хилобок. — Что — довольны? Сами не защищаетесь и другим не даете. Легко живете, Валентин Васильевич, природа наделила вас способностями...

— Хорошенькое дело, легко! — опешил я. — Зарплата в два раза меньше, чем у вас, отпуск тоже. А работы и забот сверх головы...

— Сами себе прибавляете забот-то, зачем вам было в это дело вмешиваться? — Гарри, сворачивая листы, взглянул на меня многообещающе и зло. — Об институте надо думать, не только о себе да обо мне... Ну, да не здесь нам об этом говорить!

Это уж как водится. Но все равно: я сейчас себя удивительно хорошо чувствую. Такое ощущение, что сделал если не более значительное, то, несомненно, более нужное дело, чем наше открытие: прищемил гада. Значит, можно? И не так страшно, как казалось.

Теперь и за будущее нашей работы как-то не так опасаюсь. Можно одолевать и такие проблемы».

— А на работу это все-таки повлияло... — пробормотал Онисимов-Кривошеин, наблюдая за «машиной маткой». — Э, да что только не влияет на работу!

«29 мая. Сегодня был вызван пред светлы очи Азарова. Он только вернулся из командировки.

— Вы понимаете, что вы наделали?

— Но, Аркадий Аркадьевич, ведь диссертация...

— Речь идет не о диссертации Гарри Харитоновича, а о вашем поведении! Вы подорвали престиж института, да как подорвали!

— Я высказал свое мнение.

— Да, но где высказали? Как высказали?! Неужели трудно понять, что во внешней организации вы не просто

инженер, который стремится свести... э-э... научные счеты с кем-то (ну, Гарри накапал!), а представитель Института системологии! Почему вы не высказали свое мнение на предварительной защите?

— Я не знал о ней.

— Все равно вы могли даже после нее изложить свое мнение моему заместителю — оно было бы учтено! (Это Вольтамперновым-то!)

— Оно не было бы учтено.

— Я вижу, мы не договоримся. Какие у вас планы на дальнейшее?

— Увольняться не собираюсь.

— Я вам этого и не предлагаю. Но мне кажется, что вам еще рано руководить лабораторией. Ученый, работающий в коллективе, должен учитывать интересы коллектива и, уж во всяком случае, не наносить ему вред своими действиями. Полагаю, что на предстоящем конкурсе вам трудно будет пройти на должность заведующего лабораторией... Все. Я вас не задерживаю.

Вот так. Сейчас по всему институту раздается оскорбленное индюшко болботанье: «Инженер против кандидата! Супротив доктора!» Страницами Гарри дело представляется так, будто я сводил с ним счеты. Вспоминают старые мои грехи: выговор, аварию в лаборатории Иванова (завхоз Матюшин носится с идеей взыскать с меня дельги за нанесенный ущерб). Спохватились, что я не представил годовой отчет о работе, хотя тема 154 кончается лишь в этом году. Поговаривают, что надо образовать комиссию по проверке работы лаборатории.

Недоброжелатели кричат, доброжелатели шепчут сочувственно и с оглядочкой: «Здорово ты Хилобока приделал... Так ему, болвану, и надо... Ну, теперь тебя съедят...» И советуют, куда перейти. «Так вы бы вступились!» — «Ну, видишь ли... — разводят руками тот же теплый парень Феня Загребляк. — Что я могу? Это же не моя специальность...»

Все-таки гнусная жизнь у узкого специалиста. Сытая, обеспеченная, но гнусная. Все его жизненные интересы сосредоточены вокруг каких-нибудь там элементов пассивной памяти, да и то не любых элементов, а на криотронах, да и то не на любых криотронах, а пленочных, да и то не из любых плёнок, а только из свинцово-оловянных... Рабочий, крестьянин, техник, инженер широкого профиля, учитель и даже канцелярист могут найти при-

ложение своим силам и знаниям во множестве занятий, предприятий и учреждений, а этими трехлятыми пленками занимаются в двух-трех институтах на весь Союз. Куда деваться в случае чего бедному Фене? Сиди и не чирикай... В сущности, узкая специализация — это способ самонаработчения.

Поэтому у нас, в среде узких специалистов, почти никогда не бывает, чтоб все за одного (кроме случаев, когда этот один — Азаров); все на одного — это другое дело, это легче. Поэтому и разгораются страсти при каждом нарушении научной субординации. «Это ж каждого так могут провалить!» — возопил Вольтампернов. И пошло...

Ладно, перетерпим. Выстоим. Главное — дело сделано. Я ведь знал, на что иду. Но противно. Сил нет как противно...»

Онисимов погасил папиросу, впился взглядом в машину. В расположении шлангов что-то медленно и неощущимо изменилось. Они будто напряглись. По некоторым прошла дрожь сокращений. И — Онисимов даже вздрогнул — первая капля из левого темно-серого шланга звонко ударила о дно бака.

Онисимов приставил к баку лесенку, взобрался по ней. Подставил ладонь под шланг. За минуту в нее набралась лужица густой золотистой жидкости. Под ней, как под увеличительным стеклом, вырисовывались линии кожи. Он сосредоточился: кожа исчезла, обнажились красные волоконца мышц, белые косточки фаланг, тяжи сухожилий... «Ах, если бы они это знали и умели, — вздохнул он, — опыт попал бы не так. Не знали... И это повлияло».

Он выплеснул жидкость в бак, опустился на пол, вымыл руку под краном. Звон капель из всех шлангов теперь звучал по-весеннему весело и дробно.

— Работа! Крепка же ты, машина, — с уважением сказал Онисимов-Кривошеин. — Крепка, как жизнь.

Ему явно не хотелось уходить из лаборатории. Но, взглянув на часы, он заспешил, надел пиджак.

— Доброе утро, Матвей Аполлонович! — радостно приветствовал его Хилобок. — Уже работаете? Я вот вас до-жидаюсь, сообщить хочу, — он приблизил усы к уху Онисимова. — Вчера в квартиру Кривошеина эта... женщина его бывшая приходила, Елена Ивановна Коломиец, что-то взяла и ушла. И еще кто-то там был, всю ночь свет горел.

— Понятно. Хорошо, что сообщили. Как говорится, правосудие вас не забудет.

— Что ж, я всегда пожалуйста. Мой долг!

— Долг-то долг, — голос Онисимова стал жестким, — а не движут ли вами, гражданин Хилобок, какие-либо иные привходящие мотивы?

— То есть какие такие мотивы?

— Например, то, что Кривошеин провалил вашу докторскую диссертацию.

Лицо Гарри Харитоновича на мгновение раскисло, но тут же выразило оскорблённость за человечество.

— Вот люди, а! Уже успел кто-то сообщить... Ну, что у нас за народ такой, вы подумайте, ах ты, ей-богу! Ну, что вы, Матвей Аполлонович, как вы могли сомневаться, я от чистого сердца! Да не так уж сильно новлиял Кривошеин на защите, как вам рассказали, там посередине его специалисты были, и одобряли многие, а он, известно, за-видовал, ну и, конечно, порекомендовали доработать, ничего особенного, скоро снова буду представлять... Ну, впрочем, если у вас ко мне есть недоверие, то смотрите все сами, мое дело сказать, а там... Всего вам доброго!

— Всего хорошего.

Гарри Харитонович удалился вон из себя: и с того света достает его Кривошеин!

— Крепко вы его, товарищ капитан! — одобрил старшина.

Онисимов не услышал. Он смотрел вслед Хилобоку.

«...Все одно к одному. Поневоле раздумаешься: а стоит ли?»

Давай напрямую, Кривошеин: ведь можешь гробануться в этом опыте. Очень просто, по своей же статистике удачных и неудачных опытов. Наука наукой, методика методикой, но с первого раза никогда как следует не получается — закон старый. А ошибка в этом опыте — не испорченный образец.

Ведь выходит, что я полезу в бак просто как узкий специалист по этому делу. Такая у меня специальность — как у Фени Загребняка криотронные пленки. Но могу и не лезть, никто не заставит... Смешно: просто из-за неудачно сложившейся специальности погружаться в эту сомнительную среду, которая запросто растворяет живые организмы!

Из-за людей? Да ну их! Что мне — больше других надо? Буду жить спокойно и для себя. И будет хорошо.

...И все станет ясно — последней холодной ясностью подлеца. И всю жизнь придется оправдывать свое отступление тем, что все люди такие, не лучше тебя, а еще хуже, все живут только для себя. И придется поскорее избавиться от всех надежд и мечтаний о лучшем, чтобы не напоминали они тебе: ты продал! Ты продал и не вправе ждать от людей ничего хорошего.

И тогда совсем холодно станет жить на свете...»

Старшина Головорезов что-то спрашивал.

— Что?

— Я говорю, смена скоро будет, товарищ капитан? Ведь в двадцать два поль-поль заступил.

— Неужели не выспались? — весело сощурил на него глаза Онисимов. — Час-полтора еще поскучать вам придется, потом снимут — обещаю. Ключи я возьму с собой, так надежнее. Никого сюда не пускайте!

Глава четвертая

И у Эйнштейна были начальники, и у Фарадея, и у Попова... но о них почему-то никто не помнит. Это есть нарушение субординации!

К. Прутков-инженер, мысль № 40

Окна кабинета Азарова выходили в парк. Были видны верхушки лип и поднимающийся над зеленью серый в полосах стекла параллелепипед нового корпуса. Аркадию Аркадьевичу никогда не надоедало любоваться этим пейзажем. По утрам это помогало ему прогнать неврастению, прибавляло сил. Но сегодня, взглянув в окно, он только кисло поморщился и отвернулся.

Возникшее вчера чувство одиночества и какой-то вины не проходило. «Э! — попытался отмахнуться Азаров. — Когда кто-то умирает, чувствуешь себя виноватым уже оттого, что остался жив. Особенно если покойник моложе тебя. А одиночество в науке естественно и привычно для каждого творческого работника. Каждый из нас знает все ни о чем — и каждый свое. Понять друг друга трудно. Поэтому мы часто заменяем взаимопонимание молчаливым согласием не вникать в дела других... Но что же знал он? Что делал он?»

— Можно? Доброе утро, Аркадий Аркадьевич! — Хилобок приблизился по ковру, распространяя запах одеколона.

...Намек Онисимова взволновал Гарри Харитоновича; ему пришло в голову, что могут истолковать, будто он сводил счеты с Кривошеиным из-за диссертации, будто травил его и тем способствовал его смерти. «Известно, когда человек погиб, всегда виноватого ищут. А у нас могут, у нас народ такой...» — затравленно думал доцент. Он еще не знал точно: чего и кого именно ему нужно бояться, но бояться надо было, чтобы не дать маxу.

— Так, значит, я вот подготовил проектик приказа, Аркадий Аркадьевич, относительно происшествия с Кривошеиным, чтобы, значит, все у нас относительно него... и этого происшествия было оформлено как иолагается. Здесь всего два пункта: относительно комиссии и относительно прикрытия лаборатории, ознакомьтесь, пожалуйста, Аркадий Аркадьевич, если вы не возражаете...

Хилобок склонился над лакированным столом, положил перед академиком лист бумаги с машинописным текстом.

— Так, значит, в состав комиссии по расследованию этого происшествия я записал товарища Безмерного, инженера по технике безопасности, ему по штату такими делами положено заниматься, хе-хе... Ипполита Илларионовича Вольтампернова — как специалиста по электронной технике, Аглую Митрофановну Гаражу — как члена месткома по охране труда, Людмилу Ивановну из канцелярии в качестве технического секретаря комиссии... ну, и сам возглавлю, если вы, Аркадий Аркадьевич, не будете возражать, возьму на себя и эту обузу, хе-хе! — он осторожно взглянул на академика.

Аркадий Аркадьевич рассматривал своего верного ученического секретаря. Доцент был, как всегда, щательно выбрит и оттуюжен, тонкий алый галстук струился по накрахмаленной рубашке, как кровь из перерезанного воротником горла, но почему-то и вид, и хорошо поставленный голос Гарри Харитоновича внушили академику глухое отвращение. «Этот легкий трепет передо мной... эта нарочитая унтер-офицерская придурковатость... Ведь понятен ты, Гарри Харитонович, насквозь понятен! Может, именно поэтому я и держу его при себе, что он понятен? Потому что от него нельзя ждать ничего неожиданного и великого? Потому что цели его ясны? Когда цели функциональной

системы понятны, ее поведение в тысячи раз легче предвидеть, чем когда цели неизвестны, — есть такое положение в системологии... Или мне просто нравится ежедневно осознавать себя в сравнении с ним? Может быть, именно от этого и возникает одиночество, что окружаем себя людьми, над которыми легко возвыситься?»

— И второй пункт насчет прикрытия, так сказать, приостановки работ в лаборатории новых систем на время работы комиссии... Ну, а после комиссии уж будет ясно, как нам с этой лабораторией решить дальше: расформировать или придать другому отделу какому-нибудь...

— Работы там прекратились естественным образом, Гарри Харитонович, — невесело усмехнулся Азаров. — Некому там теперь работать. И расформировывать некого... — В памяти снова вырисовался труп Кривошеина с выкаченными глазами и скорбным оскалом. Академик помассировал пальцами виски, вздохнул. — Впрочем, я в принципе принимаю вашу идею о комиссии. Только состав ее следует несколько откорректировать, — он придинул к себе листик, раскрыл авторучку. — Ипполита Илларионовича можно оставить, инженера по технике безопасности тоже, технический секретарь тоже нужен. А прочих не надо. Возглавлю комиссию я сам, возьму, как вы выражались, на себя эту обузу, чтоб вас не утруждать. Хочу как следует разобраться, что делал Кривошеин.

— А... а я? — упавшим голосом спросил ученый секретарь.

— А вы занимайтесь своими обязанностями, Гарри Харитонович.

Хилобок почувствовал себя совсем скверно: страхи оправдывались. «Отстраняет!» Сейчас он боялся и ненавидел мертвого Кривошеина больше, чем живого.

— Вот! Вот, пожалуйста, доработался он, а? — Хилобок пригорюнился, склонил голову к плечу. — Хлоют теперь сколько! Ах, Аркадий Аркадьевич, разве я не вижу, как вы переживаете, разве я не понимаю! Но стоит ли вам самим отвлекаться, расстраиваться... Это же по всему городу пойдет, будут говорить, что в Институте системологии у Азарова опять... и что оп-де стремится это дело смастить — вы же знаете, какой народ теперь пошел. Ах, этот Кривошеин, этот Валентин Васильевич! Я ли не говорил вам, Аркадий Аркадьевич, я ли не предсказывал, что от него никакой пользы, кроме вреда и неприятностей, не будет!

Не надо было вам, Аркадий Аркадьевич, поддерживать его тему...

Азаров слушал, морщился — и чувствовал, как его мозгом овладевает — будто снова возвращалась неврастения — привычное безнадежное оценение. Подобная одурь всегда одолевала его при продолжительном разговоре с Хилобоком и заставляла его соглашаться с ним. Сейчас же в голове академика вертелась странная мысль, что наибольшего умственного усилия требуют, пожалуй, не математические исследования, а умение противостоять такой болтовне.

«А почему бы мне не выгнать его? — неожиданно пришла в голову еще одна мысль. — Выгнать прочь из института, и все. В конце концов это унизительно... Да, но за что? Со своими обязанностями он справляется, имеет 18 печатных трудов, десять лет научного стажа, прошел по конкурсу (правда, другой кандидатуры не было) — не к чему придраться! И этот несчастный отзыв я ему дал на диссертацию... Выгнать просто за глупость и бездарность? Ну... это был бы чрезвычайный прецедент в науке».

— Заказы заказывал, материалы и оборудование использовал, отдельное помещение занимал, два года работал — и вот, нате вам, пожалуйста! — распался от собственных слов Хилобок. — А как он на защите-то... ведь не только меня он осрамил — меня-то что, ладно, но ведь и вас, Аркадий Аркадьевич, вас!.. Вот будь на то моя воля, Аркадий Аркадьевич, я бы этому Кривошеину за то, что он такое сотворил ухитриться... то есть ухитрил сотвориться — тыфу, простите! — сотворить ухитрился... я бы ему за это!.. — доцент навис над столом, в его карих глазах сиял нестерпимый блеск озарения. — Вот жаль, что у нас принято лишь награждать посмертно, объявления да некрологи всякие, «де мортуис аут бене, аут ни-хиль», понимаете ли!.. А вот вынести бы Кривошеину выговор посмертно, чтоб другим неповадно было! Да строгий! Да с занесением...

— ...на надгробие. Это мысль! — добавил голос за его спиной. — Ох, и гнида же вы, Хилобок!

Гарри Харитонович распрямился так стремительно, будто ему всадили заряд соли попиже спины. Азаров поднял голову: в дверях стоял Кривошеин.

— Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич, извините, что я без доклада. Разрешите войти?

— Здр... здравствуйте, Валентин Васильевич! — Азаров поднялся из-за стола. У него вдруг сумасшедшее заколотилось сердце. — Здравствуйте... уфф, значит, вы не... рад вас видеть в добром здравии! Проходите, пожалуйста!

Кривошеин пожал мужественно протянутую академиком руку (тот с облегчением отметил, что рука была теплая), повернулся к Хилобоку. У Гарри беззвучно открылся и закрылся рот.

— Гарри Харитонович, не оставите ли вы нас одних? Вы меня премного обяжете.

— Да, Гарри Харитонович, идите, — подтвердил Азаров.

Хилобок попятился к выходу, звучно стукнулся затылком о стену, нашарил рукой дверь и выскочил прочь.

Опомнившись от неожиданности, Аркадий Аркадьевич сделал глубокий вдох и выдох, чтобы успокоить сердце, сел на директорское место и почувствовал раздражение. «Выходит, я оказался жертвой какого-то розыгрыша?!

— Не будете ли вы столь любезны, Валентин Васильевич, объяснить мне, что все это значит?! Что это за история с вашим, простите, трупом, скелетом и прочим?

— Ничего криминального, Аркадий Аркадьевич. Вы разрешите? — Кривошеин опустился в кожаное кресло возле стола. — Самоорганизующаяся машина, об идее которой я докладывал на ученом совете прошлым летом, действительно смогла развиваться... и развилась до стадии, на которой попыталась создать человека. Меня. Ну, и, как водится, первый блин комом...

— Да, но почему я ничего об этом не знал?! — вне себя спросил Азаров, вспомнив о позавчерашнем унизительном разговоре со следователем и о прочих переживаниях этих дней. — Почему?

Кривошеина охватило бешенство.

— Черт побери! — Он яростно подался вперед, стукнул кулаком по мягкому валику кресла. — А почему вы не спросите, как мы это сделали? Как нам удалось такое? Почему вас в первую очередь занимает личный престиж, субординация, отношение других к вашему директорскому «я»?

Сообщение Кривошеина сначала дошло до Азарова в самом общем виде: получен некий результат. Мало ли о каких результатах сообщали ему заведующие отделами и лабораториями, сидя вот так же напротив в кожаном кресле! И только с изрядной задержкой Аркадий Аркадьевич начал постигать, *какой* это результат. Мир попутн

ся и на минуту стал переальным. «Не может быть! Да нет, в том-то и дело, что может... Тогда все сходится и становится объяснимым».

Академик заговорил другим тоном.

— Безусловно, это... это грандиозно. Приношу свои поздравления, Валентин Васильевич. И... извинения. Я погорячился, вышло неловко. Тысяча извинений! Это действительно очень большое... э-э... изобретение, хотя идея о передаче и синтезе информации, заложенной в человеке, высказывались еще покойным Норбертом Винером. (Кривошеин усмехнулся.) Впрочем, это, разумеется, не умаляет... Я помню вашу идею, видел позавчера в лаборатории некоторые... э-э... результаты работы. Поскольку я сам в определенной мере причастен к системологии (Кривошеин снова усмехнулся), то, следовательно, достаточно подготовлен, чтобы принять то, что вы сказали. Разумеется, я от души поздравляю вас! Но согласитесь, Валентин Васильевич, что это счастливое для науки событие могло бы носить менее озадачивающий и даже в известной мере скандальный характер, если бы вы в течение последнего года работы держали меня в курсе дела.

— К вам трудно попасть на прием, Аркадий Аркадьевич.

— Гм... позвольте все же не считать ваш довод основательным, Валентин Васильевич! — Азаров нахмурил брови. — Я допускаю, что вас ущажает процедура приема (хотя все сотрудники института проходят через нее, да и мне самому приходится подвергаться ей в различных инстанциях). Но вы могли мне позвонить, оставить записку (не обязательно докладную по установленной форме), посетить меня на квартире, наконец!

Аркадий Аркадьевич все-таки не мог подавить в себе оскорблённости. «Вот так... работаешь, работаешь!» — вертелось у него в голове. С давней поры, с тех времен, когда его неудачный опыт с гелием в руках другого исследователя обернулся открытием сверхтекущести, Аркадий Аркадьевич таил в себе надежду увидеть, найти и понять новое в природе, в мире. Он мечтал об открытии сладостно и боязливо, как мальчишка о потере невинности. Но не везло. Другим везло, а ему нет! Была квалифицированная, нужная, отмеченная многими премиями и званиями работа, но не было открытия — вершины познания.

И вот во вверенном ему институте сделалось без него

и прошло мимо него огромное открытие, по сравнению с которым и его деятельность, и деятельность всего института кажется пигмейской! Обошлись без него. Более того: похоже, что его избегали. «Как же так? Что он — считал меня непорядочным человеком? Чем я дал повод так думать о себе?» Давно академику Азарову не приходилось испытывать таких сильных чувств, как сейчас.

— М-да... Разделяя вашу радость по поводу открытия, Валентин Васильевич, — продолжал академик, — я тем не менее озадачен и огорчен таким отношением. Возможно, это шокирующее звучит, но меня этот вопрос занимает не как ученого и не как вашего директора, а как человека: почему же так? Ведь вы не могли не понимать, что моя осведомленность о вашей работе не повредила бы, а только помогла бы вам: вы были бы обеспечены надежным руководством, консультациями. Если бы я счел, что требуется усилить вашу тему работниками или снабжением, то было бы сделано и это. Так почему же, Валентин Васильевич? Я, конечно, не допускаю мысли, что вы опасались за свои авторские права...

— И тем не менее не удержались, чтобы не высказать такую мысль, — грустно усмехнулся Кривошеин. — Ну ладно. В общем-то хорошо, что вас данный факт занимает прежде всего как человека, это обнадеживает... Одно время мы колебались, рассказать вам о работе или нет, пытались встретиться с вами. Контакт не получился. А потом рассудили, что пока, на этапе поиска, так будет лучше. — Он поднял голову, посмотрел на Азарова. — Мы не очень верили в вас, Аркадий Аркадьевич. Почему? Да хотя бы потому, что вот и сейчас вы перво-наперво попытались, не узнав сути дела, поставить открытие и его авторов на место: Винер высказывал... Да при чем здесь винеровская «телевизионная» идея — у нас все по-другому! Какие уж тут были бы консультации: вам, академику, да показать свое незнание перед подчиненными инженерами... И еще потому, что вы, прекрасно понимая, что ценность исследователя не определяется ни его степенью, ни званием, тем не менее никогда не отваживались ущемить «остепененных», их неотъемлемые «права» на руководство, на вакансию, на непогрешимость суждений. Думаете, я не знал с самого начала, какая роль мне была отведена в создании новой лаборатории? Думаете, не повлияло на этот последний опыт выше предупреждение мне после скандала с Хилобоком? Повлияло. Поэтому и с работой спе-

шил, на риск шел... Думаете, не влияет на отношение к вам то обстоятельство, что в нашем институте заказы для выставок и различных показух всегда оттесняют то, что необходимо для исследований?

— Простите, но это уж мелко, Валентин Васильевич! — раздраженно поморщился Азаров.

— И по такой мелочи приходилось судить о вас, другого-то не было. Или по той «мелочи», что такая... такой... ну, словом, Хилобок благодаря вашему попустительству или поддержке, как угодно, задает тон в институте. Конечно, рядом с Гарри Хилобоком можно чувствовать свое интеллектуальное превосходство даже в бане!

В лицо Азарову бросилась краска: одно дело, когда что-то понимаешь ты сам, другое дело, когда об этом тебе говорят подчиненные. Кривошеин заметил, что перехватил, умерил тон.

— Поймите меня правильно, Аркадий Аркадьевич. Мы хотели бы, чтобы вы участвовали в нашей работе — именно поэтому, а не в обиду вам я и говорю все на чистоту. Мы многое еще не понимаем в этом открытии: человек — сложная система, а машина, делающая его, еще сложнее. Здесь хватит дел для тысячи исследователей. И это наша мечта — окружить работу умными, знающими, талантливыми людьми... Но, понимаете, в этой работе мало быть просто ученым.

— Хочу надеяться, что вы все-таки более подробно ознакомите меня с содержанием вашей работы. — Азаров постепенно овладевал собой, к нему вернулось чувство юмора и превосходства. — Возможно, что я вам все-таки пригожусь — и как ученый и как человек.

— Дай-то бог! Познакомим, вероятно... не я один это решую, но познакомим. Вы нам нужны.

— Валентин Васильевич, — академик поднял плечи, — простите, не намереваетесь ли вы решать вопрос, допускать или не допускать меня к вашей работе, совместно с вашим практикантом-лаборантом?! Насколько я знаю, больше никого в вашей лаборатории нет.

— Да, и с ним... О господи! — Кривошеин выразительно вздохнул. — Вы готовы принять, что машина может делать человека, но допустить, что в этом деле лаборант может значить больше вас... выше ваших сил! Между прочим, Михаил Фарадей тоже был лаборантом, а вот у кого он служил лаборантом, сейчас уже никто не помнит... Все-таки подготовьте себя к тому, Аркадий Аркадьевич, что

когда вы приедете в нашу работу — а я надеюсь, что вы приедете! — то не будет этого академического «вы наши отцы, мы ваши дети». Будем работать — и все. Никто из нас не гений, но никто и не Хилобок...

Он взглянул на Азарова — и осекся, пораженный: академик улыбался! Улыбался не так фотогенично, как фотокорреспондентам, и не так тонко, как при хорошо рассчитанной на успех слушателей реплике на ученом совете или на семинаре, а просто и широко. Это выглядело не весьма красиво от обилия возникших на лице Аркадия Аркадьевича морщин, но очень мило.

— Послушайте, — сказал Азаров, — вы устроили мне такую встрепку, что я... ну да ладно *. Я ужасно рад, что вы живы!

— Я тоже, — только и нашелся сказать Кривошеин.

— А как теперь быть с милицией?

— Думаю, что мне удастся и их... ну, если не обрадовать, то хотя бы успокоить.

Кривошеин простился и ушел. Аркадий Аркадьевич долго сидел, барабанил по стеклу стола пальцами.

— Ну-да... — сказал он.

И больше ничего не сказал.

«Что еще нужно учесть? — припоминал Кривошеин, шагая к остановке троллейбуса. — Ага, вот это!»

«...30 мая. Интересно все-таки прикинуть: я шел на обычной прогулочной скорости — 60 километров в час; этот идиот в салатном «Москвиче» пересекал автостраду — значит, его скорость относительно шоссе равна нулю. Да и поперечная скорость «Москвича», надо сказать, мало отличалась от нуля, будто на тракторе ехал... Кто таких ослов пускает за руль? Если уж пересекаешь шоссе с нарушением правил, то хоть делай это быстро! А он... то рванется на метр, то затормозит. Когда я понял, что «Москвич» меня не пропускает, то не успел даже нажать тормоз.

...Кравец Виктор, который ездил на 18-й километр за останками мотоцикла, до сих пор крутит головой:

* Читателя просят помнить, что перед ним научно-фантастическое произведение. (Прим. автора.)

— Счастливо отделался, просто на удивление! Если бы ты шел на семидесяти, то из останков «явы» я сейчас бы сооружал памятник, а на номерном знаке, глотая слезы, выводил: «Здесь лежит Кривошеин — инженер и мотоцилист».

Да, но если бы я шел на семидесяти, то не врезался бы!

Интересно, как произвольные обстоятельства фокусируются в фатальный инцидент. Не остановись я в лесу покурить, послушать кукушку («Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?» — она накуковала лет пятьдесят), пройди я один-два поворота с чуть большей или чуть меньшей скоростью — и мы разминулись бы, умчались по своим делам. А так — на ровной дороге при отличной видимости — я врезался в единственную машину, что оказалась на моем пути!

Единственно, что я успел подумать, перелетая через мотоцикл: «Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?»

Поднялся я сам. У «Москвича» был выгнут салатный бок. Перепуганный водитель утикал кровь с небритой физиономии: я выбил локтем стекло кабины — так ему и надо, болвану! Моя бедная «ява» валялась на асфальте. Она сразу стала как-то короче. Фара, переднее колесо, вилка, трубка рамы, бак — все было разбито, сплюснуто, исковеркано.

...Итак, начальную скорость 17 метров в секунду я погасил на отрезке пути менее метра. При этом мое тело испытalo перегрузку... 15 земных ускорений! Ого!

Нет, какая все же отличная машина — человек! Мое тело меньше чем за десятую долю секунды успело извернуться и собраться так, чтобы встретить удар выгоднейшим образом: локтем и плечом. А Валерка доказывал, что человек не соответствует технике. Это еще не факт! Ведь если перевести на человеческие термины повреждения мотоцикла, то у него раздроблена «голова», переломаны «передние копечности», «грудная клетка» и «позвоночный столб». Хорошая была машина, сама на скорость просилась...

Правда, мое правое плечо и грудь испытали, видимо, большую перегрузку. Правую руку трудно поднять. Наверно, треснули ребра.

Ну вот, все одно к одному. Теперь есть что исправлять в жидкой схеме «машины-матки» — и не внешнее, а внутри тела. В этом смысле «Москвич» подвернулся кстати. Сработает на науку...»

Глава пятая

— Выпишите пропуск на вынос трупа.
— А где же труп?
— Сейчас будет. (Стреляется.)
— Привет! А кто же будет выносить?

Из сингапурской легенды

Милиционер Гаевой сидел в дежурке и, изнемогая от чувств, писал письмо на бумаге для объяснений. «Здравствуйте, Валя! Это пишет вам Гаевой Александр. Не знаю, помните вы меня или не совсем, а я так не могу позабыть, как Вы смотрели на меня около танцплощадки при помощи ваших черных и красивых глаз, а луна была большая и концентрическая. Дорогая Валя! Приходите завтра вечером в парк имени тов. Т. Шевченко, я там дежурю до 24.00...»

Вошел Онисимов, брови у него были строго сведены. Гаевой вскочил, загрохотав стулом, покраснел.

— Подследственный Кравец доставлен?

— Так точно, товарищ капитан! Доставлен в поддесято согласно вашему распоряжению, находится в камере задержаний.

— Проводите.

Виктор Кравец сидел в маленькой комнате с высоким потолком на скамье со спинкой, курил сигарету, пускал дым в пучок солнечного света от зарешеченного окна. Щеки его были в трехдневной щетине. Он скосил глаза в сторону вошедших, но не повернулся.

— Надо бы вам встать, как положено, — укоризненно заметил Гаевой.

— А я себя арестантом не считаю!

— Да вы и не арестант, гражданин Кравец. Виктор Витальевич, — спокойно сказал Онисимов. — Вы были задержаны для выяснения. Теперь ситуация вырисовывается, и я не считаю необходимостью ваше дальнейшее пребывание под стражей. Понадобитесь — вызовем. Так что вы свободны.

Кравец встал, недоверчиво глядя на следователя. Тот, в свою очередь, окинул его скептическим взглядом. Узкие губы Онисимова дернулись в короткой усмешке.

— Прямой лоб, четкий подбородок, правильной формы нос... одним словом, темные локоны обрамляли его красивую круглую арбузообразную голову. У Кривошеина-

оригинала были довольно провинциальные представления о мужской красоте. Впрочем, оно и понятно. (У Кравца расширились глаза.) А где мотоцикл?

— К-какой мотоцикл?

— «Ява», номерной знак 21-11 ДНА. В ремонте?

— В... в сарае.

— Понятно. Между прочим, телеграмму, — глаза Онисимова зло сузились, — телеграмму до опыта следовало давать! До, а не после!

Кравец стоял ни жив ни мертв.

— Ладно. Документы вам вернем несколько позже, — продолжал следователь официальным голосом. — Всего вам хорошего, гражданин Кравец. Не забывайте нас. Приводите его, товарищ Гаевой.

Матвей Аполлонович после плохо проведенной ночи пришел на работу с головной болью. Сейчас он сидел за столом в своей комнате, составлял план действий на сегодня. «1. Отправить жидкость на дополнительную экспертизу на предмет обнаружения нерастворившихся остатков тканей человеческого тела. 2. Связаться с органами госбезопасности (через Алексея Игнатьевича). 3...»

— Разрешите войти? — мягко произнес голос, от которого у Онисимова прордал мороз по коже. — Доброе утро.

В дверях стоял Кривошеин.

— Меня верно направил дежурный? Вы и есть следователь Онисимов, который занимается происшествием в моей лаборатории? Очень приятно, разрешите? — Он сел на стул, вытащил платок, отер блестевшее от пота лицо. — Утро, а уже такая жара, скажите на милость!

Следователь сидел в оцепенении.

— Стало быть, я — Кривошеин Валентин Васильевич, заведующий лабораторией новых систем в Институте системологии, — невозмутимо объяснил посетитель. — Мне, понимаете ли, только сегодня дали знать, что вы... что органы милиции интересуются этим досадным происшествием, и я сразу же поспешил сюда. Я бы, разумеется, еще вчера или даже позавчера представил вам исчернивающие объяснения, но... (пожатие плеч) мне и в голову не приходило, что вокруг одного неудачного опыта разгорится этакий, простите, сыр-бор с привлечением милиции! Вот я и отлеживался в квартире, будучи после экспе-

римента несколько не в себе. Видите ли, товарищ Онисимов... простите, как вас зовут?

— Аполлон Матве... то есть Матвей Аполлонович, — сиплым голосом молвил Онисимов и прокашлялся.

— Видите ли, Матвей Аполлонович, получилось так: в процессе эксперимента мне пришлось погрузиться в бак с биологической информационной средой. К сожалению, бак был укреплен непрочно и опрокинулся. Я упал вместе с ним, ударился головой о пол, потерял сознание. Боюсь, что бак при падении задел и моего лаборанта — он, помнится, в последний миг пытался удержать... Я пришел в себя под kleenкой на полу. Услышал, что в лаборатории разговаривают люди... — Кривошеин очаровательно улыбнулся. — Согласитесь, Матвей Аполлонович, мне было бы крайне неловко в своей лаборатории представить перед посторонними в таком, мягко говоря, шокирующем виде — голым, с разбитой головой. К тому же эта жидкость... она, знаете, щиплется злее мыльной пены! Поэтому я потихоньку выбрался из-под kleenки, юркнул, проштите, в душевую — обмыться, переодеться... Должен признаться, что в голове у меня гудело, мысли путались. Я вряд ли даже отдавал себе отчет в своих действиях. Не помню, сколь долго я находился в душевой, — помню лишь, что, когда я вышел из нее, в лаборатории никого не было. И я ушел к себе домой — отлеживаться... Вот в общих чертах все. Если угодно, я могу дать вам письменное объяснение, и покончим с этим.

— Так, понятно... — Онисимов постепенно овладевал собой. — А какими же такими опытами вы занимались в лаборатории?

— Видите ли... я веду исследования по биохимии высших соединений в системологическом аспекте с привлечением полиморфного антропологии, — безмятежно взвел брови Кривошеин. — Или по системологии высших систем в биохимическом аспекте с привлечением антропологического полиморфизма, как вам будет угодно.

— Понятно... А скелет откуда взялся? — Матвей Аполлонович покосился на ящик, который стоял на краю его стола. «Ну, погоди!»

— Скелет? Ах да, скелет! — Кривошеин улыбнулся. — Видите ли, этот скелет мы держим в лаборатории в качестве, так сказать, учебно-наглядного пособия. Он всегда лежит в том же углу, куда положили меня, пока я был без сознания...

— А что вы на это скажете?! — И Матвей Аполлонович быстрым движением снял ящик, под которым стоял слепок головы Кривошеина. Светло-серые пластилиновые бельма в упор смотрели на посетителя — у того мгновенно посерело и обмякло лицо. — Узнаете?

Аспирант Кривошеин опустил голову. Только теперь он окончательно убедился в том, о чем догадывался, но с чем до последнего момента не хотел смирииться: Валька погиб во время эксперимента...

— Не сходятся у вас концы с концами, гражданин... не знаю, как вас и кто вы! — Онисимов, тщетно сдерживая ликовение, откинулся на стуле. — Вы вчера меня это... мистифицировали, но сегодня не выйдет! Вот сейчас я вам устрою очную ставочку с вашим сообщником Кравцом, что вы тогда мне покажете!

Он потянулся к телефону. Но Кривошеин тяжело положил руку на трубку.

— Да вы что, позвольте... — воинственно вскинул голову Онисимов — и осекся: напротив него сидел... он сам. Широкоскулое лицо с узкими губами и острым подбородком, тонкий нос, морщины вокруг рта и у маленьких, близко посаженных глаз. Только теперь Матвей Аполлонович обратил внимание на синий, как у него самого, kostюм собеседника, на рубашку с выпитым украинскими узорами воротником.

— Не дурите, Онисимов! Это будет не та ставка — вы просто поставите себя в неловкое положение. Не далее как двадцать минут назад следователь Онисимов отпустил на свободу подследственного Кравца из-за отсутствия улик.

— Так, значит... — Онисимов завороженно смотрел, как лицо Кривошеина расслабилось и постепенно приобретало прежние очертания; от щек отливалась кровь. У него перехватило дыхание. Во многих переделках приходилось бывать Матвею Аполлоновичу за время работы в милиции: и он стрелял, и в него стреляли, — но никогда ему не было так страшно, как сейчас. — Так вы... это вы?!

— Именно: я — это я, — Кривошеин поднялся, подошел вплотную к столу. Онисимов поежился под его злым взглядом. — Послушайте, кончайте вы эту возню! Все живы, все на местах — что вам еще надо? Никакими слепками, никакими скелетами вы не докажете, что Кривошеин умер. Вот он, Кривошеин, стоит перед ва-

ми! Ничего не случилось, понимаете? Просто работа такая.

— Но... как же так? — пролепетал Матвей Аполлонович. — Может, вы все-таки объясните?

Кривошеин досадливо скривился.

— Ах, Матвей Аполлонович, ну что я вам объясню! Вы всю технику сыска применяли: телевидеофоны, дактилоскопию, химические анализы, восстановление облика по Герасимову — и все равно... даже такую личность, как Хилобок, не смогли раскусить. Тут уж, как говорится, все ясно. Преступления не было, за это можете быть спокойны.

— Но ведь... с меня спросят. Мне ведь отчитываться по делу, отвечать... Как же теперь?

— Вот это деловой разговор. — Кривошеин снова уселся на стул. — Сейчас объясню как. Запоминайте относительно сходства скелета со мной. Этот скелет — семейная реликвия. Мой дед со стороны матери, Андрей Степанович Котляр, известный в свое время биолог, завещал не хоронить его, а препарировать и передать скелет тем потомкам, которые пойдут по научной линии. Причуда старого ученого, понимаете? И еще: на скелете вы, видимо, обнаружили переломы ребер с правой стороны, что, понятное дело, вызывает сомнения... Так вот: дед погиб в дорожной катастрофе. Старик обожал гонять на мотоцикле с недозволенной скоростью. Теперь понятно?

— Понятно, — быстро кивнул Онисимов.

— Так-то оно лучше. Я надеюсь, что эта... семейная реликвия по закрытии дела будет возвращена ее владельцу. Равно как и прочие «улики», взятые из лаборатории. Придет время, Матвей Аполлонович, — голос Кривошеина зазвучал задумчиво, — придет время, когда эта голова будет красоваться не у вас на столе — на памятнике... Ну, мне пора. Надеюсь, я вам все объяснил. Возвратите мне, будьте добры, документы Кравца. Благодарю вас. Да, еще: старшина, коего вы любезно поставили охранять лабораторию, просит смены. Отпустите его, пожалуйста, сами... Всего доброго!

Кривошеин сунул документы в карман, направился к двери. Но по дороге его осенила мысль.

— Послушайте, Матвей Аполлонович, — сказал он, вернувшись к столу, — не обижайтесь, ради бога, на то, что я вам предложу, но не хотите ли поумнеть? Станете

соображать быстро, мыслить широко и глубоко. Будете видеть не только улики, но вникать в суть вещей и явлений, понимать саму душу человеческую! И станут вашу голову посещать замечательные идеи — такие, что щеки будут холodеть от восторга перед ними... Понимаете, жизнь сложна, а дальше будет еще сложнее. Единственный способ оказаться в ней на высоте человеческого положения — это разбираться во всем. Другого пути нет... И это возможно, Матвей Аполлонович! Хотите? Могу устроить.

Лицо Онисимова дернулось от обиды, стало наливаться кровью.

— Насмехаетесь... — тяжело выговорил он. — Мало вам того, что вы... так еще и насмехаетесь. Идите себе, гражданин!

Кривошеин пожал плечами, повернулся к двери.

— Постойте!

— Что еще?

— Погодите минуту, гражданин... Кривошеин. Ну ладно: я не понимаю. Может, у вас действительно наука такая... И версию вашу я принимаю — ничего мне другого не остается. Можете думать обо мне как хотите, выше дело... — Матвей Аполлонович никак не мог справляться с обидой. Кривошеин морщился: зачем он это говорит? — Но если без версий: ведь человек погиб! Кто-то же виноват?

Аспирант внимательно взглянул на него.

— Все понемногу, Матвей Аполлонович. И он сам, и я, и Азаров, и другие... и даже вы чуть-чуть, хоть вы его никогда не знали: например, тем, что, не разобравшись, профессионально подозревали людей. А криминально, чтоб по уголовному кодексу, — никто. Так тоже бывает.

— Кажется, и с этим вопросом все, — облегченно сказал себе аспирант, садясь в троллейбус.

«Завтра опыт. Собственно, даже не завтра — сегодня ночью, через семь-восемь часов. Перед серьезным делом мне всегда не хочется спать, а высматриваться надо. Поэтому я ходил и ездил сегодня по городу часа четыре, чтобы устать и отвлечься.

Где я только не побывал: в центре, на окраинах, в

парках, около автовокзала — рассматривал людей, дома, деревья, животных. Принимал парад Жизни.

...Проковылял по жаре навстречу мне иссохший старик с желтыми от времени усами и красным морщинистым лицом. На серой сатиновой рубашке болтались, позываясь на ходу три Георгиевских креста и медаль на полосатых бантах. Старик остановился в короткой тени липы перевести дух.

Да, дед, и мы когда-то были! Много ты жил-пережил, а, видать, еще хочешь: ишь вышел покрасоваться — георгиевский кавалер! Налить бы тебе силой мышцы, прояснить хрусталики глаз, очистить от склероза и маразма мозг, освежить нервы — ты бы показал кузькину мать нам, молодым из века спутников!

...Плетутся мальчишки, обсуждая кино.

— А он в него — тррах! — из атомного пистолета!

— А они: та-та-та... тах-тах!

— Почему из атомного?

— А из какого еще? На Венере — и обыкновенный пистолет?!

...Кошка смотрит на меня тревожными глазами. Почему у кошек такие тревожные глаза? Они что-то знают? Знают, да не скажут... «Брысь, треклятая!» — сгинула в подворотне.

...Осанисто пропагал навстречу парень с низким лбом под серым ежиком: брюки обрисовывают сильные икры и бедра, тенниску распирает развитая грудь. И по лицу парня понятно, что он на все проблемы жизни может ответить прямым справа в челюсть либо броском через голову.

А вот мы всем сработаем такие мышцы, всем введем информацию насчет бокса и самбо — как тогда будет начерт прямого правой?

...В парке Шевченко мимо меня прошли, держась за руки и никого не замечая, парень и девушка.

Вам нет нужды в нашем открытии, влюбленные. Вы хороши друг для друга и так. Ни пуха ни пера вам! Но... всяко бывает в жизни. И вашу любовь подстерегают опасности: быт, непонимание, благоразумие, родственники, пресыщение — да мало ли! Одолеете сами — честь и хвала вам. А нет — наведайтесь: отремонтируем вашу любовь, починим лучше телевизора. Как новенькая будет — ну, как в тот день, когда вы впервые увидели друг друга в очереди к кассе кинотеатра.

...А какая дама встретилась мне около универмага на

проспекте! Сверхпышное тело втиснуто в парчовое платье, золотая брошь, ожерелье из поддельного янтаря, пятна пота около подмышек и на спине величиной с тарелки! Голубая парча переливается на ходу всеми оттенками штормового моря.

Фи, мадам! Разве можно в такую жару втискиваться в парчу, это ведь не Георгиевские кресты! Вас, видимо, не любят муж, мадам, да? Он с ужасом смотрит на ваши руки толщиной с его ногу, на этот жировой горб на спине... Вы несчастны, мадам, мне вас не жаль, но я понимаю. Муж не любит, дети не ценят, врачи не сочувствуют, а соседи... о, эти соседи! Ладно, мадам, придумаем что-нибудь и для вас. В конце концов и вы имеете право на дополнительную порцию счастья в порядке живой очереди. Но, кстати, о счастье, мадам: ваш вкус настораживает. Нет, нет, я понимаю: вы влезли в эту неудобную парчу, нацепили серьги, золотую брошь и ожерелье, которое вам не идет, унизали пальцы толстыми кольцами, чтобы доказать что вы не хуже других, что у вас все есть... Но, простите меня, мадам, ни черта у вас нет. И, как хотите, придется исправлять вам не только тело, но и вкус, а заодно и ум и чувства. За те же деньги, мадам, не пугайтесь. А иначе не расчет, мадам: растрясете вы вновь обретенную красоту и свежесть по ресторанам и вечеринкам, разменяете на любовников... стоит ли стараться? Истиная красота, мадам, — это гармония тела, ума и духа.

Две красивые девушки прошли и не взглянули на меня. Что им на меня глядеть! Небо чистое. Солнце высоко. Экзамены позади. И этим троллейбусом можно доехать до пляжа.

...Пацан, которого не пустили гулять, приплюснул нос к оконному стеклу. Поймал мой взгляд, скрочил рожу. Я тоже скрочил ему рожу. Тогда он устроил целую пантомиму...

Я люблю жизнь, я очень люблю жизнь! Не надо мне лучше, пусть будет какая есть, только бы... Что только бы? Что? Ух ты!..

Вот то-то и есть, что надо лучше. Очень многое неладно в мире.

И я пойду. Я не продал, люди. Многое можно будет этим способом сделать: прибавить людям красоты и ума, ввести в них новые способности, даже новые свойства. Скажем, сделать так, что человек станет обладать радиочувствием, будет видеть в темноте, слышать ультразвуки,

ощущать магнитное поле, испускать радиосигналы, отсчитывать без хронометра время с точностью долей секунды и даже угадывать мысли на расстоянии — хотите? Впрочем, все это, наверно, не главное.

А главное то, что я пойду. И еще кто-то пойдет, если выйдет не так. И еще... Вот так оно все и будет!»

— Никто не погиб, какого черта! — трясясь в троллейбусе, шептал аспирант Кривошеин непослушными губами. — Никто не умер...

«...Я иду, Жизнь! Спасибо тебе, судьба, или как там тебя, за все, что было со мной. Страшно подумать, что я мог остановиться на малом и остаться стригущим купоны заурядом! Пусть и дальше будет в моей жизни и тяжелое, и страшное, и передряги, и страдания — только пусть не будет в ней мелкости. Пусть никогда я не унижусь до драки за благополучие, за успех, до дрожи за свою шкуру в серьезном деле!

Время к ночи, а спать все не хочется и не хочется. Глупое это занятие: спать. От него, наверно, тоже можно избавиться. Говорят, в Югославии есть один чудак, который не спит уже лет тридцать — и свеж.

«Полночь в Мадриде. Спите спокойно! Уважайте короля и королеву! И пусть дьявол никогда не встает на вашем пути...» В те времена меня бы на костер — и все!

Не спите спокойно, люди! Не уважайте ни короля, ни королеву! И пусть дьявол встает на вашем пути — ничего страшного.

Б юном возрасте я мечтал (о чем я только не мечтал!), когда придется идти на серьезное, рискованное дело, поговорить напоследок с отцом. Не было у меня серьезных дел, не дождался батя. Что ж, попробуем сейчас.

— Ну вот, батя, завтра мне стоять на бруствере. Страшно было стоять-то?

— Да как тебе сказать? Страшновато, конечно... До немецких окопов метров четыреста, мишень я видная. Братание еще не вошло в полную силу, постреливали. Пару раз и по мне стрельнули — у немцев тоже народ был всякий. Но не попали. Может, только испугать хотели...

— А что это за мера такая странная: стоять на бруствере?

— Временное правительство ввело. Специально для тех, кто агитировал кончать империалистическую войну. «Ах, они тебе братья-рабочие и братья-крестьяне?! Посмотрим, как они по тебе будут пулять». И — на два часа. А иных и на четыре.

— Остроумно, ничего не скажешь... (Батя, а ты знал..., что я не верил тебе?)

— Знал, сынок... Ничего. Время было такое дурное. Я сам себе не всегда верил... А ты что затеял-то?

— Опыт по управлению информацией в своем организме. В конечном счете должен получиться способ анализа и синтеза человеком своего организма, психики, памяти... понимаешь?

— Вечно ты, Валька, мудрено говоришь. Не усваиваю я вашу науку. Когда-то пулемет с завязанными глазами собирал и разбирал. А это не улавливаю... что это даст?

— Ну... вот ты воевал за всеобщее равенство, верно? Первая стадия этого замысла выполняется: устраивается неравенство между богатым и бедным, между сильным и слабым. Общество предоставляет теперь равные возможности для всех. Но, помимо неравенства, заложенного в обществе, есть неравенство, заложенное в самих людях. Бездарный человек не равен талантливому. Некрасивый не равен красивому. Больной и калека не равны здоровому... А если с этим способом выйдет, каждый человек сможет сделать себя таким, каким захочет: умным, красивым, молодым, честным...

— Молодым, умным, красивым — это ясно. Все захотят. А вот честным — тяжело. Это труднее всего — быть честным.

— Но если человек точно знает: эта информация приведет ему подлости и изворотливости, а эта — честности и прямоты, не станет же он колебаться, что выбрать?!

— Да как сказать... Есть люди, которым важно казаться перед другими честными, а там можно хоть воровать — лишь бы не попадаться. Такие выберут изворотливость.

— Знаю... Не надо о них сейчас, батя. Завтра опыт.

— И непременно тебе идти? Смотри, сынок...

— А кому же еще, как не мне! Скажи, ты мог бы спрыгнуть с бруствера в окон?

— Внизу два офицера стерегли. Сразу кончили бы.

— А упросить их нельзя было?

— Отчего же? Сказать, что не буду больше агитировать, что выхожу из большевиков, за милую душу отпустили бы.

— Почему же ты не сказал?

— Чтоб я — им? И не думал я об этом. О другом думал: если меня подстрелят — братанию на нашем участке конец.

— А почему ты об этом думал? Так уж очень любил людей, да? Но ведь ты и убивал людей — и до этого и после.

— И я убивал, и меня убивали — время было такое.

— Так почему?

— Гордый был, наверно, поэтому. Очень я был гордый тогда. Думал, что стою против всей войны.

— Вот и я, батя, теперь такой гордый.

— Конечно, попал на бруствер — стоять надо гордо. Это верно. Только ты свое дело с тем бруствером не равняй, сынок. Я ведь двух часов не достоял: солдатский комитет поднял батальон по тревоге, офицериков кончили — и все... А у тебя есть кого поднимать по тревоге?

На этот вопрос мне ничего ответить — и выдуманный разговор кончается.

Ну, хватит — спать! Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?»

Глава шестая

— Там прибыли с Земли, ваше совершенство.
— С Зем-ли?.. Зем-ля, Земля, гм...

— Это та самая планета, на которой сочинена «Летучая мышь», ваше совершенство.

— А! Тръям-тири-тири, тръям-тири-рири, тръям-пам-пам-пам! Прелестная вешица. Ну, примите их по третьему разряду.

Разговор во Вселенной

Аспирант Кривошеин поднялся на пятый этаж, вошел в квартиру. Виктор Кравец и дубль Адам курили на балконе; заметив его, вернулись в комнату. Кривошеин невесело оглядел их.

— Троек из одного стручка. А было четверо... — он посмотрел на часы: время еще есть, сел. — Расскажи, Кравец Виктор, что там у вас получилось?

Тот закурил новую сигарету, начал рассказывать глухим голосом.

...Программа опыта была такая: погрузиться в жидкость по шею — проконтролировать ощущения — падеть «шапку Мономаха» — снова проконтролировать ощущения — дать «команду неудовлетворенности» («Не то») — войти во взаимопроникающий контакт с жидккой схемой — достигнуть стадии управляемой прозрачности — срастить поломанные ребра — использовать этот «импульс удовлетворенности» для команды «То» — восстановить непрозрачность — выйти из контакта с жидккой схемой — покинуть бак.

Вся эта методика была не один десяток раз опробована и отработана Кривошеиным и Кравцом на погружении конечностей. Взаимное проникновение жидкости и тела можно было легко контролировать и регулировать.

— Понимаете, ребята, оказывается, внутри нашего тела всегда есть какие-то менее здоровые места, мелкие неисправности, что ли, ну, все равно как на коже, даже на здоровой, кое-где бывают прыщики, царапины, натертости, местные воспаления. Я не знаю, какого рода внутренние «царапины», только после работы в жидкости всегда ощущаешь свою руку или ногу более здоровой и сильной. Жидкая схема исправляет эти мелкие изъяны. И каждое такое исправление можно узнать: зудение в этом месте сначала усиливается, потом резко ослабевает. И если после такого ослабления дать «команду удовлетворенности» («То»), машина выводит жидкую схему из контакта с телом, рука или нога становится непрозрачной... Я это к тому, что по методике входа в контакт и выхода из контакта с жидккой схемой у нас не было никаких вопросов...

— Пока погружали только десять-пятнадцать процентов тела, — вставил Кривошеин.

— Да... В том, что человеческое тело в жидкости на стадии управляемой прозрачности сохраняет упругость мышц, у нас тоже не было сомнений. Сколько раз мы устраивали «борьбу» в жидкости: его рука (прозрачная) с моей непрозрачной, либо правая на левую, когда обе прозрачные. То есть жидккая схема полностью поддерживает жизнеспособность тела...

— Части тела, — снова придирчиво поправил Кривошеин.

— Да. Возможно, в этом все и дело, — вздохнул Кравец.

...Конечно, было страшно. Одно дело окунуть в жидкость руку или ногу — можно выдернуть, почувствовав опасность. В крайнем случае останешься без руки. И совсем другое — самому погрузиться в бак, отдаваться на волю сложной и, что ни говори, загадочной среды, от которой не отбиться, не убежать.

Они таили друг от друга этот страх. Кривошеин — потому что это был страх за себя. Кравец — чтобы понапрасну не пугать его.

Но все было подготовлено тщательно, на совесть. Отрегулировали уровень жидкости в баке так, чтобы при погружении Кривошеину было как раз по шею и он смог стоять. Напротив бака поставили большое зеркало (пришлось купить на свои, на складе не оказалось): по нему Кривошеин сам мог наблюдать и контролировать изменения в своем теле.

Чтобы до предела уменьшить влияние электромагнитных помех на «шапку Мономаха» и электронные схемы, решили провести опыт ночью, после двух часов, когда вокруг выключены все установки, а трамваи и троллейбусы стоят в депо.

Кривошеин разделся догола, взобрался по лесенке и, держась левой рукой за край (правая у него плохо слушалась после столкновения на мотоцикле), ухнул в бак. Жидкость заколыхалась. Он стоял по шею в ней — голова казалась отделенной от тела. Кравец с «шапкой Мономаха» стоял на стремянке.

Кривошеин облизал губы.

— Соленая... — голос у него стал сиплым.

— Что?

— Жидкость. Как морская вода.

Выждали минуту.

— Кажется, порядок. Ощущений никаких, как и следовало ожидать. Давай «шапку».

Кравец плотно надел на его голову «шапку Мономаха», пощелкал тумблерами на ней, слез вниз. Теперь в его задачу входило наблюдать за Кривошеиным, подавать советы, если они понадобятся, и в случае непредвиденных осложнений помочь ему покинуть бак.

Кривошеин еще минуту осваивался в новом положении.

— Ощущения знакомые: зудения, покалывания, — сказал он. — Никаких откровений. Ну, все... пожелай мне. Начинаю включаться.

— Ну пуха ни пера, Валька...

— К черту! Поехали....

Больше они не разговаривали.

...Тело Кривошеина проявлялось в жидкости, как цветной негатив. Под пурпурными, с прослойками желтого жира мышцами вырисовались белые контуры костей, сухожилий. Ритмично опускались и вздывались ребра, как распорки в кузнецном мехе. На двух ребрах справа Кравец увидел белые вздутия в местах переломов. Лилово-красный кулечек сердца то стискивался, то расслаблялся, проталкивая (уже непонятно во что) алые струи крови.

Кривошеин не сводил глаз со своего отражения в зеркале. Лицо его было бледным и сосредоточенным.

Вскоре мышцы сделались золотисто-желтыми, их можно было отличить от жидкости только по преломлению света.

— И тут... — Кравец крепко потер виски ладонями, затянулся сигаретой, — и тут начались автоколебания. Ну, как тогда, в самом начале, с кроликами: все в Вальке начало менять синхронно размеры, оттенки... Я подскочил к баку: «Валька, что ты делаешь?!» Он смотрел на меня, но ничего не ответил. «Автоколебания! Выключайся!» Он попытался что-то ответить, раскрыл губы и вдруг окунулся в жидкость с головой! Сразу как-то задергался, завертелся, засучил костями... пляшущий скелет с головой в никелированном колпаке!

Он снова жадно затянулся дымом.

— Единственное, что можно было сделать, чтобы спасти его, — это с помощью «шапки Мономаха» командами «То» и «Не то» попасть в ритм автоколебаниям его тела, успокоить их и постепенно направлять на возвращение тела в непрозрачную стадию. Ну, внешнее управление, метод, которым он овеществлял тебя, — Кравец кивнул на Адама, — и меня...

Он помолчал, стиснул челюсти.

— Сволочь Гарри! Вот когда пригодилась бы запасная «шапка» — СЭД-2. Но о какой СЭД-2 могла идти речь после провала его диссертации! В тюрьму его, гада, мало упрятать...

— За невыполнение лабораторного заказа в срок ему вряд ли даже выговор дадут, это ведь не профессору накрутить, — холодно усмехнулся Кривошеин. — А в большем ты обвинить его не сможешь.

— Оставалось последнее: снять «шапку Мономаха» с Вальки, — продолжал Виктор. — Я вскочил на стремянку, опустил руки в жидкость — электрический удар через

обе руки. Судя по впечатлению — вольт на четыреста-пятьсот, в жидкости раньше таких потенциалов никогда не было. Ну, вы знаете сами: в таких случаях руки отдергиваются непроизвольно. Я кинулся к шкафу, надел резиновые перчатки, снова сунулся в бак, но Валька погрузился уже глубоко, длины перчаток не хватило. На этот раз удар был такой силы, что я полетел на пол. Оставалось опрокинуть бак... не мог же я допустить, чтобы он на моих глазах растворился в жидкости, как... как ты, — Кравец посмотрел на Адама. — Ведь я был им, Кривошеиным, когда создавал и растворял тебя... (У Адама напряглось лицо.) К тому же он был еще жив... Лицо тоже растворилось, только «шапка» на черепе, но дергается, значит мышцы действуют... Я ухватился за край бака, стал раскачивать. Края упругие, скользкие, поддаются... наконец, повалил его чуть ли не на себя, успел увернуться — только струя жидкости захлестнула лицо и шею. И от нее я получил третий удар... Дальше не помню, очнулся на носилках.

Он замолчал. Молчали и двое других. Кривошин встал, в раздумье прошелся по комнате.

— Ничего не скажешь, опыт ставили солидно. Во всяком случае, обдуманно. Злодейства нет, фатального случая нет, даже грубого просчета нет... что называется, угробили человека по всем правилам! Если бы ты не опрокинул бак — он растворился бы. И вне бака он тоже растворился, так как пропитавшая его жидкость уже перестала быть организующей жидкостью... Напрасно он остался в «шапке Мономаха», вот что! Включившись в жидкость, он мог управлять собой и без нее...

— Вот как! — вскинул голову Кравец.

— Да. Этот дурацкий колпак вам требовался лишь для того, чтобы включиться в «машину-матку» — и все. Дальше мозг командует нервами непосредственно, а не через провода и схемы... И когда начались неуправляемые автоколебания, эта «шапка» погубила его. Чужеродный предмет в живой жидкости — все равно что пырнуть медведя рогатиной!

— Да, но почему начались автоколебания? — вмешался Адам. Он повернулся к Кравцу. — Скажи, вы этот процесс после кроликов и... меня больше не исследовали?

— Нет. В последних опытах мы не приближались к нему. Все преобразования хорошо управлялись ощущениями, я же говорил. Ума не приложу, как он мог потерять

контроль над собой! Растирался? Вообще-то этот процесс сродни растираний... Но почему растирался?

— Переход количества в качество, — сказал Адам. — Пока вы погружали в жидкость руку или ногу, «очагов неисправности», по которым можно контролировать и управлять проникновением жидкой схемы в тело, было немного. Получалось так, будто разговариваешь с одним-двумя собеседниками. А когда он погрузил все тело... этих очагов в нем, конечно, гораздо больше, чем в части тела, и...

— Вместо приличного разговора получился невнятный галдеж толпы, — добавил аспирант. — И запутался. Очень может быть.

— Послушайте, вы, эксперты-самоучки! — с яростью поглядел на них Кравец. — Всегда, когда что-то получается не так, находится много людей, охочих посудачить: почему не получилось — и тем утвердить себя. «Я ж предвидел! Я ж говорил!» Если случится атомная война, наверно, тоже найдутся люди, которые, прежде чем сгореть, успеют радостно воскликнуть: «Я же говорил, что будет атомная война!» Настолько ли вы уверены, что опыт не вышел именно из-за этих недочетов, чтобы полезть в бак, если недочеты будут устранены?

— Нет, Кравец Виктор, — сказал Кривошин, — не настолько. И никто из нас больше не ползет в бак лишь для того, чтобы доказать свою правоту или хоть неправоту кого-то другого, — не та у нас работа. Лезть, конечно, придется, и не один раз — идея правильная. Но делать это будем с минимальным риском и максимальной пользой... И ты напрасно кипятишься: вы спортачили опыт. Такой опыт! И едва не погубили всю работу и лабораторию. Все было: великие идеи, героические порывы, открытия, раздумья, квалифицированные старания... кроме одного — разумной осторожности! Конечно, может быть, не мне вас упрекать — я сам недалеко ушел, тоже положился на авось в одном серьезном опыте и едва не гробанулся... Но скажи, почему нельзя было вызвать меня из Москвы для участия в этом опыте?

Кравец посмотрел на него иронически.

— Чем бы ты помог? Ты ведь отстал от этой работы. У аспиранта перехватило дух: после всех своих трудов услышать такое!

— Подлец ты, Витя, — произнес он с необыкновенной кротостью. — Прискорбно говорить это информационно близкому человеку, но ты просто сукин сын. Значит, «су-

путь меня в качестве подставного лица в милицию, чтобы самому уйти от уголовной ответственности... на это я горжусь? А в исследователи по данной теме — нет? — Он отвернулся к окну.

— При чем здесь уголовная ответственность? — сконфуженно пробормотал Кравец. — Надо же было как-то спасать работу...

Вдруг он вскочил как ужаленный: от окна к нему подходил Онисимов! Адам тоже вздрогнул, ошеломленно поднял голову.

— Ничего бы вы не спасли, подследственный Кравец, — неприятным голосом сказал Онисимов, — если бы ваш заведующий лабораторией не научился кое-чему в Москве. Сидели бы вы сейчас на скамье подсудимых, гражданин лже-Кравец. Мне доводилось и с меньшими уликами упекать людей за решетку. Понятно?

На этот раз аспирант Кривошеин восстановил свое лицо за десять секунд: сказалась практика.

— Так, значит... это был ты?! Ты меня отпустил? Постой... как ты это делаешь?

— Неужели биология?! — подхватился Адам.

— И биология и системология... — Кривошеин спокойно массировал щеки. — Дело в том, что в отличие от вас я помню, как был «машиной-маткой».

— Расскажи, как ты это делаешь! — не отставал Кравец.

— Расскажу, не волнуйся, всему свое время. Семинар устроим. Теперь мы эти знания будем применять в работе с «машиной-маткой». А вот внедрять их в жизнь придется очень осторожно... — Аспирант посмотрел на часы, повернулся к Адаму и Кравцу. — Пора. Пошли в лабораторию. Устроим разбор вашего опыта на месте.

— Надо же... ох, эти мне учёные! — смеялся и качал головой начальник городделя милиции, когда Матвей Аполлонович доложил ему окончательно выясненные обстоятельства происшествия в Институте системологии. — Значит, пока вы пробы брали да с академиком разговоры вели, «труп» вылез из-под kleenки и пошел помыться?

— Так точно... Он не в себе был после удара головой, товарищ полковник.

— Конечно! И не такое мог угодить. А рядом скелет...

надо же! Вот что значит плохо изучить место происшествия, товарищ Онисимов, — Алексей Игнатьевич наставительно поднял палец. — Не учли специфику. Это ж вам не выезд на шоссе или на утопленника — научная лаборатория! Там у них всегда черт те что наворочено: наука... Понебрежничали, Матвей Аполлонович!

«Рассказать ему все как есть? — в тоске подумал Онисимов. — Нет. Не поверит...»

— А как же врач «Скорой помощи» опростоволосился: живого человека в мертвцы записала? — размышлял вслух полковник. — Ох, чую я, у них с процентом спасаемости тоже дела не блестящи. Поглядела: плох человек, все равно помрет в клинике, так пусть хоть статистику не портит.

— Может, просто ошиблась, Алексей Игнатьевич, — великолепно вступил Онисимов. — Шоковое состояния, глубокий обморок, повреждения на теле. Вот она и...

— Возможно. Жаль, нашего Зубато не было: тот всегда по наличию трупных пятен определяет — без промаха. Да... Конечно, неплохо бы нам на этом деле повысить раскрываемость, очень кстати пришло бы в конце полугодия, да шут с ним, с процентом! Главное: все живы-здоровы, все благополучно. Правда, — он поднял глаза на Онисимова, — есть некоторая неувязка с документами этого Кравца. А?

— Эксперт в них ни подчисток, ни подклеек, ни исправлений не обнаружил, Алексей Игнатьевич. Документы как документы. Может, харьковская милиция что-то напутала?

— Ну, это пускай волнует паспортный стол, а не нас, — махнул рукой полковник. — Преступления человек не совершал — и с этим вопросом все. Но вы-то, вы-то, Матвей Аполлонович, а? — Алексей Игнатьевич, смешливо морща, откинулся на стуле. — В органы предлагали дело передать... хороши бы мы сейчас были перед органами! Не я ли вам говорил: самые запутанные дела на поверку оказываются самыми простыми!

И его маленькие умные глазки под густыми бровями окружили, как лучи, добродушные морщины.

Они шли по полуденному Академгородку: Адам справа, Кривошеин в середине, Кравец слева. Размякший от зноя асфальт подавался под ногами.

— Все-таки теперь мы сможем работать грамотно, — молвил Кривошеин. — Мы немало узнали, многому научились. И вырисовывается ясное направление. Кравец Виктор, тебе Адам рассказал свою идею?

— Рассказал...

— А что это ты как-то так — индифферентно?

— Ну, еще один способ. И что?

Адам нахмурился, но промолчал.

— Нет, почему же! «Машина-матка» вводит информацию в человека прочно и надолго, на всю жизнь, а не на время сеанса. И информация Искусства сможет изменить психику человека, исправить ее — ну, как исправили твою внешность по сравнению со мной! Конечно, это дело серьезное, не в кино сходить. Будем честно предупреждать: человек, после нашей процедуры ты навсегда утратишь способность врать, мельчить, притеснять слабых, подличать, и не только активно, но даже воздержанием от честных поступков. Мы не гарантируем, что после этой процедуры ты будешь счастлив в смысле удовлетворения потребностей и замыслов. Жить станет яснее, но труднее. Но зато ты будешь Человеком!

— Анекдот! — со вкусом сказал Кравец. — Способ вернуть утраченную невинность!

— Это почему же?! — одновременно воскликнули Адам и Кривошеин.

— Потому что, по сути, вы намереваетесь с помощью информации Искусства упростить и жестко запрограммировать людей! Пусть запрограммируют на хорошее: на честность, на самоотверженность, на красивые движения души, но все равно это будет не человек, а робот! Если человек не врет и не кусает других потому, что не знает, как это сделать, в этом его заслуги нет. Поживет, усвоит дополнительную информацию, научится — и будет врать, подличать, дело нехитрое. А вот если он умеет врать, ловчить, притеснять (а все мы это умеем, только не признаемся) и знает, что от применения этих житейских операций ему самому будет легче и благополучнее, но не делает так... и не делает не из боязни попасться, а потому что понимает: от этого жизнь и для него и для всех поганей становится — вот это Человек!

— Сложно сказано, — заметил Кривошеин.

— Да ведь и люди сложны, становятся еще сложнее — и упростить их никак нельзя. Как вы этого не понимаете? Тут ничего не поделаешь. Люди знают, что

подлость в мире есть, и учитывают это в своих мыслях, словах и поступках. Какую бы вы благонамеренную новую информацию в них ни вводили и каким бы способом это ни делали, она только усложняет их. И все!

— Погоди, — хмуро сказал Адам. — Всё не обязательно упрощать людей, чтобы сделать их лучше. Ты прав: человек — не робот, ограничить его жесткой программой благих намерений нельзя. Да и не надо. Но можно при помощи информации Искусства ввести в него четкое понимание: что хорошо — по большому счету хорошо, а не только выгодно — и что плохо.

— Но цели-то, намерения эти самые у него останутся свои, и все будет подчинено им. А заложить цели (даже благие) в человека нельзя — это тот же курс на добродетельного робота. — Кравец поглядел на дублей, усмехнулся. — Боюсь, что голой техникой их не возьмешь... Вам не приходит в голову, что наши поиски «абсолютного способа» происходят не от ума, а от истовой инженерной веры, что наука и техника могут все? Между тем они не все могут, и никуда мы не придем по этому направлению. Я вижу другое ясное направление: из наших исследований со временем возникнет новая наука — Экспериментальное и Теоретическое Человековедение. Большая и нужная наука, но только наука. Область знаний. Она скажет: вот что ты такое, человек. И возникнет Человекотехника... Сейчас это, пожалуй, ужасно звучит — техника синтеза и ввода информации в людей. Она включит в себя все: от медицины до математики и от электроники до искусств — но все равно это будет только техника. Она скажет: вот что ты можешь, человек. Вот как ты сможешь изменять себя. И тогда пусть каждый думает и решает: что же ты хочешь, человек? Что ты хочешь от самого себя?

Слова Виктора произвели впечатление. Некоторое время все трое шли молча — думали. Академгородок остался позади. Издали виднелись парк и здания института, а за ними — огромный испытательный ангар КВ из стекла и стали.

— Ребята, а как теперь будет с Леной? — спросил Адам и посмотрел на Кривошеина. Взглянул на него и Кравец.

— Так и будет, — внушительно сказал тот. — Для нее ничего не случилось, ясно?

Адам и Кравец промолчали.

Они вступили в каштановую аллею. Здесь было больше тени и прохлады.

— «Вот что ты такое, человек. Вот что ты можешь, человек. Что же ты хочешь от себя, человек?» — повторил Кривошеин. — Эффектно сказано! Ввах, как эффектно! Если бы у меня было много денег, я в каждом городе поставил бы обелиск с надписью: «Люди! Бойтесь коротеньких истин — носительниц полуправды! Нет ничего лживее и опаснее коротеньких истин, ибо они приспособлены не к жизни, а к нашим мозгам».

Кравец покосился на него.

— Это ты к чему?

— К тому, что твои недостатки, Витюнчик, есть продолжение твоих же достоинств. Мне кажется, Кривошеин-оригинал с тобой немного перестарался. Лично я никогда не понимал, почему людей с хорошо развитой логикой отождествляют с умными людьми...

— Ты бы все-таки по существу!

— Могу и по существу, Витюня. Ты хорошо начал: человек сложен и свободен, его нельзя упростить и запрограммировать, будет Человековедение и Человекотехника — и пришел к выводу, что наше дело двигать эту науку и технику, а от прочего отрешиться. Пусть люди сами решают. Вывод для нас очень удобный, просто неотразимый. Но давай применим твою теорию к иному предмету. Имеется, например, наука о ядре и ядерная техника. Имеешься ты — исполненный наилучших намерений противник ядерного оружия. Тебе предоставляют полную свободу решить данный вопрос: дают ключи от всех атомхранилищ, все коды и шифры, доступ на все ядерные предприятия — действуй!

Адам негромко рассмеялся.

— Как ты используешь эту блестящую возможность спасти мир? Я знаю как: будешь стоять посреди атомохранилища и реветь от ужаса.

— Ну, почему обязательно реветь?

— Да потому, что ты ни хрена в этом деле не смыслишь, так же как другие люди в нашей работе... Да, будет такая наука — Человековедение. Да, будет и Человекотехника. Но первые специалисты в этой науке и в этой технике — мы. А у специалиста, помимо общечеловеческих обязанностей, есть еще свои особые: он отвечает за свою науку и за все ее применения! Потому что в конечном счете он все это делает — своими идеями, своими

знаниями, своими решениями. Он, и никто другой! Так что, хочешь не хочешь, а направлять развитие науки о синтезе информации в человеке нам.

— Ну, допустим... — Кравец не сдавался. — Но как направлять-то? Ведь способа применения открытия с абсолютной надежностью на пользу людям, которому мы присягнули год назад, нет!

— Смотрите, ребята, — негромко проговорил Адам.

Все трое повернули головы влево. На скамье под деревом сидела девочка. Рядом лежал ранец и стояли кости. Тонкие ноги в черных чулках были неестественно вытянуты. Лучики солнечного света, проникая сквозь листву, искрились в ее темных волосах.

— Идите, я догоню. — Кривошеин подошел к ней, присел рядом на край скамьи. — Здравствуйте, девочка!

Она удивленно подняла на него большие и ясные, но не детские глаза:

— Здравствуйте...

— Скажите, девочка... — Кривошеин улыбнулся как можно добродушней и умней, чтобы не приняла за пьяного и не напугалась, — только не удивляйтесь, пожалуйста, моему вопросу: у вас в школе плюют в ухо человеку, который не сдержал свое слово?

— Не-е-ет, — опасливо ответила девочка.

— А в мое время плевали, был такой варварский обычай... И знаете что? Даю слово: не пройдет и года, как вы станете здоровой и красивой. Будете бегать, прыгать, кататься на велосипеде, купаться в Днепре... Все будет! Обещаю. Можете мне плонуть в ухо, если совру!

Девочка смотрела на него во все глаза. На ее губах появилась неуверенная улыбка.

— Но ведь... у нас не плюют. У нас школа такая...

— Понимаю! И школ таких не будет, в обычную бегать станете. Вот увидите! Вот так...

Больше сказать ему было нечего. Но девочка смотрела на него так хорошо, что уйти от нее не было никакой возможности.

— Меня зовут Саша. А вас?

— Валя... Валентин Васильевич.

— Я знаю, вы живете в тридцать третьем номере. А я в тридцать девятом, через два дома.

— Да, да... Ну, мне надо идти. На работу.

— На вторую смену?

— Да. На вторую смену. Всего хорошего, Саша.

— До свиданья...

Он встал. Улыбнулся, вскинул голову, прижмурил глаза: не робей, мол, гляди веселей! Все будет! Она в ответ тоже вскинула голову, прищурилась, улыбнулась: я и не робею... И все равно он ушел с чувством, что оставляет человека в беде.

Аллея выводила на улицу. За крайними каштанами мелькали машины. Сворачивая, все трое обернулись: девочка смотрела им вслед. Они подняли руки. Она улыбнулась, помахала тонкой рукой.

— Понимаешь, Витюша, — Кривошеин обнял Кравца за плечи, — понимаешь, Витец, все-таки люблю я тебя, шельмца, хотя и не за что. Отодрать бы тебя солдатским ремнем, как батя нас в свое время дирал, да больно уж ты большой и серьезный...

— Да ладно тебе! — освободился Кравец.

— Понимаешь, Витя, насчет «кнопки счастья» у нас, конечно, был инженерный загиб, ты прав. Люди вообще ожидают от техники лишь снижения требовательности к себе... Смешно! Для крыс легко устроить кнопку счастья: врастил ей электрод в центр удовольствия в коре — и пусть нажимает лапкой контакт. Но людям такое счастье, пожалуй, ни к чему... Однако есть способ. Не кнопочный и не математический, но есть. И эмпирически мы его понемногу осваиваем. То, что мы сушим головы именно над применением открытия на пользу людям, а не только себе, и на иные варианты не согласимся, — из этого способа. И то, что Адам смог преодолеть себя и вернуться с хорошей идеей, — тоже из этого способа. И то, что Валька пошел на такой опыт, зная, на что идет, — тоже из этого способа. Конечно, если бы тщательнее подготовить опыт, возможно, он остался бы жив, а впрочем, никто из нас ни от ошибок, ни от печального исхода не застрахован: работа такая! И то, что он выбрал направление синтеза людей, хотя синтезировать микроэлектронные машины было бы не в пример проще и прибыльней, — из этого способа. И то, что мы накопили знания по своему открытию, — из этого способа. Теперь мы не новички-дилетанты, ни в работе, ни в споре нас с толку не собьешь — сами кого угодно собьем. А в честном споре знания — главное оружие...

— А в нечестном?

— И в нечестном споре этот способ годится. Гарри прищемили — по этому способу. Вышли мы с тобой из

трудного положения и спасли работу — тоже по нему. Мы многое можем, не будем прикидываться: и работать, и драться, и даже политиковать. Конечно, лучше бы всегда и со всеми обойтись по-хорошему, но если не выходит, будем и по-плохому... Адам, дай сигарету, у меня кончились.

Кривошеин закурил и продолжал:

— И в будущем нам следует руководствоваться этим эмпирическим способом — и в работе и в жизни. Первонаперво будем работать вместе. Самое страшное в нашем деле — это одиночество. Вот оно к чему привело... Будем собирать вокруг работы умных, честных, сильных и знающих людей. Для любого занятия: исследовать, организовывать работы. Чтобы ни на одном этапе рука подлеца, дурня или пошляка не коснулась нашего открытия. Чтобы было кого поднимать по тревоге! И Азарова привлечем, и Вано Александровича Андросиашвили — есть у меня такой на примете. И Валерку Иванова попробуем... И если укрепить таким способом работу — все будет «То»: способ дублирования людей, дублирование с исправлениями, информационные преобразования обычных людей...

— Но все-таки это не инженерное решение, стопроцентной гарантии здесь нет, — упрямо сказал Кравец. — Можно, конечно, попытаться... Ты думаешь, Азаров придет?

— Придет, куда он денется! Да, это не инженерное решение, организационное. И оно не простое, в нем нет столь желанной для нас логической однозначности. Но другого не дано... Соберем вокруг работы талантливых исследователей, конструкторов, врачей, художников, скульпторов, психологов, музыкантов, писателей, просто бывальных людей — ведь все они знают о жизни и о человеке что-то свое. Начнем внедрять открытие в жизнь с малого, с самого нужного: с излечения болезней и уродств, исправления внешности и психики... А там, глядишь, постепенно подберем информацию для универсальной программы для «машины-матки», чтобы ввести в мозг и тело человека все лучшее, что накоплено человечеством.

— УПСЧ, — произнес Виктор. — Универсальная Программа Совершенствования Человека. Звучит! Ну-ну...

— Надо пытаться, — упрямо сказал Адам. — Да, стопроцентной гарантии нет, не все в наших силах. Может, не все и получится. Но если не пытаться, не стремиться к этому, тогда уж точно ничего не получится! И знает,

мне кажется, что здесь не так уж много работы. Важно в одном-двух поколениях сдвинуть процесс развития человека в нужную сторону, а дальше дело пойдет и без машин.

«Все войдет, — вспомнилась аспиранту последняя запись из дневника, — дерзость талантливых идей и детское удивление перед сложным великолепием мира, рев штормового океана и умная краса приборов, великое отчаяние любви и эстетика половой жизни, ярость подвижничества и упоение интересной работой, синее небо и запах нагретых трав, мудрость старости и уверенная зрелость... и даже память о бедах и ошибках, чтобы не повторились они! Все войдет: знание мира, понимание друг друга, миролюбие и упорство, мечтательность и подмечающий несовершенства скептицизм, великие замыслы и умение достигать их. В сущности, для хорошей жизни больше сделано — меньше осталось!»

Пусть люди будут такими, какими хотят. Пусть только хотят!»

Желтым накалом светило солнце. Шуршали и урчали, проскакивая мимо, машины. Брали сквозь зной прохожие. Милиционер дирижировал перекрестком.

Они шагали, впечатывая каблуки в асфальт. Три инженерашли на работу.

Перевалы будущего

Человек соревнуется в скорости вычислений с электронной машиной. Другой человек обладает способностью запоминать все тома энциклопедий, облик прохожих на улице, слова, когда-либо сказанные в его присутствии. Третий никогда не спит.

Это факты. Но почему, отчего некоторые люди обладают столь удивительными свойствами? Можно ли их пробудить у каждого? Надо ли?

Неизвестно. Не потому, что не было никаких исследований людей-уникумов, а потому, что эти исследования толком ничего не прояснили.

Ладно, оставим в покое из ряда вон выходящие случаи. Жили-были два брата. Воспитывались в одной и той же семье, ходили в одну и ту же школу, вот только первый свернул на креююю дорожку и стал преступником, тогда как второй вырос добрым, отзывчивым, талантливым человеком. Бывает? Бывает. Почему? «Дело не в наследственности, — говорят многие авторитетные генетики. — Человек — существо социальное, биология тут фактор не главный. Ищите изъян в воспитании, в том социальном микроклимате, который окружал подростка». «Что ж, педагогика не вчера возникла?» — спросили у нее. Но ответ ее расплывчат, нет в ее распоряжении способов, которые бы всегда, надежно предотвращали беду.

Как мало мы еще знаем самих себя! Способности — как их развивать наилучшим образом? Почему в умственной деятельности участвует всего несколько процентов клеток мозга? Каким образом человек творит? Что такое интуиция? А тупость — отчего она? Прав ли великий Павлов, который считал, что нормальное состояние человека — гениальность, только вот не умеем мы реализовать гигантские возможности собственного разума... Десятки, сотни таких вопросов, а ответа нет.

Нужен он настоятельно. В наши дни быстро растет производительность труда, но в основном за счет улучшения способов труда физического. Отдача умственной деятельности увеличивается медленно, мало, да мы и не знаем точно, в каких единицах и как оценивать рост ее производительности.

Это на поверхности. Глубже лежит другое. Впервые в истории среда обитания сотен миллионов людей стала резко отличаться от природной: воздух городов, которым мы дышим, уже не тот, которым дышали наши деды; вода, которую мы пьем, проходит длительный путь обработки; темп жизни... А объем информации? А проблемы? Все чаще мы сталкиваемся с такими проблемами, каких раньше не было и в помине. И важные все это проблемы, срочные, насущные, настолько сложные, что прежний уровень понимания и решения уже не годится. Трещат школьные программы, ширятся эксперименты в педагогике, всем думающим людям уже ясно, что традиционные методы обучения и воспитания чем далее, тем хуже работают в период научно-технической революции. Перед изумленной медициной во весь рост всталася проблема акселерации — раннего физического позвроления, увеличения роста юношей и девушек. Что такое акселерация, откуда, добро она или зло? Ведь это не шутка — такой сдвиг в физиологии человека...

И горопит нас, подстегивает, все освещает особым светом задача задач, которую мы себе поставили, — строительство нового общества, где каждый человек — творческая, духовно насыщенная, высокоморальная личность. Только с коммунизмом, по словам Маркса, начинается подлинная история человечества. А времени — много ли у нас времени, чтобы успеть стать вровень с будущим?

Роман В. Савченко «Открытие себя» затрагивает, можно сказать, трепещущий нерв современности. В скромной лаборатории, в привычной текучке будней неожиданно для всех произошла подлинная научная революция. Стало возможным машинное воссоздание самого себя. Возник технический, массовый способ перекройки человека, искусственного выведения и превращения его во что угодно... И это в мире, где еще не завершилась борьба классов, где звучат воинственные кличи, где по улицам городов, взятых под ракетный прицел, порой бродят духовные неандертальцы... Переоткрыватель, обычный инженер, человек порядочный, хороший, но вовсе не «ры

царь без страха и упрека», вот так, сразу, в один миг оказался наедине со всеми проблемами века и принимает на себя небывалый груз ответственности — что же мне теперь делать?

Его путь колебаний, ошибок, духовного возмужания долг, непрям и труден. Нет смысла пересказывать книгу. В ней много размышлений, но — обратили внимание? — одно существенное последствие открытия осталось почти без внимания. Машина может дублировать все. Скот? Пожалуйста! Другие машины, изделия? Того проще! То есть открытие сулит еще и материальное изобилие. Но размышления на эту тему почти нет. Потому что, как ни важна эта проблема, в конечном счете не от нее зависит счастье людей. Ясно и так, что научно-технический прогресс обещает ее скорое решение и без дублирующих машин. Но достаток и счастье — вещи не тождественные. Есть страны немалого достатка, население которых, однако, не решило социальных проблем, не обрело новых целей, иного смысла жизни, кроме прежних буржуазных мотивов обогащения. «Кризис молодежи», наркомания, волна самоубийств, исступленная погоня за наслаждениями, настроения «конца света» — таких результатов.

«Самая высшая задача человечества, — писал В. И. Ленин, — охватить... объективную логику хозяйственной эволюции (эволюции общественного бытия) в общих и основных чертах, с тем, чтобы возможно более отчетливо, ясно, критически приспособить к ней свое общественное сознание...» Прояснение задач, которые стоят перед людьми, раздумья о путях совершенствования человека, о качестве его духовной жизни, способности понимать великую сложность времени, мудро действовать в соответствии с этим — вот стержень романа В. Савченко.

Такое осмысление необходимо, как воздух. Научный работник в прошлом, В. Савченко умело создает «иллюзию достоверности». Но фантастика все же фантастика, а жизнь — это жизнь. Закрыв книгу, можно благодушно подумать, что все это ведь не всерьез. Нет машины, которая создает и пересоздает человека, даже реальных подходов к ней не видно. Поволновались вместе с героями, обсудили то и се, ну и хватит.

Так отнести к книге мешает та самая жизнь, которая вроде бы столь далека от романа. Ибо зарницу, воз

вещающих осуществимость подобных фантазий, немало. Если взглянуться, они видны отчетливо. Верно, мы еще многое, очень многое не знаем о своем теле и разуме. Но уже стали понятны некоторые существенные свойства механизма наследственности. А в перспективе? В перспективе лечение генетических болезней (некоторые лечатся уже сейчас). Затем перестройка уже самого наследственного аппарата с целью... Тут мы возвращаемся в круг размышлений героев романа.

Наш мозг в немалой мере все еще «черный ящик». Но уже выделены в нем «центры наслаждения», «страдания» и так далее. Ставятся — и успешно — опыты по управлению психикой животных. Пока только животных... Никто, однако, не поручится, что в военной лаборатории этой страны не разрабатывается тема «волнового, на расстояние, воздействия на мозговые центры человека».

Близок «век биологии» — такого мнение ряда ответственных экспертов. Близок век, когда наука сможет, в том числе прямо, эффективно, широко вмешиваться в деятельность мозга (с меньшей эффективностью и не так широко она это осуществляет и сегодня при лечении психических заболеваний). В недалеком будущем могут появиться — совсем по роману! — средства превращения человека в «ангела», «робота» или «дьявола». За оценкой, как этим можно воспользоваться и надо ли пользоваться из самых благородных побуждений, я отсылаю к страницам книги. Там сказано, конечно, не все и не все беспорно, но нужное там есть.

Такова «объективная логика эволюции» в одной из областей науки — от малого знания, что такое человек, мы идем к большему, а там уж недалека и возможность технического вмешательства в его природу. Вот почему важно заранее, четко, ясно, критически оценить возможные последствия, во всем разобраться, чтобы не быть захваченным течением, а управлять событиями в нужном нам направлении. Знания сами по себе не содержат ни добра, ни зла. Все преломляется в человеке и там распадается на спектр, который и окрашивает жизнь — в мрачный либо светлый оттенок. Все в наших руках, но сами эти руки должны быть мудрыми. Марксистское понимание перспектив, точная и гуманная оценка средств, высокая разумность поступков — только так можно одолеть крутые перевалы будущего.

Д. БИЛЕНКИН



**ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
САВЧЕНКО**

Владимир Иванович Савченко родился в 1933 году в Полтаве. По профессии он инженер-электрик. Работал ряд лет в научно-исследовательских институтах, автор изобретения и научных работ в области полупроводников и микроэлектроники. Живет в Киеве.

Писать фантастические рассказы начал, еще будучи студентом МЭИ. Его первая научно-фантастическая повесть «Черные звезды» вышла в 1960 году в Издательстве детской литературы. В сборниках «Фантастика» издательства «Молодая гвардия» были напечатаны

тамы его рассказы «Пробуждение профессора Берна», «Вторая экспедиция на Странную планету», маленькая повесть «Алгоритм успеха» и пьеса «Новое оружие». На украинском языке опубликованы его повести «Призрак времени» и «Час таланта».

Содержание

Часть первая. ШАГИ ЗА СПИНОЙ	7
Часть вторая. ОТКРЫТИЕ СЕБЯ (О зауряде, который многое смог)	87
Часть третья. ТРЕЗВОСТЬ (Испытание себя)	223
Д. Биленкин. Перевалы будущего	297

Савченко Владимир Иванович. ОТКРЫТИЕ СЕБЯ.
Роман. М., «Молодая гвардия», 1974. 304 с. (Б-ка со-
временной фантастики,
т. 22) Р2

Редакторы *Б. Клюева,*
С. Михайлова. Художе-
ственный редактор *А. Сте-
панова.* Технический ре-
дактор *И. Соленов.*

Сдано в набор 1/IX 1971 г.
Подписано к печати 17/XII
1971 г. Формат 84×108/32.
Бумага № 1. Печ. л. 9,5
(усл. 15,96). Уч.-изд. л. 16,5.
Тираж 250 000 экз. Цена
74 коп. Зак 1592 Типо-
графия издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвар-
дия», Москва, А-30, Сущев-
ская, 21.

1000000000